This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

v 4550.517

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Я. П. ПОЛОНСКАГО.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

КРУТЫЯ ГОРКИ.

РОМАНЪ.

Часть II.

ИЗДАНІЕ

Ж. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, Троицкій пер., № 18—20.
1886.

Я. П. ПОЛОНСКІЙ.

КРУТЫЯ ГОРКИ.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ II.

ИЗДАНІЕ

Ж. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, Троицкій пер., № 18—20.
1886.

Printed in Russia

8/3

Slav 4350.5.4
✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE GIFT OF
CHARLES RICHARD CRANE
APRIL 28, 1938

Текстъ книги до 16 листа печатанъ въ Типографіи В. С. Балашова, Средняя Подьяческая, № 1.

7312
38.3

Часть вторая.

ГЛАВА I.

Наконецъ, пришли экзамены. Что значатъ эти дни, сколько въ нихъ волнующаго, тревожащаго, сжимающаго сердце,—это знаютъ ученики, отцы ихъ да матери. Въ тысячахъ домовъ бились безпокойныя сердца, и чѣмъ бѣднѣе были родители, тѣмъ страшнѣе казались имъ эти дни, рѣшающіе судьбу ихъ Вани, Пети, Алеши, Феди или Сенички. Будутъ-ли дѣти ихъ получать со временемъ гроши и кое-какъ питать себя, или получатъ хорошее жалованье и постепенно дойдутъ до того, что будутъ радовать ихъ, родителей, своимъ благоденствіемъ,—все это, казалось имъ, зависитъ отъ того, получатъ-ли дѣти ихъ возможность поступить въ университетъ или путь къ нему будетъ прегражденъ имъ на-вѣки. Видѣть въ будущемъ дѣтей своихъ самоотверженными, великими гражданами—объ этомъ рѣдко мечтаютъ родители. Эти мечты,—лучшее богатство молодежи,—уже не воодушевляютъ ихъ.

Клинъ-же, Егоръ Антонычъ, былъ однимъ изъ самыхъ равнодушныхъ родителей. Если онъ терпѣлъ сына и до сихъ поръ еще содержалъ его, то только потому, что считалъ его

въ числѣ первыхъ учениковъ и думалъ: Петя самъ выйдетъ на дорогу и не будетъ нуждаться въ немъ.

Гимназія (въ разсказѣ этомъ я не описываю, даже не намекаю ни на одну изъ существующихъ въ Питерѣ гимназій), гдѣ учился Петя, есть не что иное, какъ плодъ моей собственной фантазіи, несмотря на то, что все, что я буду говорить по поводу этой фантазіи, основано на фактахъ, для меня неподлежащихъ ни малѣйшему сомнѣнію. Я невиноватъ, если эти факты не совсѣмъ утѣшительны; впрочемъ, они относятся къ тому времени, когда у насъ въ учебномъ мірѣ господствовала система недовѣрія и подозрительности, и, несмотря на то, что не дешево стоила и была обставлена глубокомысленными соображеніями, нисколько не вела къ той высшей справедливости, о которой мечтали и мечтаютъ образованные чиновники. У этой системы было немало поклонниковъ. Одинъ директоръ гимназіи, встрѣтившись со мною на желѣзной дорогѣ, сказалъ мнѣ слѣдующее: «Министръ намъ не довѣряетъ,—и хорошо дѣлаетъ: намъ и не слѣдуетъ довѣрять». Слова знаменательныя... Каково будетъ то государство, въ которомъ министры будутъ очень хорошо знать, что государь не довѣряетъ имъ, и все еще будутъ считать себя честными людьми, оставаясь на мѣстахъ своихъ? Система недовѣрія расплодила у насъ сотни людей, не стоющихъ ни малѣйшаго довѣрія. Подозрительность подсказала нашей молодежи именно то самое, въ чемъ ее подозрѣвали. Хотите, чтобы ваша жена, навѣрное, измѣнила вамъ, подозрѣвайте ее безпрестанно въ измѣнѣ, да поручайте лакеямъ или горничнымъ за ней подглядывать... Какая честная женщина не возмутится и,—если съ душкомъ,—не отмститъ вамъ за такое недовѣріе?..

Въ гимназіи, въ залѣ, украшенномъ, между прочимъ, и портретомъ министра, стоялъ столъ, крытый зеленымъ сукномъ, и тринадцать партъ или косыхъ столовъ, такъ какъ держащихъ экзаменъ зрѣлости была всего только чортова

дюжина, т. е. тринадцать осьмикласниковъ. Залъ былъ великъ, и между партами, поставленными въ три ряда, было такъ просторно, что переговариваться, перешептываться или другъ къ другу заглядывать экзаменующимся не было никакой возможности.

Къ 11 часамъ утра собралось начальство. Парты были осмотрѣны,—нѣтъ-ли гдѣ книгъ, тетрадей или своей бумаги. На косые столы была положена казенная бумага, помѣченная рукой директора и съ гимназическими клеймами, такъ чтобы нельзя было никоимъ образомъ подмѣнить ее. Чернильницы и перья были въ исправности.

Сошлись директоръ, инспекторъ, учитель словесности, учителя-асистенты и, наконецъ, пріѣхалъ и вошелъ въ залу депутатъ отъ высшаго учебнаго начальства.

Ученики встали и поклонились.

— Ну, поглядимъ... поглядимъ... что и какъ?.. пожимая руки учителямъ, кланяясь и улыбаясь, проговорилъ депутатъ, съ Владиміромъ на шеѣ, человѣкъ еще далеко не старый, на длинныхъ ногахъ, въ вицмундирѣ, съ длиннымъ носомъ, узенькими баками и тонкими улыбающимися губами.

— Увѣренъ, господа, продолжалъ онъ,—что вы экзамены по всѣмъ предметамъ выдержите превосходно! Порадуете, какъ насъ, такъ и г. министра... Я не сомнѣваюсь! окончилъ онъ коротенькій спичъ свой, сѣлъ, досталъ изъ кармана носовой платокъ, вытеръ имъ лобъ свой и поглядѣлъ на директора, который тоже только что высморкался и поправилъ на носу очки.

Экзаменующіеся ничего не замѣчали, такъ они были поглощены мыслью, что съ ними будетъ:—провалятся они или не провалятся?

Первымъ экзаменомъ былъ почему-то экзаменъ изъ русскаго языка. Наступила самая торжественная минута. Предсѣдательствующій директоръ привсталъ, дрожащими пальцами взялъ со стола таинственный, наглухо заклеенный и запеча-

танный конвертъ, осторожно взрѣзалъ его костянымъ ножемъ, вынулъ бумагу и громко прочелъ: «Тема для сочиненія. Характеристика Чичикова въ «Мертвыхъ душахъ» Гоголя»

Ученики ухватились за перья и стали записывать.

Какой-то рослый гимназистъ, стоящій за дверью залы, улыбнулся, отошелъ отъ двери, прошелъ въ пустой классъ, вынулъ изъ кармана почтовый листъ бумаги и сталъ писать. Это былъ одинъ изъ лучшихъ словесниковъ седьмого класса. Не успѣлъ онъ написать двухъ строчекъ, какъ въ тотъ-же классъ, съ кепи подъ мышкой, влетѣлъ низенькаго роста краснощекій мальчикъ въ гимназическомъ мундирѣ и подсѣлъ къ нему. Семикласникъ поморщился, оторвалъ клочекъ бумаги, карандашемъ написалъ на ней: «Характеристика Чичикова по Гоголю», сунулъ ее въ руки румянаго мальчика и, тряхнувъ головой, произнесъ: «пошелъ, не мѣшай мнѣ».

Мальчикъ тотчасъ-же спустился внизъ, надѣлъ кепи и вышелъ на улицу; за угломъ дожидался его какой-то коренастый малый, волосатый, съ крупнымъ носомъ и такими-же крупными губами. Раздувъ ноздри, безучастно взялъ онъ отъ мальчика клочекъ, прочелъ тему и сказалъ:

— Черезъ полчаса. Жди меня.

Мальчикъ поглядѣлъ на свои серебряные часики и вернулся въ гимназію.

Волосатый малый, въ лѣтнемъ коричневомъ пальто вмѣсто сюртука, вошелъ въ трактиръ, спросилъ себѣ кружку пива и вынулъ изъ кармана записную книжку. Черезъ полчаса одинъ изъ листиковъ этой книжки мелко былъ исписанъ тоненькимъ карандашемъ, оторванъ и свернутъ въ трубочку. На этомъ листикѣ довольно грамотно и бойко была начерчена характеристика Чичикова.

Изъ тринадцати экзаменующихся, впродолженіи пяти часовъ, человѣкъ восемь отпросились выйти по крайней необходимости. Какъ сдѣлать, чтобы этой крайней необходимости не было, учебная система ничего еще не могла придумать.

Она придумала только одно: на ученическихъ упражненіяхъ записывать часъ и минуту выхода и минуту возвращенія. Изъ восьми учениковъ двое вернулись очень скоро, и двухъ минутъ не отсутствовали; но въ рукавахъ ихъ было нѣчто такое, что особенно пріободряло ихъ. Одинъ изъ нихъ получилъ то, что написалъ ему пансіонеръ-семикласникъ, а другой—то, что настрочилъ ему въ трактирѣ его репетиторъ—домашній учитель его маленькихъ братьевъ.

Несмотря на то, что классный надзиратель нѣсколько разъ проходилъ по коридору, каждому удавалось получить все, что нужно. Можетъ быть, этотъ классный надзиратель кое-что и замѣтилъ, но, очевидно, какъ добрый человѣкъ, на таинственныя встрѣчи не обращалъ вниманія, только мимоходомъ, какъ-бы для очистки совѣсти, крикнулъ на румянаго гимназиста изъ 3-го класса: что вы тутъ шляетесь!

На этотъ разъ Петя Клинъ былъ избавленъ товарищами отъ всякой съ его стороны помощи. Темой онъ былъ очень доволенъ, тотчасъ-же понялъ, что это по его части, и принялся за черновое изложеніе чичиковской характеристики.

Петя занимался не болѣе двухъ часовъ съ половиной. Перебѣливъ написанное, онъ подалъ трудъ свой, вмѣстѣ съ черновыми листами, одному изъ асистентовъ. Асистентъ передалъ директору, директоръ—депутату и рядомъ съ нимъ сидящему учителю словесности.

Казалось, экзаменующіе были очень рады, что наконецъ-то и для нихъ нашлось занятіе.

Петя Клинъ былъ тотчасъ-же отпущенъ и вышелъ. Учитель и депутатъ принялись искать въ трудѣ его граматическія ошибки и вникать или, лучше сказать, проникать въ его образъ мыслей.

Граматическихъ ошибокъ нашлось три—въ одномъ мѣстѣ вмѣсто двоеточія стояла точка съ запятой, въ другомъ мѣстѣ было лишнее тире, которое было ни къ селу, ни къ городу, въ третьемъ мѣстѣ было очевидное отсутствіе ера или твер-

даго знака въ словѣ «исключаетъ». Всего три ошибки были подчеркнуты краснымъ карандашемъ.

Но не столько ошибки, сколько духъ сочиненія непріятно на нихъ подѣйствовалъ. Мальчикъ Клинъ смѣлъ думать, что Гоголь подъ словомъ «мертвыя души» разумѣлъ чиновниковъ и помѣщиковъ и, что еще ужаснѣе, смѣлъ думать, что съ такими душами ни на какой тройкѣ далеко не уѣдешь. Въ особенности былъ смущенъ учитель словесности. Никогда ничего подобнаго не говорилъ онъ въ классѣ ученикамъ своимъ. Онъ покраснѣлъ, какъ дѣвица, и сталъ намекать депутату на какія-то постороннія вліянія. Депутату-же и въ голову не приходило спросить его: а онъ, какъ учитель, имѣлъ-ли хоть какое-нибудь вліяніе на учениковъ своихъ?

Въ хорошемъ расположеніи духа Петя вышелъ на улицу и пошелъ на Васильевскій островъ, въ 15 линію, взять изъ переплетной Аксютина сочиненія Тургенева; деньги у него были, и ему было стыдно вспомнить, что, собираясь столько времени навѣстить Аксютиныхъ, онъ забывалъ объ этомъ, когда у него были деньги, и не рѣшался идти, когда денегъ не было.

И вотъ вошелъ онъ на тотъ дворъ съ запущеннымъ, пустымъ палисадникомъ, который былъ свидѣтелемъ его дѣтства,—дворъ, по которому не разъ проходила и проѣзжала мать его; увидѣлъ крылечко старой квартиры, и показалось ему, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ обиталъ здѣсь, прошло много, очень много лѣтъ. Знакомое показалось чѣмъ-то чужимъ, но это чужое было такъ близко душѣ его, что онъ замедлилъ шаги, какъ-бы останавливаемый наплывомъ возвратныхъ впечатлѣній.

Старичекъ-переплетчикъ былъ боленъ. Въ душно-жаркой низенькой комнатѣ Петю встрѣтила Аксютина, съ тѣмъ-же замшево-блѣднымъ продолговатымъ лицомъ, и та-же собаченка съ злыми глазами, высунувшись изъ коридорчика, на него полаяла.

— Ужь думала, вы и не придете за вашими книгами, сказала женщина.

— А развѣ онѣ готовы? спросилъ Петя.—А что сынъ вашъ, какъ его здоровье?

Женщина сѣла на деревянный табуретъ, точно вопросъ Пети подкосилъ ей ноги, сложила пальцы и понурила голову.

— Его нѣтъ, сказала она.

Петя посмотрѣлъ на нее вопросительно: не умеръ-ли? подумалъ онъ.

— Пропалъ... и гдѣ пропалъ, и что... ничего неизвѣстно, проговорила жена переплетчика, не подымая глазъ.—Можетъ, что надъ собою сдѣлалъ, начала было она, кося глазами въ сорный уголъ комнаты.—И... ничего не знаемъ, договорила она.

— Давно-ли? спросилъ Петя.

— Да вотъ ужь четвертые сутки ни слуху, ни духу.

— Да теперь экзамены. Онъ, можетъ быть, у товарищей.

— Нѣтъ, и товарищи не знаютъ, справлялись. А дать знать полиціи—боязно. Старикъ-то мой совсѣмъ расхворался. Такое-то горе, ужь и не знаю, что... какъ быть? что думать?..

— Нѣтъ-ли его на Смоленскомъ кладбищѣ?

Замшевое лицо приподнялось и глаза искоса поглядѣли на Петю, даже блеснули какимъ-то страннымъ отблескомъ не то испуга, не то крайняго изумленія.

— Можетъ, что на себя наговорилъ—засадили... А что такое, баринъ, вы про Смоленское кладбище?...

— Да разъ я его тамъ встрѣтилъ—разстроенъ былъ... Говоритъ, былъ на могилѣ какой-то дѣвушки.

— Какая дѣвушка?

— Не знаю... Намекалъ, что былъ влюбленъ въ нее и что она погибла. Не имѣю понятія. Это было еще на Святой.

— На Святой? переспросила Аксютина.

— Да, да... въ самую полночь.

— Да что ему четыре дня на кладбищѣ дѣлать? А все-таки спасибо, что сказали. Пойду поразспрошу... По-разспрошу!

Затѣмъ, помолчавъ немного, Петя вынулъ деньги три рубля и сказалъ:

— Извините, что до сихъ поръ не расплатился.

— Ну, и кстати, что пришли: денегъ въ домѣ и двадцати копѣекъ не наберется... въ лавочку задолжали, сахару нѣтъ, а старикъ мой къ чаю привыкъ:—трудно ему безъ чаю. Ну, вотъ вамъ и книги ваши; по сорока копѣекъ, сколько-же это вамъ? Вамъ сдачи никакъ слѣдуетъ? Развѣ подождете: — надо сбѣгать.

— Незачѣмъ вамъ бѣгать, самъ зайду, не хлопочите.

Петя ушелъ изъ переплетной въ уныломъ настроеніи духа.

Встрѣтить Кирила или узнать гдѣ онъ, привести его къ отцу, обрадовать мать,—вотъ чего желалъ-бы онъ. Но мысль, что бѣдный, нравственно искалѣченный студентикъ бросился въ Неву или его мертвымъ нашли на кладбищѣ и похоронили, какъ неизвѣстнаго нищаго, невольно приходила ему въ голову. И невольно ему думалось, вѣдь жить не стоитъ, если въ этой жизни нѣтъ ни единаго луча отрады, ни единаго проблеска счастія или хотя надежды на счастіе, что и онъ-бы самъ не захотѣлъ жить, если-бы почувствовалъ, что умираетъ нравственно, что жизнь — безобразный хаосъ, и что только мертвыя души въ родѣ гоголевскихъ хотятъ жить, во что бы то ни стало, и дорожатъ своимъ эфемернымъ, никому ненужнымъ существованіемъ.

ГЛАВА II.

На экзаменахъ сходились два другъ другу враждебныхъ лагеря: учителя или начальство, которое все время держало себя вдали отъ учащихся, нисколько не входило въ интересы

ихъ и не имѣло на нихъ ровно никакого вліянія, и ученики, которые смотрѣли на нихъ, какъ на неизбѣжное зло, отъ котораго, во что-бы то ни стало, надо отдѣлаться и затѣмъ никогда не вспоминать объ нихъ. Петя, которому по натурѣ всякая фальшь была противна, все-таки далъ слово помочь одному несчастному мальчику, Билину, склонному къ математикѣ, плохому лингвисту и съ большимъ трудомъ, съ грудной болью и съ подозрительнымъ румянцемъ на блѣдномъ лицѣ докарабкавшемуся до 8 класса.

Въ день латинскаго экзамена уже съ ранняго утра экзаменаціонный залъ былъ, такъ-сказать, приведенъ въ особое положеніе. Плевательницы съ чистымъ сухимъ пескомъ были перенесены на новыя мѣста; для предсѣдательствующихъ были принесены новыя плевательницы. Сторожа, получивъ на водку, ни во что не вмѣшивались, на все глядѣли сквозь пальцы. Еще не было и нѣтъ на святой Руси такого учебнаго заведенія, гдѣ-бы прислуга отличалась своею неподкупностью. Здѣсь двугривенные и гривенники играютъ нерѣдко точно такую-же роль, какую въ высшихъ сферахъ общества играютъ миліоны и сотни тысячъ.

Гдѣ кому сидѣть, это тоже было заранѣе опредѣлено и разсчитано. Петя сѣлъ съ краю, въ среднемъ ряду, и когда вошли директоръ, Миличъ, инспекторъ, асистенты, наблюдатели и депутатъ, котораго ожидали въ учительской, Петя, всталъ, также какъ и всѣ, поклонившись, молча, сѣлъ и почти не шевелясь, ожидалъ, что будетъ.

Шумъ улицы, стукъ колесъ и звяканье подковъ мѣшали ему слышать, о чемъ толкуютъ, о чемъ переговариваются, чему улыбаются гг. экзаменаторы, но Петя не могъ не замѣтить, что депутатъ особенно внимателенъ и любезенъ съ Миличемъ. Петя, конечно, не зналъ, что Миличъ былъ въ большомъ «фаворѣ», что министерство дорожило имъ, какъ ученымъ, какъ однимъ изъ свѣтилъ классицизма, и готовило ему директорство въ одной изъ гимназій одесскаго округа.

Самъ Миличъ этого не зналъ, но депутатъ кое-что слышалъ; и ему, несомнѣнно, хотѣлось, чтобы Миличъ, если получитъ мѣсто директора, приписалъ это ему или его просвѣщенному вліянію. Недаромъ, говоря съ Миличемъ, онъ поглядывалъ на него весело прищуренными глазами, кивалъ головой въ знакъ согласія... и, взглядывая изподлобья на экзаменующихся, перегибалъ голову справо на лѣво и передавалъ замѣчанія Милича старику директору. Петя сердцемъ почуялъ, что если Миличъ будетъ и теперь несправедливъ къ нему, депутатъ едва-ли пожелаетъ защищать его... У Пети болѣла голова, и онъ невольно потуплялъ глаза всякій разъ, когда кто-нибудь изъ начальствующихъ, въ особенности инспекторъ, поглядывалъ на его черную, косматую голову. Съ чувствомъ полнѣйшаго раскаянья Петя бранилъ себя за то, что не успѣлъ не только остричься, какъ ему совѣтовалъ инспекторъ, но по разсѣянности своей едва-ли въ это утро успѣлъ причесать свои волосы...

Но вотъ, послѣ освидѣтельствованія столовъ начался экзаменъ, не безъ торжественности взрѣзанъ таинственный пакетъ и передъ жаждущими зрѣлости громко прочтено и затѣмъ громко продиктовано слѣдующее:

«Когда Катонъ начальствовалъ надъ войсками въ Испаніи, къ нему пришли послы союзнаго съ римлянами племени илергетовъ и объявили, что они нуждаются въ немедленной помощи, такъ какъ отложившіеся отъ римлянъ народы, собравъ огромное войско, готовятся напасть на ихъ главный городъ», и такъ далѣе.

Затѣмъ, изъ той-же бумаги, подъ нумерами, какіе были въ русскомъ текстѣ, ради облегченія экзаменующихся, было продиктовано четырнадцать латинскихъ словъ: 1) Illergetes, 2) in discrimen adduci, 3) dideri, 4) res dubiæ и проч.

Послѣ диктовки этого extemporale или текста для переводовъ на латинскій языкъ оставалось всего три часа времени. Отрывокъ былъ настолько длиненъ, что Петя, съ сво-

имъ разгонистымъ почеркомъ, едва умѣстилъ его на трехъ страницахъ. Переводъ казался ему легкимъ, но величина отрывка сильно его безпокоила. Онъ тотчасъ-же принялся за черновую работу. Затѣмъ, оглядѣвшись, вынулъ изъ глубины бокового кармана, гдѣ лежалъ скомканный носовой платокъ, искусно, въ видѣ квадратика сложенную осьмушку почтовой бумаги и мельчайшимъ почеркомъ переписалъ въ нее переводъ свой. Эта переписка, съ оглядками и предосторожностями, тоже заняла не малое количество времени.

— Можно мнѣ взять песку и засыпать? проговорилъ Петя проходившему мимо стола его наблюдателю, указывая на плевательницу, которая стояла отъ него въ двухъ шагахъ у стѣнки.

— Можете, покосившись на его сосѣда, пробормоталъ наблюдатель и пошелъ дальше.

Петя бокомъ, на цыпочкахъ прошелъ два шага, нагнулся и взялъ песку; въ это время онъ успѣлъ уже въ плевательницѣ оставить ту самую почтовую осьмушку, которая такъ мелко и такъ старательно была имъ вся исписана и такъ-же сложена.

Товарищъ Билинъ, сидѣвшій сзади, какъ-бы обдумывая нѣчто, поднялъ голову и, блѣдный, наблюдалъ за Петей. Петя проворно усѣлся на прежнее мѣсто, посыпалъ пескомъ бумагу и, какъ ни въ чемъ не бывало, опять принялся за работу.

Черезъ десять минутъ къ той-же плевательницѣ съ бьющимся сердцемъ подошелъ Билинъ, взялъ песокъ и захватилъ бумажку. Онъ это сдѣлалъ уже безъ всякаго позволенія, на томъ простомъ основаніи, что дозволенное одному не можетъ быть не дозволено другому.

Между нами будь сказано, что если-бы Билинъ не поспѣшилъ, могло-бы совершиться нѣчто въ высшей степени подлое. Уже верзила, прозванный Поджабринымъ, зная, въ чемъ тутъ штука, задавалъ себѣ вопросъ: а что, если онъ

перехватитъ эту бумаженку и ею воспользуется?.. Къ чести его, я долженъ сказать, что онъ колебался, такъ какъ надѣялся на другую штуку, еще болѣе хитрую. Уже въ швейцарской сидѣлъ какой-то человѣчекъ, очень на видъ невзрачный, сухой востроносый и желтый, и, сгорбившись, что-то писалъ и безпрестанно справлялся съ какимъ-то латинскимъ учебникомъ. Швейцару обѣщано было пять рублей, и нашъ Поджабринъ ждалъ только урочной минуты, чтобы подняться и выйти ради крайней необходимости...

Къ счастію Билина, вниманіе экзаменаторовъ было отвлечено колокольчиками проѣзжающей по улицѣ пожарной команды. Одинъ изъ асистентовъ даже подошелъ къ открытому окну, высунулся и поглядѣлъ, не видать-ли гдѣ каланчи...

Но обратимся къ Петѣ. Онъ былъ голоденъ, и голова его разболѣлась. Онъ думалъ, какъ-то теперь напишетъ онъ переводъ свой? Неужели слово въ слово точно такъ-же, какъ онъ сдѣлалъ его для Билина? А что, если это замѣтятъ? Но что-же онъ долженъ дѣлать? Неужели перефразировать? И вотъ, ломая голову, онъ принялся передѣлывать черновую; но чѣмъ болѣе ломалъ онъ голову, тѣмъ больше казалось ему, что иначе невозможно и перевести, такъ какъ онъ перевелъ ужь разъ для своего товарища. Лишніе листы, вчернѣ исчерченные перомъ, тоже терзали его самолюбіе. Ничего не могъ уничтожить, все долженъ былъ сдать. Для переписки на-бѣло оставалось уже не болѣе получаса. Уже многіе, даже и Кальяновъ, подали свою работу и вышли.

За 10 минутъ до конца экзамена, Петя поставилъ точку, поднялся и подалъ свою работу наблюдателю, который поглядѣлъ на него и не сказалъ ни слова.

Вернувшись домой, Петя тотчасъ-же принялся ѣсть, затѣмъ, около восьми часовъ вечера, уже лежалъ въ постели и спалъ, какъ убитый.

ГЛАВА III.

Въ квартирахъ, гдѣ не было никакого дѣла до гимназическихъ экзаменовъ, жизнь текла своимъ чередомъ и даже помину не было ни о баллахъ, ни о латыни...

Ерошинъ ѣхалъ обѣдать въ Павловскъ къ женѣ и дѣтямъ; съ нимъ въ вагонѣ 2-го класса сидѣла Леконида Алаева.

Ерошинъ глядѣлъ исподлобья. Ему было такъ жарко, что хотѣлось сорвать съ шеи галстухъ; капли пота покрывали высокій съ выемкою лобъ его, изборожденный ранними, продольными, подвижными складками, и еще болѣе широкіе, неуспѣвшіе загорѣть виски его. Леконида только-что прочла ему письмо Ознобина, въ которомъ этотъ неисправимый чудакъ спрашивалъ ее, не желаетъ-ли она воспользоваться лѣтомъ и поѣхать на уроки къ нѣкоему генералу Орѣшину, который ищетъ для своей воспитанницы учительницу музыки. Письмо это было написано необыкновенно просто и вѣжливо. Въ концѣ упоминалось, что онъ желаетъ ей всего лучшаго. Леконида смѣялась, находя забавной претензію Ознобина великодушничать. Николай Николаевичъ Ерошинъ находилъ, что она не имѣетъ права смѣяться надъ человѣкомъ, который поступаетъ съ ней по-человѣчески, несмотря на то, что она такъ безчеловѣчна съ нимъ.

Леконида, оспаривая его, дошла до того, что сказала:

— Вы, я вижу, не понимаете сами, что говорите; это письмо—не что иное, какъ удочка, которую онъ закидываетъ, не попадусь-ли я на этотъ крючекъ, какъ дура.

— То-есть, не отвѣтите-ли вы ему такъ-же вѣжливо?

— Ну, да, не отвѣчу-ли я ему такъ-же вѣжливо, чтобы затѣмъ дать ему право осыпать меня своими письмами и умолять меня принять его.

— А что за бѣда, если вы его и примите? Надѣюсь, вы отъ этого не растаете и не потеряете самообладанія.

— Еще-бы!

— Ну, такъ чего-же вы боитесь и лѣзете на стѣну?

— Я ничего не боюсь, я только не хочу его видѣть.

— Почему?

— Потому, что онъ мнѣ надоѣлъ, и потому, что одно присутствіе его въ моей комнатѣ можетъ меня скомпрометировать.

— А вы не боитесь себя скомпрометировать, прогуливаясь съ молодыми людьми по окрестностямъ или ужиная съ ними въ кабачкахъ?

— Не боюсь, такъ какъ умѣю выбирать людей и къ тому-же,—плевать мнѣ на то, что обо мнѣ думаютъ.

— Ну, такъ и плюйте на то, что объ васъ будутъ думать, если Ознобинъ станетъ по-прежнему бывать у васъ.

— Не хочу.

— Ну, такъ и не давайте мнѣ читать тѣхъ писемъ, которыя вамъ почему-либо не нравятся,—давайте тѣ, которыя нравятся.

— Ни тѣхъ, ни другихъ. Оставьте меня въ покоѣ.

Такъ они разговаривали. Поѣздъ шумно двигался и дошелъ до Царскаго Села. Ерошинъ сталъ смотрѣть въ окно и въ толпѣ замѣтилъ стараго Клина, съ портфелемъ подъ мышкой, выходившаго изъ дверей станціи.

Не прошло двухъ минутъ, какъ красное лицо коренастаго старика появилось въ вагонѣ. Всѣ мѣста были заняты, кромѣ одного, около Леониды. Онъ помялся на одномъ и томъ-же мѣстѣ, поглядѣлъ на Алаеву и, приподнявъ фуражку, спросилъ ее, можно-ли ему помѣститься около.

— Здравствуйте, сказала ему Леонида. Она была очень рада прекратить съ бо-фреромъ разговоръ свой объ Ознобинѣ и поболтать со старикомъ.

Ерошинъ тотчасъ-же узналъ Клина. Клинъ не узналъ Ерошина и, крякнувъ, сѣлъ почти противъ него, рядомъ съ Леонидой Александровной.

— Ну, что новаго? спросила его Леканида.—Правда-ли, что будетъ война изъ-за Сербіи?

Судя по всѣмъ дѣлаемымъ въ министерствѣ распоряженіямъ, Клинъ очень хорошо зналъ, что къ войнѣ готовятся; но, какъ дѣлецъ, никому ни слова не говорилъ объ этихъ распоряженіяхъ и отвѣчалъ, что войны не будетъ ни въ какомъ случаѣ.

— Почему вы это думаете? спросилъ Ерошинъ.

— А потому, что знаю, что не будетъ, коротко отрѣзалъ Клинъ, разглядывая его широкую, совершенно поповскую бороду.

— А я знаю, что будетъ, отвѣчалъ Ерошинъ, разглядывая сизыя жилки на носу его и въ новыхъ сѣдыхъ усахъ находя его похожимъ на моржа или на тюленя.

— Никто этого не можетъ знать, кромѣ правительства.

— А вы—правительство? спросилъ Ерошинъ.

— Гмъ... Хе!... Не имѣю чести васъ знать, но, гмъ... полагаю, что я стою къ нему ближе, чѣмъ вы.

— Ну, такъ я удивляюсь вамъ! Быть такъ близко къ источнику всякой истины и не знать той истины, что война будетъ неизбѣжно, хотите вы этого или не хотите.

Клинъ насупился. Ему хотѣлось выругать этого негоднаго бородача, который съ такимъ озорствомъ осмѣливается спорить съ нимъ.

— Ну, что ваша жена, какъ ея здоровье? спросила Леконида внутренно взбѣшеннаго Егора Антоновича.

— Ничего жена... жива, на дачѣ.

— А Петя?

— Петя въ Петербургѣ, держитъ экзаменъ зрѣлости.

— И, конечно, выдержитъ?

— Да какъ-бы онъ смѣлъ не выдержать?!

— Ну, а если не выдержитъ?

— Этого не можетъ быть. Онъ латинистъ, а имъ только этого и нужно. Хоть ничего не знай.

Ерошинъ уже не слушалъ ихъ. Локомотивъ свистѣлъ, поѣздъ уменьшилъ ходъ. Вотъ замелькали бѣлые столбики. Ерошинъ увидѣлъ жену свою. Опустивъ зонтикъ, стояла она въ толпѣ подъ навѣсомъ галереи, съ Миной Михайловной, которая тоже ожидала своего мужа, Егора Антоныча.

Ерошинъ поморщился. Онъ испугался мысли, что Мина будетъ сейчасъ рекомендовать ему своего супруга или своему супругу рекомендовать его—Ерошина.

— Саша! крикнулъ онъ и скрылся въ толпѣ, подхвативъ подъ руку жену свою.

ГЛАВА IV.

Разъ, на возвратномъ пути изъ гимназіи, около пяти часовъ пополудни, Петя Клинъ, поднимаясь по лѣстницѣ, встрѣтился съ отцомъ своимъ.

— Ну, что? спросилъ его отецъ,—выдержалъ экзаменъ?

Петя пріостановился и, блѣдный, испуганно вытаращилъ на него глаза.

— Экзамены еще не кончены...

— А!

И Егоръ Антоновичъ, отхаркнувшись и сплюнувъ въ сторону, опять тяжело сталъ спускаться по ступенькамъ и пропалъ за угломъ одной изъ площадокъ; только съ полминуты было слышно, какъ по камнямъ стучалъ кончикъ его парусиннаго, дождевого зонтика.

Петя съ полминуты прислушивался къ этому внизъ удалявшемуся стуку, затѣмъ медленно поднялся и позвонилъ. На немъ, какъ говорится, лица не было.

Недаромъ, у Ознобина, котораго не засталъ онъ дома, схватилъ онъ карандашъ и на чистомъ полу-листѣ бумаги написалъ крупными буквами: «Погибаю! П. Клинъ».

Петя не солгалъ отцу: экзамены еще не были окончены;

но у него не хватило духу сказать ему: «а меня лишили права продолжать эти экзамены».

— Ужь скупенекъ, скупенекъ вашъ папенька-то! не глядя на Петю, проворно шагая и ставя ему приборъ въ столовой, заговорила Любовь Петровна, провѣтривательница комнатъ и кухарка на срокъ, взявшаяся поливать цвѣты и зелень, украшающіе гостиную и будуаръ, гдѣ стояла та самая эластичная кушетка, крытая малиновымъ полу-бархатомъ, на которой старый Клинъ впервые разнѣжился отъ поцѣлуя теперешней жены своей.

— Не трудитесь накрывать, сказалъ Петя. — Я обѣдать не буду.

— Какъ это не будете? Отчего? изумилась Любовь Петровна, пристально поглядѣвъ на Петю своими карими, какъ-бы смятыми и припухшими глазками и недовѣрчиво улыбаясь всѣмъ мягкимъ, съ отвислымъ подбородкомъ, кругло очерченнымъ лицомъ своимъ. Ей не вѣрилось.

— Сытъ ужь, пробормоталъ Петя, хотя лицо его вовсе не выражало собой этой сытости: казалось, онъ похудѣлъ, щеки ввалились, глаза глядѣли тускло, разсѣянно и непривѣтливо.

— Покушайте ушицы, баринъ, я сегодня ушицы сварила вамъ...

Но Петя не отвѣчалъ. Черезъ коридоръ онъ ушелъ въ свою комнату, мрачно оглядѣлъ столъ свой, заваленный тетрадями и книгами, легъ на кровать, скрестилъ на груди руки и вытянулъ ноги въ пыльныхъ брюкахъ и пыльныхъ сапогахъ, какъ-будто эти ноги отказались служить ему.

Неожиданный ударъ, — ударъ самый страшный для его юношескаго самолюбія, — очевидно, ошеломилъ его. Трудно было-бы придумать такую обиду, такое горе, которое-бы для Пети показалось равнымъ его несчастью—не выдержать экзамена и еще на цѣлый годъ остаться въ гимназіи.

Казалось, и умъ его, и чувства, и совѣсть отказывались вѣрить въ такую вопіющую несправедливость. Но возможно-ли

сомнѣваться, когда слова директора, каждое слово его, съ такою ясностью отчеканиваются въ мозгу его, когда въ ушахъ его такъ и звенятъ эти слова, погружая въ хаосъ всѣ его чувства и соображенія!

«Еще на годъ, еще на цѣлый безконечный годъ оставаться на тѣхъ-же скамьяхъ, въ тѣхъ-же стѣнахъ, въ томъ-же классѣ! Растерять товарищей и остаться съ Федькой Федотинымъ, самымъ безшабашнымъ ученикомъ изъ числа тринадцати! Можетъ-ли это быть! Не сонъ-ли это? И долговязый шутъ Поджабринъ, и даже Билинъ, которымъ онъ помогалъ, и тѣ выдержатъ экзаменъ, получатъ право слушать университетскія лекціи, а онъ, онъ останется!!..»

«Нѣтъ, это невозможно! лежа, съ открытыми глазами и въ неподвижной позѣ, волновался Петя. — Это кошмаръ! Остаться на годъ!.. Нѣтъ, лучше въ острогъ... Или это мнѣ только мерещится?»

Черезъ четверть часа Петя, Богъ его знаетъ для чего, припомнилъ стихи изъ метаморфозъ Овидія и мысленно наизусть читалъ ихъ.

Потомъ напало на него какое-то потемнѣніе мыслей.

«Вы еще молоды... вамъ всего только семнадцать лѣтъ!.. Торопиться незачѣмъ. Вотъ и образъ мыслей вашихъ еще не установился», припоминаются ему слова директора и какъ-бы вплетаются въ латинскіе стихи...

Victa iacet pietas, et virgo caede madentes,
Ultima caelestum, terras Astraea reliquit.

И вдругъ стихи эти совершенно вылетаютъ изъ памяти: ихъ вытѣсняетъ начальническое лицо съ выраженіемъ подсахареннаго, печенаго яблока, видится осѣдланный очками носъ и глаза, какъ-бы совѣстящіеся смотрѣть ему, Петѣ, въ сконфуженное лицо,—глаза, мелькающіе какъ два лезвія двухъ перочинныхъ ножичковъ.

— Я не останусь, слышится Петѣ его собственный голосъ,—скорѣе пойду на каторгу!..

— Ну, какъ хотите, какъ хотите... прохаживаясь отъ стола къ стулу и отъ стула къ столу, говоритъ директоръ и поправляетъ на носу очки.—Васъ держать насильно мы не имѣемъ права... Съ Богомъ-съ!..

— А такъ несправедливо поступать вы имѣете право? слышитъ Петя свой собственный голосъ, хотя и не увѣренъ, точно-ли произнесъ онъ эти слова или что-то на нихъ похожее.

— Что-о-съ?! раздражается директоръ и уже совсѣмъ не глядитъ на Петю.—Подавайте просьбу, берите ваши бумаги— и съ Богомъ-съ! Съ Богомъ-съ!..

«Съ Богомъ!.. думаетъ Петя;—но какой Богъ теперь спасетъ меня!..»

И опять мысленно страдаетъ онъ, зачѣмъ онъ не левъ, не тигръ, не леопардъ, не дикій, кровожадный звѣрь. Онъ вспоминаетъ, какимъ бараномъ, какою безхвостой собаченкой вышелъ онъ на улицу и пошелъ, пошелъ и долго шелъ, самъ не зная куда, зачѣмъ... и вдругъ на лѣстницѣ встрѣчается съ нимъ отецъ его.

И жизнь, и люди, и судьба показались ему еще суровѣе, еще несправедливѣе, чѣмъ этотъ отецъ его.

Затѣмъ, уже въ девятомъ часу вечера, опять какіе-то греческіе стихи изъ Софокла сами собой приходятъ ему на память, и Петя чуть не вслухъ читаетъ ихъ... Ему воображается, что онъ стоитъ передъ лицомъ всего гимназическаго ареопага и наизустъ читаетъ цѣлыя страницы, такъ громко, такъ самоувѣренно, дескать, смотрите, какъ я знаю:—даже тайну элинскаго метра улавливаю! А если хотите, если только это угодно вамъ, тотчасъ-же буду вамъ переводить, и все прочитанное по-гречески прочту вамъ русскимъ, такимъ-же звучнымъ, такимъ-же поэтическимъ языкомъ.

«О, я дуракъ, дуракъ! На кой имъ лядъ, этимъ стрекулистамъ въ учительскихъ вицъ-мундирахъ, на кой имъ лядъ звучный, поэтическій языкъ, когда ни единой-то капельки поэзіи не имѣется въ душонкахъ ихъ!..»

Такія-то фантазіи и злыя думы, во всю глубину его юношеской оскорбленной гордости, далеко за полночь овладѣвали имъ и заливали мутнымъ потокомъ его голову. И не только голова, все тѣло его было точно разбито и ныло. Недаромъ не хотѣлось ему ни ѣсть, ни пить, ни спать, ни бодрствовать.

Бѣдный Петя былъ на волосокъ отъ умопомѣшательства.

ГЛАВА V.

Можетъ-ли это быть, скажутъ намъ добросердечные читатели,—чтобы ученикъ, который безпрепятственно прошелъ всѣ восемь классовъ, который, постоянно сидя дома, не зналъ столичныхъ развлеченій и могъ не только находить нѣкоторую отраду въ своихъ гимназическихъ занятіяхъ, но и дошелъ до того, что полюбилъ классическую литературу, сквозь цѣлый слой граматическихъ и синтаксическихъ правилъ, исключеній и упражненій чисто механическихъ, подглядѣлъ въ ней крупицы чистаго золота, не былъ допущенъ додержать экзаменъ зрѣлости? Можетъ-ли это быть?

Чего не можетъ быть въ нашемъ лучшемъ изъ міровъ? То-ли еще иногда бываетъ!

Но призовемъ на помощь факты и увидимъ ясно, что, къ несчастію Пети, сами обстоятельства или случайности,—лучшіе слуги людскихъ страстей и страстишекъ,—были не въ его пользу... Во-первыхъ, время было самое строгое. Министерскія требованія возрастали, строгость стала вывѣской усердія, такъ какъ «les royalistes sont plus royales que le roi lui même»,—можете вообразить, какимъ холодомъ отъ нея вѣяло. Многія изъ тогдашнихъ школьныхъ властей могли-бы сказать про себя не безъ нѣкотораго хвастовства: «мы гнемъ дуги—не паримъ, переломимъ—не тужимъ». Во-вторыхъ, двѣ черновыхъ и та поспѣшность, съ какою Петя настрочилъ свой собственный переводъ, быть можетъ, невольно за-

ставили его сдѣлать кой-какіе промахи, пропустить какую-нибудь частицу или прозѣвать окончаніе. Въ-третьихъ, вспомните, что учитель латинскаго языка, Миличъ, его ненавидѣлъ за излишнюю самостоятельность въ работѣ и, главное, за подмѣченное въ немъ самомнѣніе. Въ-четвертыхъ... А въ-четвертыхъ, когда въ совѣтѣ обсуждались результаты начатыхъ экзаменовъ въ присутствіи депутата отъ высшаго учебнаго начальства, всѣ были какъ-то особенно радостно смущены и даже озадачены. Депутатъ былъ въ восторгѣ отъ успѣха учениковъ по древнимъ языкамъ и не скрывалъ своего удивленія.

— Судя по отвѣтамъ, сказалъ онъ,—всѣхъ до единаго слѣдуетъ допустить оканчивать экзамены зрѣлости.

И директоръ, и учителя были всѣ почти такого-же мнѣнія, но боязнь предъ начальствомъ прослыть слишкомъ слабыми и невзыскательными внутренно ихъ коробила.

«Какъ это можно, думали директоръ, Миличъ и еще двое,—какъ это можно: тринадцать держатъ экзаменъ и всѣ тринадцать будутъ выпущены! Гдѣ-же примѣръ такихъ успѣховъ или такого непростительнаго потворства!...»

Стали сличать баллы; нашли, что у Петра Клина, по милости Милича, и въ началѣ мая была двойка. Обратились къ Миличу; ученый мужъ этотъ, польщенный вниманіемъ депутата, тотчасъ-же заявилъ, что Клину не мѣшаетъ еще лишній годъ побыть въ гимназіи, такъ какъ въ послѣднее время онъ съ особенною небрежностью относился къ классныхъ занятіямъ. Затѣмъ Миличъ, какъ человѣкъ справедливый, сознался, что Клинъ недурно переводитъ, такъ какъ память у него здоровая; но въ граматикѣ слабъ, дѣлаетъ иногда непростительные промахи и самомнителенъ. Словомъ, Миличъ, насколько могъ, постарался насолить нашему Петѣ и насолилъ. Нѣкоторые при этомъ замѣтили, что Клинъ очень молодъ, способенъ увлекаться, и такъ какъ онъ собирается въ университетъ, то себѣ-же на бѣду поступитъ въ студенты,

т. е. увлечется какими-нибудь идеями... Депутатъ, хоть и былъ человѣкъ очень честный и добрый, но, само собою разумѣется, не имѣлъ ни малѣйшаго понятія объ ученикахъ гимназіи: онъ даже физіономію Пети смѣшивалъ съ другой физіономіей, почему-то обратившей на себя его вниманіе во время экзаменовъ, и, какъ человѣкъ вѣжливый, иначе сказать, благовоспитанный, не сталъ настаивать па своемъ, тѣмъ паче противорѣчить Миличу, который не даромъ-же пользовался авторитетомъ ученаго классика, рѣшившагося прибыть въ Россію и снизойти до учительской професіи.

— Ну, конечно, сказалъ депутатъ. — Годы его еще не ушли. Къ тому-же онъ не бѣдный?... Не бѣдный, вы говорите?... Не бѣдный?...

— По крайней мѣрѣ, не изъ нуждающихся, замѣтилъ инспекторъ.—Живетъ у отца и, судя по адресу, на казенной квартирѣ, въ казенномъ домѣ.

— Значитъ, это не особенно стѣснитъ семью его, если онъ того...

— Надо думать, что отецъ его какой-то интендантскій чиновникъ...

— О! Интендантскій?!. тонко усмѣхнувшись и многозначительно подмигнувъ глазомъ, сказалъ депутатъ.—Ну да, если хотите... я присоединяюсь къ вашему мнѣнію... (Немножко насолить интендантскому чиновнику былъ не прочь и депутатъ, какъ человѣкъ въ высшей степени либеральный).

Вотъ тѣ корешки, изъ которыхъ выросло отчаянье Пети и омрачило юношескіе дни его. Онъ для гимназіи, такъ сказать, сталъ чѣмъ-то вродѣ козла отпущенія, и никто, конечно, никто изъ его добрыхъ наставниковъ даже не подумалъ о томъ, что творится, что должно твориться въ душѣ этого козла, т. е. Пети Клина, и какія сѣмена отрицанія укореняетъ въ немъ это благое и предусмотрительное распоряженіе совѣта гимназіи!

На другой день Петя рано поднялъ съ подушки свою голову, не сознавая, спалъ онъ или просто всю ночь лежалъ съ закрытыми глазами. Это значило, что если и заснулъ онъ подъ утро, сонъ не принесъ ему ни отдыха, ни нравственнаго успокоенія.

Долго, охвативъ руками колѣни, сидѣлъ онъ на своей постели и, свѣсивъ спутанно-косматую голову, не двигался, точно застылъ.

«Поздно надѣяться, а стало быть и думать нечего, рѣшилъ онъ наконецъ. — Если я въ мои годы (а мнѣ скоро восьмнадцать лѣтъ) не гожусь въ студенты, послѣ такихъ трудовъ и усилій не гожусь, стало быть, на что-же я гожусь?!»

Въ 8 часовъ Михѣй принесъ ему изъ кухни стаканъ чаю и сухую булку.

Лѣниво одѣвшись, Петя тотчасъ-же принялся за горячій напитокъ. Такъ сухо было во рту и, голодный, онъ такую чувствовалъ жажду, что жиденькій чай доставилъ ему порядочную дозу безсознательнаго удовольствія.

— Михѣй! Купи еще булку.

Но вмѣсто Михѣя, на порогѣ появилась сѣроглазая и скуластая фигура Ознобина, въ лѣтней, сѣренькой фуражкѣ, съ загорѣлымъ лицомъ, которое по цвѣту трудно было отличить отъ неровной, точно выщипанной бородки и жиденькихъ усовъ.

— Что такое? не снимая фуражки, спросилъ Ознобинъ, глядя на Петю, который какъ-бы не вѣрилъ глазамъ и, не протягивая гостю руки, сидѣлъ въ полуоборотъ и косился на дверь.

— Ничего, проговорилъ Петя.

— Вы еще не погибли? разсмѣялся Ознобинъ. — Здравствуйте!

— Здравствуйте... Какъ это вы рѣшились?..

— Нѣтъ, э... что случилось? А?

— А ничего, такъ, хотѣлъ испытать, придете-ли вы...

Въ это время Михѣй пришелъ за стаканомъ.

— Михѣй Иванычъ! Принеси-ка еще чаю два стакана, да нѣтъ-ли еще сухарей или булокъ?

— Слушаю-съ!

Ознобинъ непремѣнно-бы разсердился, вспомнивъ свое обѣщаніе не приходить; но поглядѣвъ на впалыя щеки Пети, разглядѣвъ, такъ сказать, лицо его, снялъ фуражку, сѣлъ на стулъ и вытянулъ ноги.

— Ну, вотъ, будемъ чай пить, сказалъ Петя, когда Михѣй, сгорбясь, появился съ двумя стаканами на растрескавшемся желѣзномъ подносикѣ.

— Вы, Петя, не врите, что ничего не случилось. Про экзамены я не спрашиваю,—тутъ вы, конечно, въ грязь лицомъ не ударили; — но что-то случилось... Не отецъ, такъ мачиха оскорбили васъ...

Петя беззвучно засмѣялся.

— Ахъ, сказалъ онъ, — какъ вы отгадали! Не я ударилъ въ грязь лицомъ, а грязь ударила мнѣ въ лицо. Меня лишили права продолжать экзамены, и, какъ кажется, оставляютъ еще на годъ.

Ознобинъ вскочилъ на ноги и вытянулся, точно электрическая искра обожгла его.

— Это не можетъ быть! вскричалъ онъ и замигалъ глазами.

— На все судьба, Иванъ Несторычъ.

— Какая тутъ судьба!.. Это мерзость... Я пойду разспрошу, узнаю; я имъ скажу, что это... э... это... э... горячился Ознобинъ.

— Ничего не будетъ, напрасны будутъ ваши хлопоты... лучше не ходите, не пачкайтесь.

Затѣмъ Петя разсказалъ ему все, что было.

— Ну, положимъ, вы говорите, вы были поставлены въ необходимость спѣшить... Ну, положимъ, и сдѣлали какую-нибудь ошибку, переписывая на-бѣло вашъ переводъ, — но вѣдь была-же черновая, могли свѣрить...

— Судьба!

Но Ознобинъ не думалъ уже о судьбѣ,—такъ онъ былъ озадаченъ разсказами Пети. Плохи были гимназіи и въ его время; но чтобъ ученики, эти будущіе дѣятели, такъ хитрили и такъ изворачивались,—этого, въ его время, никому не приходило въ голову. Новые плоды новыхъ педагогическихъ мѣръ, таинственныхъ пакетовъ, недовѣрія и придуманныхъ предосторожностей до глубины души поразили честнаго чудака Ознобина. И въ его время въ классахъ ученики нерѣдко подсказывали другъ другу, но когда ихъ по одному или по два вызывали къ экзамену, не было никакой возможности, стоя у стола или доски, пользоваться чужими трудами или свой трудъ предлагать другому товарищу. Особенно изъ подробныхъ разсказовъ Пети изумила Ознобина удивительная находчивость незнающихъ пользоваться работой знающихъ. Онъ узналъ, что это дѣлается на всѣхъ экзаменахъ, вошло въ обычай и не только никого не конфузитъ,—радуетъ. Ознобинъ и не догадывался, что есть такія учебныя заведенія, гдѣ само начальство довольно, что его надуваютъ, т. е. поддерживаютъ репутацію ввѣреннаго ему заведенія. Въ низшихъ классахъ гимназіи Ознобинъ былъ лѣнтяй и тряпка, постоянно получалъ дурные баллы; но это нисколько не помѣшало ему въ старшихъ классахъ быть однимъ изъ первыхъ, и затѣмъ быть однимъ изъ лучшихъ студентовъ. Какимъ-же образомъ Петя, который въ продолженіи 7 лѣтъ получалъ хорошія отмѣтки, легко понималъ по-латыни, сталъ даже увлекаться древними поэтами,—вдругъ оказался однимъ изъ худшихъ и не выдержалъ латинскаго экзамена?

— Эдакъ они надолго, если не навсегда, уронятъ въ Россіи свое пресловутое классическое просвѣщеніе. Какое тутъ, чортъ возьми, просвѣщеніе! Ничего вдохновляющаго на трудъ, ничего поощряющаго! Ничего!.. Схоластика вмѣсто науки, лицемѣріе вмѣсто любви и правды. Служенье начальству вмѣсто служенія дѣтямъ и юношеству—будущности отечества...

Долго волновался Ознобинъ, ходя изъ угла въ уголъ по комнатѣ Пети, но Ознобинъ не былъ-бы Ознобинымъ, если-бы не успокоился на мысли, что если такъ плохо прививается къ намъ классицизмъ, если всячески стараются довести до того, чтобы онъ опротивѣлъ, значитъ такъ и нужно, ибо судьба лучше знаетъ, что дѣлаетъ.

Этой мысли, конечно, онъ не высказалъ, но она уже промелькнула въ головѣ его; недаромъ кустикъ волосъ, напоминающій пѣтушиный хвостъ, до половины закрылъ лобъ его.

— Конечно, сказалъ Петя,—все вздоръ передъ вѣчностью; но какъ вы думаете, останусь я еще на годъ въ гимназіи?

И при этомъ Петя звонко поболталъ ложечкой въ своемъ стаканѣ и прихлебнулъ изъ него. Стаканъ-же Ознобина стылъ и оставался нетронутымъ.

— А куда-же вы дѣнетесь?

— Не останусь ни здѣсь, на этой квартирѣ, ни въ гимназіи, вотъ что я сдѣлаю.

— Да куда-же? э...

— А вотъ увидите.

— Но... э...

Въ это время мимо растворенной двери застучали торопливые шаги Михѣя.

— Михѣй, что ты?

— Никакъ кто-то звонитъ, пробурчалъ онъ, удаляясь.

— Не думаю, чтобы отецъ... сказалъ поблѣднѣвшій Петя и поглядѣлъ на Ознобина.

— На грѣхъ мастера нѣтъ, сказалъ Ознобинъ.—Я не хотѣлъ-бы... э... встрѣтить человѣка, который такъ грубо... э... отказалъ мнѣ отъ дому... Прощайте... Петя... не унывайте... Не изъ чего приходить въ отчаянье.

«Тебѣ все не изъ чего!» про себя подумалъ встревоженный Петя и всталъ, чтобы черезъ кухню проводить своего

стараго пріятеля, т. е. пропустить его въ галерею съ окнами, когда уже слышно будетъ, что Михѣй отперъ дверь и уже пропустилъ въ переднюю отца или кого-бы то ни было.

Холодна была та рука, которую на прощанье пожалъ Ознобинъ. При мысли о новой встрѣчѣ съ отцомъ и объ его разспросахъ, дрожь прошла по спинѣ нашего юноши. Оставшись въ кухнѣ, онъ попросилъ Любовь Петровну узнать, кто пришелъ.

— Скупенекъ, скупенекъ вашъ папенька... протянула Любовь Петровна; руки у нея были въ мукѣ и она не торопилась.

Наконецъ, Петя узналъ отъ Михѣя, что пришелъ какой-то бакиръ Фусъ (несомнѣнно, фамилія въ устахъ Михѣя была переврана).

— Какой бакиръ—не банкиръ-ли?

— А можетъ быть, кто ихъ знаетъ... хе-хе, хе-хе! Я въ залѣ посадилъ его; говоритъ, дождусь... *самъ* скоро будетъ.

Петя велѣлъ Михѣю изъ передней принести себѣ кепи, и затѣмъ, минутъ черезъ пять, очутился подъ воротами.

На улицѣ онъ пріостановился, подумалъ и пошелъ къ куаферу съ тѣмъ, чтобы тотъ остригъ и какъ слѣдуетъ причесалъ его.

Почему Петя вдругъ позаботился о волосахъ или, лучше сказать, о вихрахъ своихъ,—быть можетъ, я-бы и пояснилъ вамъ, но къ чему намъ пускаться безъ особенной нужды въ какія-бы то ни было психологическія тонкости.

ГЛАВА VI.

Дня три-четыре, какъ Петя не былъ у Орѣшиныхъ, гдѣ почему-то ему было и особенно уютно, и нескучно, и пріятно встрѣчать старую Мавру, которая когда-то мыла его, пятилѣтняго мальчугана, въ какой-то ваннѣ, а когда онъ капризничалъ и кричалъ, пугала его букой. Саша, туго усвоивающая

всякія, самыя простыя граматическія и ариѳметическія правила, но серьезная, внимательная, черноглазая дѣвочка,— Саша тоже, какъ нѣчто родное, была мила ему. Петя привыкъ ее видѣть, привыкъ учить ее.

Эта Саша давно уже расподчивала всѣ конфекты, принесенныя Петей: подчивала ими папу, Аполона Карпыча, подчивала въ кухнѣ дворника, кухарку, ея гостей и горничную, подчивала бабушку Мавру и Спичевскаго, и у ней на днѣ коробки оставалось уже очень немного, какихъ-нибудь пять-шесть обсахаренныхъ, къ бумагѣ прилипшихъ фруктовъ и одна тягучка. Кто-бы могъ думать, что эти конфекты чуть не уморятъ ее?

Ночью съ нею сдѣлались корчи, она стала кричать и метаться.

Мавра въ испугѣ побѣжала къ Орѣшину и испугала его своимъ появленіемъ. Весь домъ, даже Спичевскій, поднялся на ноги. Экономку послали за лекаремъ.

— И не возвращайся безъ доктора!.. кричалъ Орѣшинъ.

Спичевскій-же не пошелъ, жаловался, что у него у самого страшно разстроенъ желудокъ и что самъ онъ едва ходитъ—боится, не холера-ли?

Частный врачъ, котораго Авдотья захватила у воротъ его дома, только что возвращавшійся изъ гостинницы, гдѣ случился какой-то страшный случай, тотчасъ-же, хоть и нехотя, отправился на квартиру къ Орѣшину. Онъ освидѣтельствовалъ Сашу, покачалъ головой, понюхалъ конфекты, нашелъ на одной изъ нихъ какой-то подозрительный, прилипшій къ ней порошокъ, нашелъ, что порошокъ пахнетъ шпанскими мухами, всѣхъ страшно напугалъ отравой, прописалъ лекарство съ камфорой и какую-то мазь и велѣлъ послать за касторовымъ масломъ. Казалось, лекарь самъ не зналъ, что дѣлать, и, конечно, случайно попалъ на нужное средство: къ утру Сашѣ стало гораздо легче, корчи прошли, проступила испарина, и дѣвочка заснула. Самъ Орѣшинъ

начала впалъ въ совершенную безнадежность, сталъ горько жаловаться Господу Богу, что все, все, что любилъ онъ на землѣ, отняла у него смерть, что всякая его привязанность къ кому бы то ни было точно убиваетъ, жить не даетъ. Потомъ онъ успокоился; но у бѣднаго старика все еще ноги дрожали и онъ не могъ спать.

— Отрава! Но кому нужна жизнь ея... кому? Кому? Или это случайность... случайно къ сахару подмѣшали какой-то порошокъ?.. думалъ старикъ въ пять часовъ утра, когда солнце уже свѣтило въ окна и изъ-за сторъ узенькими полосками яркаго дня проникало въ его кабинетъ, гдѣ, завернувъ въ сѣрый пледъ свои старыя, озябшія ноги, сидѣлъ онъ въ старомодномъ креслѣ, помавая сѣрыми бровями и глядя въ раскрытую дверь своими въ двѣ черныя точки превратившимися глазками. До самой комнаты Саши всѣ двери были раскрыты, чтобы малѣйшій стонъ ея могъ донестись до ушей его. Не разъ ему чудился этотъ стонъ, и, путаясь въ пледѣ, торопливо вставалъ онъ и, шаркая туфлями, шелъ къ больной въ комнату, гдѣ, затепливъ лампадку, неустанно молилась Мавра, вздыхая и моча слезами свои старыя щеки или личныя морщинистыя впадины.

Спичевскій тоже не спалъ: онъ тоже принялъ ложку касторового масла и по временамъ охалъ въ своей комнатѣ, увѣрялъ, что и онъ наканунѣ съѣлъ нѣсколько конфектъ— этихъ проклятыхъ конфектъ, принесенныхъ Петей. Но отъ стакана чаю не отказался, когда экономка, толстая Авдотья Петровна, зашла къ нему и сказала, что въ кухнѣ самоваръ кипитъ и чай заваренъ...

— Просто, такъ что-нибудь... животъ заболѣлъ у дѣвчонки, жаловалась она,—а *онъ* и на поди... и на дыбы всталъ!.. Да и докторъ-то хорошъ: ишь выдумалъ, конфектами отравилась! На, поди! Я тоже ихъ ѣла.

— Ну, ты этого не говори, Авдотьюшка... милая... сказалъ Спичевскій.—Этотъ Петька Клинъ, въ которомъ дядюшка

мой души не чаетъ, себѣ-на-умѣ, да и самолюбивъ, какъ чортъ. Вотъ, теперь у него экзамены, некогда уроки давать,—такъ вотъ, пусть, дескать, поболѣетъ да полежитъ, никто моего мѣста не займетъ... Онъ вѣдь зналъ ея повадку подчивать, ну, сверху-то и ничего, а снизу и подсыпалъ какой-нибудь гадости... О, я его когда-нибудь выведу еще на чистую воду!

— Конечно, вамъ это лучше знать, а все-же... какъ вы хотите, а это—не отъ конфектъ... такъ что-нибудь; иной разъ такъ схватитъ, что... унеси ты мое горе быстра рѣченька!... Инда всю подведетъ, дохнуть не даетъ... Ну, и проходитъ... и безъ лекаря: выпьешь чайку—и проходитъ.

— Ну, вотъ ты поди да и съѣшь, попробуй! Чай, у ней не всѣ еще конфекты-то съѣдены...

— Да что пробовать... Да баринъ и коробку-то унесъ къ себѣ... видно, повѣрилъ... Да я... я ни единому дохтуру не повѣрю... что дохтуры?—только морятъ. Разъ, знаете, заболѣла я, такъ кровь велѣла себѣ пустить, фельдшера позвала. Ничего нѣтъ лучше, какъ эту кровь пущать: черная-то вся выйдетъ, ну, и полегчаетъ.

Спичевскій не расположенъ былъ оспаривать Авдотью—онъ находился въ уныломъ настроеніи, въ животѣ у него страшно бурчало,—пріемъ касторового масла очевидно на него дѣйствовалъ.

Нечего и говорить о томъ, что Петя былъ правъ, не довѣряя ходатайству Ознобина и считая дѣло свое окончательно проиграннымъ. Съ непрошеннымъ заступникомъ обошлись сухо и даже рѣзко. Директоръ сказалъ ему, что если-бы слушать всѣхъ маменекъ, братцевъ, знакомыхъ и прочихъ, то въ гимназіи всѣ-бы оказались совершенствомъ, всѣ-бы переходили изъ класса въ классъ и учиться было-бы незачѣмъ.

— Да поймите-же, ваше превосходительство, убѣждалъ его Ознобинъ,—что я Клина знаю, какъ самого себя, я самъ училъ его и могу смѣло судить, смѣло свидѣтельствовать въ пользу его примѣрнаго трудолюбія.

— Мы лучше знаемъ, кто чего стоитъ, и... я прошу васъ извинить меня: мнѣ некогда.

Ознобинъ этимъ не удовольствовался и пошелъ въ гимназію—узнавать адресъ Милича: авось онъ посовѣтуетъ, что ему сдѣлать и къ кому обратиться.

У Милича въ гостяхъ былъ Х., учитель словесности. Миличъ встрѣтилъ Ознобина довольно вѣжливо; но когда онъ заявилъ ему, что пришелъ просить его заступиться за ученика гимназіи Петра Клина,—оба, и Миличъ, и гость его, мгновенно превратились—одинъ въ вопросительный, другой въ восклицательный знакъ, оба съ ногъ до головы оглядѣли Ознобина. Миличъ, помолчавъ, сказалъ, что такого рода просьба есть не что иное, какъ дерзость.

Ознобинъ сталъ имъ доказывать, что стоять за правду еще не значитъ быть дерзкимъ и что такихъ учениковъ, какъ Петя, немного, такъ какъ онъ, вышедши изъ гимназіи, навѣрное-бы не сжегъ своихъ греческихъ и латинскихъ книгъ и не бросилъ-бы ихъ навсегда, какъ это вообще дѣлаютъ всѣ покидающіе гимназію, а сталъ-бы съ двойнымъ усердіемъ заниматься изученіемъ классической литературы, такъ какъ чувствуетъ къ ней особенную склонность, и что если они не исправятъ своей ошибки, то погубятъ молодого человѣка, отвратятъ его и отъ науки, и отъ наставниковъ.

— Не мы-съ, не мы: поймите, это совѣтъ рѣшилъ, и перерѣшать рѣшеніе совѣта никто изъ насъ не въ правѣ, замѣтилъ учитель словесности.

— Значитъ, это рѣшено и подписано? спросилъ Ознобинъ.

— Рѣшено и подписано.

Ознобинъ всталъ, красный и потный отъ нравственнаго напряженія и конфуза... Онъ все время сидѣлъ какъ на

иголкахъ, но когда всталъ, почувствовалъ, что иголки эти такъ-же продолжаютъ колоть его; онъ понялъ, что стѣны лбомъ не прошибешь и что сила солому ломитъ, что передъ этими господами въ синихъ вицъ-мундирахъ онъ не что иное, какъ соломенка,—и ему стало стыдно.

Когда онъ вышелъ, страшно сконфуженный, собесѣдники переглянулись и почти въ одно и то-же время сказали другъ другу: «нигилистъ!..» (Les beaux esprits se rencontrent).

Отчаявшись помочь своему любимцу, Ознобинъ долго злился; но мысли его, когда онъ вернулся дотой, приняли иное, болѣе свойственное ему направленіе.

«Бѣдняга страдаетъ, — страданіе закаляетъ. Людямъ съ призваніемъ нуженъ этотъ закалъ, а Петя Клинъ—не безъ призванія, натура его недюжинная... А что онъ говоритъ, что въ гимназіи не останется, то... э... я уговорю его, онъ меня послушаетъ... да... э... онъ непремѣнно послушаетъ».

Такъ утѣшалъ себя Ознобинъ.

Но Петя уже ничѣмъ не утѣшалъ себя. Мысль, что не сегодня, такъ завтра посыплются на него упреки, брань и язвительныя насмѣшки его родителя и что эти упреки и эти насмѣшки будутъ его преслѣдовать цѣлый годъ (безконечный годъ, какъ это ему казалось),—мысль эта наводила на него почти что паническій страхъ. Не изъ трусости онъ этого ужасался, онъ ужасался, что та бездна, которая лежитъ между нимъ и отцомъ его, станетъ еще шире, и не только между нимъ и отцомъ его, но и между мачихой и даже тѣми немногими, кого онъ любитъ. Петѣ казалось, что и Мавра, и старикъ Орѣшинъ, и сестра, и крестная мать, и сынъ ея, студентъ Володя, будутъ глядѣть на него, какъ на шалопая, не будутъ довѣрять ни его трудамъ, ни его способностямъ; что гдѣ-бы онъ теперь ни появился въ своей гимназической формѣ, вездѣ покажутъ на него пальцемъ или подумаютъ: «вотъ, не выдержалъ экзамена зрѣлости, а еще думалъ о себѣ и то, и се, и это»...

Онъ дѣйствительно думалъ о себѣ и то, и се, и это, какъ самоувѣренный юноша, но преувеличивалъ то мнѣніе, которымъ люди будутъ будто-бы клеймить его и, стало быть, возмущать его человѣческое достоинство.

«А вѣдь отецъ мой отчасти будетъ и правъ, если будетъ на меня злиться, перескакивала мысль Пети; — да, онъ будетъ правъ: ради латыни и задачъ, я пренебрегъ его музыкальными уроками, и, подавъ ему надежду, что изъ гимназіи выйду однимъ изъ первыхъ, хотя-бы послѣднимъ вышелъ!— Нѣтъ! Даже и не послѣднимъ! Оставленъ вдвоемъ съ однимъ изъ самыхъ безтолковыхъ и безпутныхъ учениковъ, которому и помочь-то не было никакой возможности. Ну, что-жь, бить меня за это!.. Бить, бить!.. Нѣтъ, лучше умереть».

И мысль о смерти, мысль порѣшить съ собой, исчезнуть съ лица земли, мало-по-малу стала вкрадываться въ его душу, боуреваемую страстями и тайнымъ отчаяніемъ.

ГЛАВА VII.

Билину, которому помогъ Петя по латинскому языку, было около 19 лѣтъ, хотя на видъ онъ казался гораздо моложе Пети. Низенькій, рыхлый, блѣдный блондинъ, съ задумчивымъ, меланхолическимъ лицомъ, маленькими добрыми голубыми глазками, онъ былъ очень симпатичный малый, и Петя едва-ли не болѣе всѣхъ любилъ его. Товарищи звали Билина *безбровымъ*. Дѣйствительно, вмѣсто бровей надъ глазами его были какія-то бѣлесоватыя волосинки, едва замѣтныя на его блѣдномъ лицѣ. По своему характеру, онъ былъ идеалистъ, хотя четырехъ стиховъ не могъ-бы выучить безъ ошибки; математическая голова его проявляла мечты свои въ видѣ формулъ; языки ему не давались, зналъ онъ только по-французски, потому что этому языку съ дѣтства учила его тетка (до своего выхода замужъ). Гимназію, впродолженіи 10 лѣтъ, одолѣвалъ онъ своей усидчивостью и прилежаніемъ;

недешево стоило ему это прилежаніе: легкія его были тронуты, чему не мало способствовала его обстановка. Отецъ его былъ секретаремъ въ одной изъ такихъ канцелярій, гдѣ взятки—гладки (есть на свѣтѣ такія Богомъ забытыя канцеляріи); кое-какъ справляясь съ жалованьемъ, любилъ онъ картежную игру, и такъ-какъ игралъ съ необыкновеннымъ разсчетомъ и хладнокровіемъ (тоже, видно, былъ съ головой не безъ математики), нерѣдко изъ благороднаго клуба приходилъ домой съ десятками лишнихъ рублей, а иногда и съ сотнями. Но счастье служило ему, какъ и всякому игроку, только до поры, до времени. Не задолго до смерти онъ сталъ проигрываться, и, несмотря на ревизію дѣлъ и канцелярскія хлопоты, ради тщетной жажды отыграться во что-бы то ни стало, до утра сталъ пропадать въ клубѣ и кончилъ тѣмъ, что умеръ отъ нервнаго удара. Женѣ положительно не на что было похоронить его. Сердобольное начальство выдало ей 150 р. на погребеніе и обѣщало выхлопотать пенсію. На эту пенсію, около 22 р. въ мѣсяцъ, Марья Федотовна Билина не могла-бы существовать, если-бы ей не помогалъ старшій сынъ ея, Сергѣй, академикъ, съ которымъ она, впрочемъ, очень рѣдко видѣлась. Сергѣй былъ помощникомъ одного изъ самыхъ модныхъ архитекторовъ, у котораго построекъ въ Петербургѣ было на сотни тысячъ рублей. У Марьи Федотовны, при жизни мужа, была страсть угощать: печь пироги, ватрушки, мочить грибы, дѣлать вишневку и варить превосходный кофе... По смерти мужа, страсть эта превратилась въ неудовлетворенную потребность и втайнѣ сокрушала бѣдную Марью Федотовну. Явилась крайняя нужда заниматься какимъ-нибудь ремесломъ; она стала шить бѣлье, вышивать мѣтки и выучилась чистить перчатки. Затѣмъ хотѣла выучиться дѣлать цвѣты, но ей сказали, что она слишкомъ стара для этого занятія; это сильно огорчило Марью Федотовну.

Марья Федотовна жила на заднемъ дворѣ, въ четвертомъ

этажѣ; у ней было три крошечныхъ комнатки, изъ которыхъ одна была спальнею и учебною сынка ея Сени, прозваннаго «безбровымъ».

Сеня, передъ экзаменами и во время экзаменовъ, до такой степени заработался, что слегъ въ постель, и прежній кашель сталъ душить его... Къ вечеру, несмотря на лихорадочный жаръ, онъ чувствовалъ себя бодрѣе, но утромъ его одолѣвали слабость и уныніе. Онъ занимался лежа; мечта— докончить экзамены и получить атестатъ зрѣлости казалась ему уже безнадежною. Онъ уже предчувствовалъ начало конца, и то воображалъ себѣ, что стоитъ ему сдать послѣдній экзаменъ, какъ тотчасъ-же онъ выздоровѣетъ, воспрянетъ духомъ и почувствуетъ съ себѣ силы богатырскія, то воображалъ, что до конца ему не дотянуть и придется отправиться въ поля елисейскія... Участь Пети, о которой, конечно, знали уже всѣ его товарищи, сокрушала Сеню; онъ чуть не плакалъ при мысли, что тотъ, кто помогъ ему пройти мытарство, называемое латинскимъ экзаменомъ, самъ этого экзамена не выдержалъ. Онъ никакъ даже и представить себѣ не могъ, чтобы Петя удостоилъ его своимъ посѣщеніемъ. И что-же?—Несчастный Петя вдругъ появился у него въ комнатѣ и, какъ разъ послѣ математическаго экзамена, засталъ его въ постели—и несчастный Петя, несмотря на его впалыя щеки, показался ему молодымъ и даже въ очень хорошемъ расположеніи духа.

— Ну, ужь не взыщите... сказала Марья Федотовна, входя вслѣдъ за Петей къ больному сыну. — Такой у него безпорядокъ,—еще и комнаты не успѣла прибрать... только-что съ Сѣнной вернулась. Что это такъ давно вы не заходили къ намъ? Чай, партикулярное платье себѣ заказали... сбросить эту амуницію собираетесь? То-то, чай, рады!..

Петя понялъ изъ словъ ея, что Билинъ утаилъ отъ своей матери новость о злополучномъ исходѣ его экзаменовъ. Это было ему пріятно, но намекъ на партикулярное платье тот-

часъ же заставилъ его подумать: а что, если я выйду, на чьи деньги сдѣлаю я себѣ партикулярное платье? У меня всего пять рублей 30 копеекъ. Нужно будетъ у отца просить!.. Нѣтъ, этого не будетъ, это невозможно... пусть въ гимназической амуниціи и похоронятъ меня... не все-ли равно... въ чемъ... хоть ни въ чемъ!..

Все это подумалъ Петя въ то время, какъ Сеня Билинъ трепетно пожималъ ему руку и любовно глядѣлъ ему въ лицо, точно не Петя, а любимая мечта, въ видѣ любимой дѣвушки, посѣтила его бѣдную комнату, и едва-ли онъ слышалъ, какъ Марья Федотовна спрашивала Петю, не сварить-ли ему кофейку и не дать-ли ему чего-нибудь закусить.

— Извини, что я до сихъ поръ еще не успѣлъ... не успѣлъ... и... поблагодарить тебя... началъ было лепетать Сеня, и страшно, мучительно раскашлялся... Красныя пятна ярче выступили на щекахъ... одна рука шарила подъ подушкой, ища носового платка... другая хваталась за грудь.

— Видите, какъ онъ себя уходилъ, проговорила, вся сморщившись, Марья Федотовна,—а еще завтра на экзаменъ хочетъ идти.

— Не-пре-мѣн-но, непремѣнно, простоналъ Сеня, отхлебнулъ изъ стакана воды и успокоился.—Вы, маменька, ступайте... Петѣ непремѣнно слѣдуетъ у насъ чашку кофейку... а мы тутъ поговоримъ—у насъ секреты.

— Ну, говорите, говорите... только тебѣ и говорить-то вредно... Вы, пожалуйста, г-нъ Клинъ, не позволяйте ему много говорить... ему не велѣно.

— Ну, какъ сошелъ греческій? спросилъ его Петя, какъ только вышла Марья Федотовна.

— Со-шелъ! усмѣхнувшись блѣдными губами, отозвался Сеня, сидя на постели въ одной рубашкѣ съ растегнутымъ воротомъ.—У насъ по классамъ цѣлая лабораторія работала... Не ожидалъ я, братъ, что такое товарищество у насъ. Никогда его не было, и вдругъ... утѣшительно даже. Вышелъ

я по крайней необходимости... и... и помогли; всѣ слова, которыхъ я не зналъ, уже были пріисканы и мнѣ подсказаны. И знаешь, гдѣ я ихъ записалъ на память? У себя на рубашкѣ, на манжеткахъ накрахмаленныхъ—карандашикомъ... всуну въ рукавъ—ничего не видно, высуну—нагнусь и разбираю... Памяти у меня нѣтъ на эти слова, что прикажешь дѣлать!.. Вотъ формулы... какія хочешь, тѣ запоминаются. Изъ математики слѣдовало-бы мнѣ 5 получить; — четверку поставили. Ну, и за то спасибо!.. И какой это, братецъ, они резонъ выдумали: «пять», говорятъ, можно ставить только тому, кто знаетъ не хуже учителя... а развѣ ученикъ можетъ что-либо знать не хуже учителя? Да и то сказать, каковъ ученикъ, каковъ учитель! Есть, братъ, такіе учителя, что дальше книжекъ одобренныхъ—ничего... хоть шаромъ покати.

— А кто медаль получитъ? спросилъ Петя.

— А по всей вѣроятности Кальяновъ: онъ на фразы молодецъ, а главное, смекаетъ, что имъ нужно... Я, говоритъ, имъ написалъ, что въ наши благословенныя времена рѣдко уже встрѣчаются типы вродѣ Чичикова и что классицизмъ и знаніе вытѣсняютъ окончательно этотъ типъ надувалъ... А что-же мы дѣлаемъ, какъ не надуваемъ?.. Молодецъ этотъ Кальяновъ!

— Тебѣ не велѣно много говорить, замѣтилъ Петя, забывъ, что самъ-же разспрашивалъ.

— Да, братъ... умру я... кажется... недолго выживу.

— Ну, я прежде тебя умру... проговорилъ Петя и смутился духомъ...

Къ Билину пришелъ онъ не безъ цѣли. Годъ тому назадъ, онъ видѣлъ у него на столѣ какой-то пистолетъ и хотѣлъ у него пистолетъ этотъ выпросить.

— А чѣмъ-бы ты лучше хотѣлъ быть—Чичиковымъ или нигилистомъ? вдругъ спросилъ его Сеня.

— Не буду ни тѣмъ, ни другимъ, съ горечью отвѣтилъ Петя.—А ты?

— Я-бы... я-бы физикомъ и механикомъ хотѣлъ быть. Видѣлъ ты у насъ часы столовые висятъ въ той комнатѣ? Слышишь — идутъ... Два года, братецъ, не ходили, я ихъ разобралъ, сложилъ и починилъ—идутъ. Вникъ, братецъ, въ эту механику; были-бы инструменты, самъ-бы часы смастерилъ. Ну, да недешево-же мнѣ это стоило.

— Что недешево?

— Да это занятіе-то, вниканье-то... По двумъ предметамъ получилъ двойки, да еще одну съ минусомъ. Маменька была очень разстроена, а сама-же говорила, что безъ часовъ какъ безъ рукъ... А золотые, папенькины, давно ужь, братецъ ты мой, ухнули... Заложили, да такъ и не выкупили.

— А гдѣ еще у тебя былъ такой... револьверъ?

— Какой револьверъ? Ну, ужь и не знаю. Ахъ, да! Это былъ не мой; я бралъ чинить его. Я, братъ, и эту механику изучилъ.

И Сеня опять раскашлялся.

— Да у кого-же ты бралъ.

— А у Федьки Федотина, у него бралъ.

Федя Федотинъ былъ тотъ самый ученикъ, который вмѣстѣ съ Петей, изъ числа 13, былъ оставленъ на 2-й годъ въ 8-мъ классѣ; это совпаденье удивило Петю. Зачѣмъ Федотину пистолетъ? «Онъ, говорятъ, богатъ, подумалъ Петя;— ему все равно, не застрѣлится... Или узнать адресъ и попросту, по-товарищески, зайти къ нему... авось подъ какимъ-нибудь предлогомъ мнѣ и удастся выпросить. Вѣдь онъ, дуракъ, всему повѣритъ».

— А какъ я, братъ, срѣзался!... Ты представить себѣ не можешь, перебилъ больной Сеня несвязныя, больныя мысли Пети, натягивая себѣ на грудь байковое одѣяло и прижимаясь плечемъ къ подушкѣ. Въ комнатѣ, гдѣ лежалъ онъ, была открыта форточка, но вѣяло не столько прохладой, сколько какимъ-то затхлымъ, нездоровымъ воздухомъ. Сеня почувство-

валъ, что его знобитъ, прилегъ и машинально сталъ прикрывать себя, продолжая разговаривать.

— Срѣзался? переспросилъ Петя, продолжая думать о Федотинѣ.

— Да еще какъ срѣзался-то! На словесномъ латинскомъ экзаменѣ... Спрашиваетъ меня депутатъ: «а кто былъ Цицеронъ?» (Мнѣ, братъ, изъ Цицерона досталось... и недурно я перевелъ,—мѣсто-то попалось знакомое). «Кто былъ Цицеронъ?» Я и опѣшилъ. «Адвокатъ», говорю... Всѣ засмѣялись, депутатъ тоже зубы оскалилъ. «А не прокуроръ?» спрашиваетъ, а самъ подмигиваетъ. Я, братъ, ужасно сконфузился.

— Я-бы не сконфузился, хвастливо проговорилъ Петя.— Я-бы сказалъ: намъ никто и не объяснялъ. До біографій и смысла писателей мы не добирались. Этотъ Миличъ только и толковалъ, что у Тита Ливія такія-то граматическія формы преобладаютъ, у Тацита — такія-то, да что фраза Горація короче фразы Виргилія... До тошноты. Да чтобъ каждый изъ насъ, переводя вслухъ, непремѣнно до точки дочитывалъ, какъ-бы длиненъ ни былъ періодъ, хоть во всю страницу, непремѣнно до точки... иначе единица или два съ минусомъ»!..

Билинъ понималъ, что Петя ничего-бы этого не сказалъ на экзаменѣ и, что если онъ все это говорилъ, то потому, что сердце у него закипаетъ, что ему тяжело и горько!

И еще пуще пожалѣлъ Петю, когда маменька, Марья Федотовна, принесла ему кофе и кусочекъ сыру.

— Выздоравливай-ка скорѣе, сказала она Сенѣ.— Вотъ вмѣстѣ съ Клиномъ и въ университетъ поступите, и товарищами будете.

Какъ ножемъ слова эти рѣзнули по сердцу Петю. Не допилъ онъ стакана кофе, простился съ Сеней, поцѣловалъ его, чуть не заплакалъ, со слезами на душѣ прошелъ вонючій дворъ и, обогнувъ два воза съ сѣномъ, вышелъ на улицу.

ГЛАВА VIII.

Петя былъ въ большомъ затрудненіи. Денегъ у него было около пяти рублей, не болѣе, а револьверы не дешевы, и вопросъ, гдѣ достать ему револьверъ, такъ, чтобы ни въ комъ не поселить ни малѣйшаго подозрѣнія, сильно его озабочивалъ. Утраченная или ушедшая въ неопредѣленную даль цѣль — продолжать учиться, такъ чтобы какъ можно скорѣе добиться самостоятельности и независимости отъ мошны своего родителя,—цѣль эта для Пети стала чѣмъ-то вродѣ несбыточной мечты и на мѣсто этой цѣли выросла и водворилась другая цѣль—достать револьверъ и умереть.

Такъ какъ судьба или ученый совѣтъ для шлянья по мостовой оставили Петѣ не малое количество совершенно празднаго времени, Петя шлялся, страшно уставалъ и не думалъ о своей усталости. Ему ничего не стоило узнать адресъ Федотина, прозваннаго товарищами Федькой.

Онъ, въ случаѣ крайней необходимости, рѣшился прямо сказать ему, на что ему нуженъ револьверъ.

Но, къ счастью, и это не удалось ему.

Сцена у Федьки вышла комическая. Петя засталъ его въ однихъ брюкахъ, съ засученными рукавами рубашки и съ рапирой въ рукѣ, упражняющагося въ фехтованьи. Одинъ стоялъ онъ среди своей прохладной и богато-убранной комнаты и, выступая впередъ, и припадая на правую ногу, и топая, и притопывая, пронзалъ онъ воздухъ или невидимаго врага концомъ своей рапиры съ притупленнымъ остріемъ.

— Давай фехтовать, бери рапиру и становись!.. не разспрашивая, зачѣмъ пришелъ къ нему Петя, обратился къ нему, потный отъ своей гимнастики, Федотинъ.

— Не умѣю я фехтовать, да и не за тѣмъ я пришелъ... У меня до тебя дѣло есть.

— Ну, давай бороться. Ты думаешь, что ты сильнѣе?

Дудки, братъ! Снимай сюртукъ. Сюда никто не войдетъ. Мама, сестры—тѣ наверху, да и тѣ давно на дачу уѣхали. Ну!..

Петя отнѣкивался.

— Клинъ, душка! Голубчикъ, пожалуйста, поборемся... Клинчикъ, Клинокъ!.. Сдѣлай такое одолженіе... Ну, что тебѣ стоитъ? бросивъ рапиру на диванъ, сталъ упрашивать его Федька Федотинъ.

— Да зачѣмъ?

— Ахъ, зачѣмъ!.. Хочется знать, насколько я тебя сильнѣе... Ну, что тебѣ стоитъ?..

— Съ большимъ-бы удовольствіемъ, да не въ такомъ я расположеніи духа; чай, самъ знаешь. До экзаменовъ зрѣлости не допустили, оставили на годъ,—только съ тобой вдвоемъ и оставили!

— Эка бѣда! Вотъ бѣду нашелъ! Пойду въ юнкера, раньше ихъ генераломъ сдѣлаюсь. А захочу—найму ихъ себѣ уроки давать, за часъ по пяти, по десяти, по пятнадцати рублевъ на орѣхи имъ, и все пойдетъ, какъ по маслу. На будущій-же годъ послѣдній экзаменъ сдамъ. А вотъ, какъ я начну тебя щипать... вотъ эдакъ, такъ ты поневолѣ на меня взбѣсишься и начнешь драться.

И довелъ-таки Федотинъ Петю до того, что тотъ не шутя разсердился.

Не снимая сюртука, онъ сцѣпился съ нимъ и сталъ гнуть его съ боку на бокъ, упираясь ногами въ коверъ и стараясь ему дать подножку. Федотинъ былъ выше ростомъ и гораздо ловчѣе Пети. Петя былъ сильнѣе и неповоротливѣе. Долго ломались они, напрягая всѣ свои мускулы, и оба грохнулись разомъ на полъ, такъ-что въ сосѣдней комнатѣ что-то звякнуло.

Петя очутился на Федькѣ, но Федька пришелъ въ азартъ, выскользнулъ и вцѣпился руками въ воротникъ противника, и если-бы Петя, въ свою очередь, не очутился подъ Федькой,

Федька навѣрное оторвалъ бы ему воротникъ и изодралъ-бы на немъ и безъ того довольно потертый и поношенный гимназическій сюртукъ.

— Что, братъ!.. Что-о-о-о! А?! Будешь впередъ бороться?! Будешь, будешь?! А?!

— Ну, пусти, чортъ съ тобой, ну, ты сильнѣе... А все-таки я первый тебя поборолъ! вставая, задыхающимся голосомъ сказалъ самолюбивый Петя.

— Не кто первый, а кто послѣдній, вотъ что, братъ! Нѣтъ, не хвастайся! Гдѣ тебѣ со мной! Ты только въ латыни силенъ, ну, тамъ тебѣ и книги въ руки, а то гдѣ тебѣ!..

Петя осмотрѣлся: цѣлы-ли пуговицы и, можетъ быть, не скоро бы вспомнилъ о цѣли своего визита, если-бы не увидалъ на стѣнѣ цѣлый арсеналъ ружей, пистолетовъ, кинжаловъ, черкескихъ шашекъ, старинныхъ шпагъ и даже двѣ охотничьихъ нагайки.

«Есть изъ чего выбирать», подумалъ Петя и спросилъ развалившагося въ креслахъ усталаго и раскраснѣвшагося Федотина:

— А сдѣлаешь ты мнѣ товарищеское одолженіе или не сдѣлаешь?

— А не знаю, можетъ быть. Если тебѣ нужны деньги, десять рублей могу тебѣ предложить.

— На что мнѣ деньги, у меня своихъ немало, прихвастнулъ Петя (а можетъ быть и то, что пять рублей ему самому казались большими деньгами).—Мнѣ не деньги; дай мнѣ какой-нибудь револьверъ.

— А на что тебѣ?

— А тебѣ что за дѣло, на что? Можетъ быть застрѣлиться хочу.

— Во-о-на! Застрѣлиться! Шалишь! Не застрѣлишься, гдѣ тебѣ!

— А если я честное слово дамъ тебѣ, что застрѣлюсь?

Федька, который все еще мысленно дулся на Петю за его претензію побороть его, прищурилъ сѣрые, бойкіе глаза и сказалъ:

— Коли ты дашь честное слово, я тебѣ повѣрю, только тебѣ и повѣрю. Это тебѣ досадно, что экзамена-то не выдержалъ? А?

— Да ужь отъ чего-бы тамъ ни было... мое дѣло.

— А не хочешь сказать, какое дѣло?

— Не хочу.

— Гмъ...

Федотинъ помолчалъ, и между бровей его на лбу показалась складочка.

— Въ магазинахъ ружейныхъ немало всякихъ револьверовъ, купи.

— Капиталу не хватаетъ.

— Да вѣдь ты сейчасъ-же хвастался, что деньги у тебя есть.

— Вовсе не хвастался, я только занимать у тебя не хотѣлъ.

— Ишь какой!.. Нѣтъ, не дамъ я тебѣ револьвера; чего добраго, ты и въ самомъ дѣлѣ застрѣлишься! Ну, и будетъ мой револьверъ въ полиціи у какого нибудь бутаря или хожалаго. У меня, братъ, дешевыхъ нѣтъ, дорогіе. Папенька мой большой до этого охотникъ.

— Да ты дай мнѣ тотъ самый, который ты Билину чинить отдавалъ; такой старенькій.

— Да когда это было? Сто лѣтъ тому назадъ; тотъ револьверъ такъ и остался у Билина. Онъ, кажется, не то заложилъ его, не то продалъ. А ты лучше на войну ступай.

— Какая теперь война?

— А вотъ съ турками пойдемъ воевать.

— Гдѣ намъ воевать! Я слышалъ, у насъ ни пороху, ни пушекъ, ни флота. Оттого и виляемъ.

— Во-о-на! Ни пушекъ, ни пороху!.. Хва-а-титъ! А я,

братъ, какъ только война—на коня и маршъ! Только меня и видѣли.

— Такъ не дашь револьвера?

— Только меня и видѣли! Зададимъ мы имъ перцу—туркамъ-то этимъ, баши-бузукамъ.

— Самъ ты баши-бузукъ!

— Кто... Я? вспыхнулъ Федотинъ (но не вскочилъ, а остался въ той-же позѣ лежать въ креслахъ).—Вотъ повтори только ты это слово. Попробуй... Ишь... Никогда не бывалъ у меня, носу своего не показывалъ, на жженку звалъ — не пришелъ, а теперь пришелъ, да еще дерзости говоритъ. Я-те дамъ... баши-бузукъ...

— Ну, я дуракъ, очень мнѣ нужно было приходить къ тебѣ. Прощай.

— Убирайся.

Петя вышелъ озлобленный. Федотинъ, прозванный товарищами безпардоннымъ Федькой, захлопнулъ за нимъ дверь и громко проговорилъ:

— Если-бы не рандевушка въ воскресенье, на дуэль-бы мнѣ его слѣдовало вызвать. Я-бы ему задалъ... Баши-бузукъ!.. Ишь, скотина!..

ГЛАВА IX.

Шляясь по Питеру, Петя старался заходить домой такъ, чтобы не заставать дома родителя,—или около двухъ часовъ пополудни, когда Егоръ Антоновичъ былъ на службѣ, или вечеромъ, когда Егоръ Антоновичъ былъ въ Павловскѣ.

На другой день послѣ неудачныхъ его посѣщеній Сени Билина и Федьки Федотина, Петя нашелъ у себя на столѣ двѣ записочки. Первая изъ нихъ поразила его своимъ содержаніемъ:

«Саша, ученица ваша, писалъ къ нему Спичевскій,—наѣвшись вашихъ конфектъ, захворала и при смерти. Дядюшка

рветъ и мечетъ. Совѣтую вамъ, во избѣжаніе непріятностей, нѣсколько повременить и не показываться ему на глаза».

«Что это значитъ? съ ужасомъ подумалъ Петя.—Саша умираетъ,—и отъ моихъ конфектъ! И меня подозрѣвать, подозрѣвать!.. И кто-же? Добрѣйшій Аполонъ Карповичъ!.. Что за чепуха! Вретъ Спичевскій, или...»

Другая записка была отъ Ксеніи.

«Милый братъ Петръ Егоровичъ, пріѣзжайте къ намъ завтра, въ воскресенье, обѣдать. Мы соскучились. Завтра папа вашъ обѣдаетъ въ Царскомъ Селѣ у какого-то генерала. Мы однѣ будемъ весь вечеръ. До шести часовъ будемъ васъ ждать.

Ваша Ксенія».

Петя позвалъ Михѣя и спросилъ его: какимъ образомъ попала къ нему первая записка, на конвертѣ которой не было городскаго штемпеля. Михѣй объяснилъ, что записку эту велѣла ему положить на столъ Любовь Петровна.

Петя пошелъ въ кухню къ Любови Петровнѣ. Любовь Петровна сказала, что одну записку занесъ дворникъ, а другую почтальонъ принесъ. Голова у нея была повязана бѣлымъ носовымъ платкомъ, отъ котораго пахло уксусомъ. Сзади висѣли двѣ косички, лицо было болѣзненно, какая-то зеленоватая тѣнь лежала около висковъ. Она пожаловалась Петѣ, что ночью угорѣла, чуть не умерла. Михѣю, дураку, пьяницѣ, почему-то вздумалось на ночь трубу закрыть. Кабы во-время не проснулась, такъ-бы и умерла.

Петя молча вышелъ изъ кухни, и преобладающей мыслью его стало—умереть во снѣ, отъ угара.

«Лучше этой смерти и не придумаешь, подумалъ Петя.—Сама судьба подсказываетъ. Но какъ это сдѣлать? Теперь не зима, печей не топятъ! Нужна жаровня».

И Петя вспомнилъ, что у матери его была жаровня, но гдѣ она?

Позавтракавъ, онъ пошелъ въ будуаръ своей мачихи, по-

сидѣлъ на ея кушеткѣ, уныло поглядѣлъ на блѣдно-голубую, шелковую, штофную занавѣсь на позолоченныхъ кольцахъ, которая полузакрывала постель ея, на этотъ разъ съ однимъ нижнимъ полосатымъ тюфякомъ и безъ подушекъ.

Затѣмъ Петя вышелъ въ коридоръ, прошелъ его до самаго конца и заглянулъ въ кладовую, въ которую никогда не заглядывалъ. Тамъ сберегался всякій хламъ; тамъ нашелъ онъ и ту ванночку съ пятнами ржавчины на бѣломъ жестяномъ днѣ, въ которой когда-то мыла его мать съ помощью старухи Мавры.

«Матушка, прости меня, если я затѣваю недоброе, прости, прости!» подумалъ Петя, и мучительный, неразрѣшимый вопросъ: не напрасная-ли это мольба, слышитъ-ли его кто-нибудь, не глупо-ли просить у несуществующаго? — мелькнулъ въ отуманенной головѣ его.

Долго Петя водилъ глазами, пока не отыскалъ жаровню съ покривившимися ножками, ту самую, на которой еще на дачѣ, въ ту осень, когда онъ былъ влюбленъ, мать его варила варенье. Жаровня эта выглядывала изъ-подъ досокъ, которыми при переѣздѣ заколоченъ былъ ящикъ съ его книгами. Онъ хотѣлъ ее вытащить; но, услыхавъ шаги Любови Петровны, какъ воръ, выскочилъ въ коридоръ и ушелъ въ свою комнату.

Онъ зналъ, что передъ обѣдомъ изъ министерства непремѣнно на квартиру зайдетъ отецъ его, и всегда на это время уходилъ, куда глаза глядятъ. На этотъ разъ онъ зашелъ къ Ознобину. Не заставъ его дома, легъ на его постели и рѣшился во что-бы то ни стало его дождаться. Петя былъ тронутъ тѣмъ, что Ознобинъ — одинъ Ознобинъ, — несмотря на честное слово, данное имъ своей особѣ, навѣстилъ его, и въ то время, когда во всемъ много-мильонномъ царствѣ русскомъ никто за него не заступается, нашелся одинъ чудакъ, Ознобинъ, который, какъ Донъ-Кихотъ, пошелъ за него бороться съ вѣтряными мельницами: вообра-

зилъ себѣ, что и онъ что-нибудь значитъ. Ничего онъ не значитъ; будь онъ хоть Ерусланъ Лазаревичъ и все-таки сломила-бы его та сила, которую одни называютъ судьбой, а другіе—бюрократіей или бумажнымъ царствомъ. Когда-то молодежь была отъ него избавлена, почти что не подозрѣвала его существованія, дышала вольнѣй и набиралась тѣхъ впечатлѣній, безъ которыхъ немыслимы никакой лиризмъ, никакая поэтическая проза. Теперь не то: бумага, печать и подпись съ раннихъ, чуть-ли не дѣтскихъ лѣтъ, даютъ себя знать и чувствовать.

Ознобинъ пришелъ довольно поздно, и ему горько было сознаться, что хлопоты его ни къ чему не привели.

— Нечего дѣлать, вздохнулъ онъ.—Слѣдуетъ покориться.

Ни слова на это не сказалъ ему Петя и показалъ ему записку Спичевскаго.

— Что вы думаете объ этомъ? Не совѣтуете-ли идти?.. Что, если Саша умерла? Вѣдь это жалко! Поймите, Ознобинъ, вѣдь это жалко!

— Э... вотъ, какое дѣло! протянулъ Ознобинъ.—Пока не ходите... Адресъ Орѣшина у меня записанъ, да я и такъ помню... Сегодня-же вечеромъ пойду и вызову Мавру. Она мнѣ все скажетъ... Это какія-нибудь штуки... Давно вы тамъ не были?..

— Да вотъ уже дней пять, какъ не былъ.

— Если-бы конфекты ваши были вредны, это давно-бы обнаружилось.

— Да я ихъ самъ ѣлъ... и Михѣй ѣлъ... и при мнѣ Саша подчивала Мавру... Этого быть не можетъ... Это штуки Спичевскаго... Это... чортъ знаетъ что!.. Подозрѣвать... меня подозрѣвать!..

— Пойду... и все узнаю. Не горячитесь...

Въ это время къ Ознобину зашелъ гость. Благообразное, нѣсколько еврейское лицо его, сдержанныя манеры и сдержанный голосъ, приличный костюмъ безъ всякаго франтовства

и безъ всякихъ признаковъ бѣдности, пріятно подѣйствовали на Петю. Петя въ первый разъ видѣлъ этого плотно-стройнаго, черноволосаго, съ карими глазами юношу... Это былъ нѣкто Шульманъ, недавно вышедшій изъ университета и уже успѣвшій помѣстить двѣ ученыхъ статьи въ журналѣ «Министерства народнаго просвѣщенія»; человѣкъ практическій, вѣчно дѣятельный, тонко понимающій и людей, и свои выгоды, онъ давалъ уроки, поддерживалъ семью и воспитывалъ братьевъ.—Такъ какъ въ моемъ разсказѣ Шульманъ не играетъ никакой особенной роли, то я и не стану подробно говорить о немъ. Скажу только, что, несмотря на его спокойную наружность, онъ былъ не въ духѣ. Усѣвшись за самоваръ, Шульманъ пустился въ отвлеченности. Онъ былъ по своей натурѣ не столько математикъ, сколько философъ. Изучалъ и Спинозу, и Канта, и Шопенгауера; задачи чисто-умозрительныя, вопросы тяжелые, глубоко захватывающіе жизнь не разъ его мучили, и много безсонныхъ ночей провелъ онъ съ перомъ, окруженный нѣмецкими философскими книгами. Въ императорской публичной библіотекѣ давно уже всѣ присмотрѣлись къ его нѣсколько гетевской, блѣдной физіономіи. Къ нему относились не безъ уваженія, и близкіе къ нему люди ожидали отъ него многаго... Еврей по рожденію, онъ любилъ свое племя. Но какой-же въ сущности онъ былъ еврей, когда въ немъ сидѣлъ и Спиноза, и Кантъ, и Шопенгауеръ? Если иногда и заходилъ онъ въ синагогу, то развѣ только для того, чтобы не огорчать своего престарѣлаго отца, равина, или своей фанатически-религіозной матери.

По отношенію къ Петѣ, я долженъ только то сказать, что бесѣда Шульмана съ Ознобинымъ,—бесѣда, въ которой Петя не принималъ почти что никакого участія, бесѣда, повидимому, самая наивная,—не только не уврачевала уязвленную душу его, но, напротивъ, растравила язвы и укоренила въ немъ мысль какъ можно скорѣе порѣшить съ собой.

Шульманъ говорилъ о тѣхъ противорѣчіяхъ, на которыя наталкивается всякая, до конца проводимая логически, мысль... Напримѣръ, говорилъ онъ, можно сдѣлать выводъ, что все, что мы видимъ, есть дѣйствительность, и можно сдѣлать выводъ, что сонъ и то, что мы видимъ на яву, совершенно одно и тоже... Можно доказать, что жизнь вѣчна и что смерть есть достояніе не только насъ грѣшныхъ — есть достояніе всей вселенной. Стоитъ только всѣмъ дѣйствующимъ въ природѣ силамъ придти въ равновѣсіе,—а это рано или поздно будетъ,—и ничего не будетъ: ни травы, ни человѣка, ни земли, ни пылинки, ни солнца, ни камня, ни воды, ни воздуха: все сольется въ нѣчто или въ ничто, и это «нѣчто» будетъ глухое, нѣмое и вѣчно неподвижное... И не все-ли равно, когда это случится — черезъ 100 лѣтъ или черезъ миліоны лѣтъ: когда-бы ни случилось, — о человѣчествѣ, о всемъ томъ, о чемъ мы хлопочемъ, къ чему стремимся, и помину не будетъ...

— Богъ до этого не допуститъ, сказалъ Ознобинъ.—Безначальному никогда конца не будетъ.

Такъ продолжался разговоръ.

— Богъ... а что такое Богъ?..

Петѣ казалось, что возраженія его бывшаго наставника и выводы его были далеко не такъ логичны и неотразимы, какъ выводы его ученаго противника. Съ жадностью слушалъ онъ этотъ песимистическій разговоръ и еще съ болѣе отуманенной головой, уже не думая ни о Сашѣ, ни о Спичевскомъ, ни о Ксеніи, вышелъ отъ Ознобина.

— Да, умереть... и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, подумалъ онъ. — Мы ничего не знаемъ и знать не можемъ. И не все-ли равно, когда забудутъ о нашемъ безцѣльномъ существованіи?

ГЛАВА X.

На другой день, въ воскресенье, поутру, шумъ проливнаго дождя, глухо всхлипывающія стекла оконъ, тусклый, закутанный въ тучи день и думы на цѣлый часъ задержали Петю въ постели. Онъ давно уже не спалъ, а все еще лежалъ, какъ байбакъ и какъ лѣнтяй, чего прежде съ нимъ никогда не случалось. Что онъ будетъ дѣлать? Куда пойдетъ? Поѣдетъ-ли въ Павловскъ? Эти вопросы даже и не мелькали въ головѣ его,—такъ сталъ онъ равнодушенъ къ тому, чѣмъ наполнится день и что его ожидаетъ... Даже мысль о томъ, что онъ не выдержалъ экзамена, какъ-бы стушевалась, перестала возмущать его... Всѣмъ завладѣла мысль о смерти... И мысль эта удалила на послѣдній планъ и какъ-бы затуманила все житейское. Но по мѣрѣ того, какъ онъ одѣвался, пилъ чай, увидѣлъ на столѣ и глазами пробѣжалъ записку Ксеніи, онъ живо почувствовалъ, что день насталъ ненастный, дождливый, можетъ быть, холодный день, — и стало ему досадно: неужели ради его послѣдней прогулки или поѣздки въ Павловскъ не промелькнетъ солнце и не разсѣются тучи?..

«Буду веселъ и бодръ, никому не дамъ даже подозрѣвать, что они видятъ меня въ послѣдній разъ... Неужели у меня не хватитъ характера быть совершенно спокойнымъ и развѣ я не спокоенъ?»—Михѣй!

Михѣй въ кухнѣ грубилъ Любови Петровнѣ и нескоро услыхалъ голосъ Пети, который, высунувшись въ дверь, звалъ его.

— Чего-съ?..

— Поди сюда.

— Да помилуйте... я свое дѣло знаю-съ,—а она... помилуйте!..

— Ну, хорошо... знаешь-ли ты свое дѣло или не знаешь, это мнѣ все равно...

— Какъ все равно-съ?.. Помилуйте...

— Хочешь получить рубль на водку... А?

Все лицо Михѣя въ одно мгновеніе ока преобразилось... Онъ вытянулся и посмотрѣлъ на Петю такими глазами, какими когда-то во фронтѣ, выпячивая грудь свою, смотрѣлъ онъ на генерала, скачущаго на конѣ, когда ему уже было извѣстно, что начальство довольно и жалуетъ всѣмъ имъ по полтинѣ на водку.

— Рады стараться, ваше благородіе, пробормоталъ Михѣй и вдругъ захихикалъ, вспомнивъ, что онъ не во фронтѣ. — Да за что-же это?.. Помилуйте-съ... еще не заслужилъ... хе-хе-хе!..

— А вотъ, заслужи и получишь. Исполни все, что я тебѣ прикажу... Поди, посмотри, кладовая заперта или нѣтъ?

— Заперта-съ, Петръ Егорычъ...

— Отчего-же вчера не была заперта?

— Любовь Петровна все запираетъ-съ... А что ее и запирать-то!.. Ничего, кромѣ поломанной рухляди, съ позволенія сказать...

— Добудь у нея ключъ. Тамъ ты найдешь такую... жаровню... въ углу она лежитъ, подъ досками; возьми ее, вытри пыль и принеси ко мнѣ въ комнату.

— Это жаровню-то?..

— Ну, да...

— Не дастъ она ключа, Петръ Егорычъ, приподнявъ брови, отозвался Михѣй безнадежнымъ шопотомъ.

— Ну, такъ скажи ей, что я велѣлъ тебѣ взять изъ кладовой кой-какія вещи и принести...

— Не дастъ-съ...

— Ну, и рубля на водку не будетъ. Самъ возьму и все сдѣлаю, что надо.

— Да когда же это-съ?..

— Да сегодня-же... сію минуту...

— Зачѣмъ-же она вамъ понадобилась, жаровня эта?

— Хочу на ней пряники печь.

— Хе-хе... Затѣйникъ вы, Петръ Егорычъ! Ей-богу, затѣйникъ!

— Особенные такіе пряники... Ну, ступай, доставай ключъ...

— Не дастъ... Ей-богу, не дастъ.

— Ну, скажи, что я приказалъ.

Михѣй попятился въ коридоръ и, поглаживая усы, лѣнивымъ шагомъ добрался до кухни.

— Чего тебѣ? спросила его Любовь Петровна. — Какой тебѣ ключъ?

— Да не мнѣ... вишь, баринъ проситъ отъ кладовой. Ему что-то понадобилось.

— Возьми. Да назадъ принеси, промямлила Любовь Петровна. Она завтракала и что-то жевала.

— Еще стащитъ что-нибудь да пропьетъ... вотъ сокровище-то навязался! Помилуй Господи! подумала осторожная вдова. — Знала-бы, ни за что-бы, кажется, не нанялась... свои деньги трачу, а по ночамъ—такъ инда страхъ беретъ. Комнаты пустыя, вещей также немало... Долго-ли до грѣха? За всѣмъ гляди, за все отвѣчай... Еще слава Богу, что хоть свой кабинетъ-то запираетъ... Богъ съ нимъ!

Михѣй, съ ключемъ въ рукахъ, зашагалъ по коридору со сводами... У кладовой долго не могъ онъ попасть ключемъ въ замочную скважину, — у него давно уже дрожали руки; наконецъ, одолѣлъ онъ висячій замокъ, и затѣмъ много перерылъ всякаго хлама, прежде чѣмъ увидѣлъ жаровню и добрался до нея.

Стуча, вынесъ онъ ее за дверь. Полой своего сюртука смахнулъ съ нея пыль, взялъ на руки, какъ ребенка, и, прижимая къ груди, понесъ.

— Это ты что тащишь? Постой! Куда прешь?.. Это что? послышался голосъ Любови Петровны, которая вытерла масляной ротъ и вышла изъ кухни, заслышавъ, какъ Михѣй по чему-то шлепаетъ, точно по желѣзу.

— Что надо, то и тащу, про себя бормоталъ Михѣй, не останавливаясь.

— Ты это зачѣмъ?

— А приказано—и тащу. Не украду—не золото...

— Знаю, что не золото.

И, слѣдомъ за Михѣемъ, она вошла въ комнату къ Петѣ.

— Это вы приказали, баринъ? Зачѣмъ это вамъ?!

Петя въ это время что-то писалъ карандашемъ..., и смущенный обернулся къ двери.

— Что такое?.. Жаровня?!.. Ахъ, да, Любовь Петровна!.. Онъ, очевидно, сконфузился

— Зачѣмъ-же это вамъ?

— Я сейчасъ ѣду въ Павловскъ... Ну-съ, и думалъ я...

— Неужели этакую дрянь вы хотите съ собой въ Павловскъ взять?

Этимъ вопросомъ Любовь Петровна какъ-бы подсказывала Петѣ, что ему говорить.

— Непремѣнно, Любовь Петровна. Мнѣ даже писали объ этомъ... Эта жаровня моей покойной матери... Вы никогда не видали моей покойной матери?

— Никогда не видала... не привелъ Господь...

— А вѣдь эта жаровня еще годится, чтобъ на ней варенье варить, продолжалъ Петя, вставая и подходя къ жаровнѣ.—Вотъ только ножка одна искривлена; это я починить отдамъ въ Павловскѣ. Тамъ придворная очень хорошая кузня есть... въ концѣ солдатской слободки, налѣво...

— Стоитъ ее брать съ собой!.. Это срамъ... Поѣдете по желѣзной дорогѣ, съ господами сядите.

— Да вѣдь я въ третьемъ классѣ, съ мужиками, поѣду... Вы что думаете?! Стану я на второй классъ деньги бросать; вотъ дурака нашли!..

«Въ папеньку скупой», подумала Любовь Петровна.

— Когда-же вы поѣдете?..

— Сегодня обѣдать поѣду, а послѣ завтра совсѣмъ переѣду. Прощайте.

— Такъ это, значитъ, вы не сегодня, послѣ завтра жаровню-то съ собой потащите? приставала неотвязная, но уже насмѣшливо улыбающаяся, Любовь Петровна.

— Конечно, еще не сегодня.

— Такъ пусть въ кухнѣ и постоитъ. Видите, какая пыльная!

— Чего пыльная?.. Я, чай, стиралъ пыль-то... проговорилъ Михѣй, дрогнувъ лицомъ и очевидно обидѣвшись.

— Ну, пыльная, такъ пыльная, сказалъ, вдругъ разсердившись, Петя. — Какая-бы она не была. Я такъ хочу... оставьте ее у меня... вотъ... пусть она у меня въ углу стоитъ... Я — чтобъ не забыть... а вы тутъ о чистотѣ... Не мѣшайте мнѣ... Я занятъ...

Петя нахмурился и присѣлъ къ столу.

Любовь Петровна вышла и тотчасъ вернулась, такъ какъ замѣтила, что Михѣй, переставивъ жаровню къ стѣнкѣ, заговорилъ съ Петей.

— Ты тоже не мѣшай, сказала она.—Первое твое дѣло— у всѣхъ на водку просить. Да ключъ отъ кладовой не забудь...

И Любовь Петровна удалилась...

— Господи, Боже мой! Ну, что я ей сдѣлалъ! Видите, баринъ, заговорилъ Михѣй сокрушенно, чуть не до ушей приподнимая плечи и складывая на животѣ свои пальцы...

Усатая, лысая, испитая фигура Михѣя была очень смѣшна въ эту минуту. Но Петя не слыхалъ его жалобъ и сказалъ ему:

— Ступай, Михѣй Иванычъ, спасибо. Я скоро уйду на часокъ, на другой, и позову тебя... не уходи изъ квартиры. А на водку... еще получишь... Теперь не дамъ.

«Слава Богу, что дурака нашелъ, подумалъ про себя Петя.—Онъ за рубль все къ ночи достанетъ мнѣ:—и уголья, и полѣно... До тѣхъ поръ будетъ за мной ухаживать, пока не уходитъ».

ГЛАВА XI.

Несмотря на сумрачный, совершенно осенній день, Петя собрался таки въ Павловскъ. Любовь Петровна поручила ему сказать *мамѣ*, что деньги всѣ вышли, всѣ до одной копеечки, что расходъ записанъ и что чаю осталась самая малость.

Михѣй, получивъ въ задатокъ 30 копеекъ, потерялъ всякую способность размышлять и сказалъ Петѣ, что «все, какъ есть все будетъ исполнено», — угольковъ припасетъ и бревешко подъ кривую ножку жаровни добудетъ — и все, какъ слѣдуетъ... Обѣщался быть дома и самъ отпереть дверь, какъ-бы поздно вечеромъ Петя ни вернулся.

Въ пятомъ часу Петя въ третьемъ классѣ подъѣзжалъ уже къ Павловску.

Выскочивъ изъ вагона, трепетный, съ глухимъ замираніемъ сердца, черезъ вокзалъ, мимо скамей и бассейна, украшеннаго искусственными ліанами, мокрыми отъ утренняго дождя, Петя черезъ мостикъ прошелъ на заднюю дорожку и углубился въ паркъ налѣво; не хотѣлось ему идти правѣе, по той дорогѣ, по которой отправились на свои дачи пѣшеходы, пріѣхавшіе съ послѣднимъ поѣздомъ, и гдѣ, — чѣмъ чортъ не шутитъ! — можетъ встрѣтиться съ нимъ отецъ и опять спросить его: кончилъ-ли онъ свои экзамены?

Ни одного голубого клочка не было видно на небѣ,— все оно покрыто было одною сплошною массою сѣрыхъ облаковъ; въ воздухѣ вѣяло осенней сыростью; густо-зеленыя, влажныя деревья, казалось, задумались о судьбѣ своей... Куда дѣвалось вчерашнее солнце, и ужь не настала-ли осень? Паркъ былъ пустъ, зеленыя скамьи его были мокры, бронзовыя статуи Аполона и девяти музъ казались темными.

Петя вышелъ къ нимъ, на ихъ цвѣтистую лужайку, и съ досадой, чуть не злобою, заглянулъ въ лицо одной изъ девяти олимпійскихъ сестеръ. «Ты тутъ зачѣмъ стоишь?...

Хорошо тебѣ... ты мѣдная! Будь ты живая, тебя-бы изъ каждой гимназіи—въ зашей!»

«Не понимаю, продолжалъ думать Петя,—легче-ли будетъ на сердцѣ у тѣхъ людей, которые придутъ сюда поглядѣть на нихъ...» Онъ забылъ, что и онъ когда-то, влюбленнымъ мальчикомъ, прибѣгалъ сюда и другими, совсѣмъ другими, глазами глядѣлъ на эти бронзовыя изваянія. Тогда было также сыро и холодно, но тогда была весна въ душѣ его, и не замѣчалъ онъ ни осенняго неба, ни тѣхъ желтыхъ листьевъ, которые крутились у ногъ его.

Чувства, которыя въ эту минуту наполняли душу Пети, уже не разъ подмѣчалъ я въ тѣхъ еще незрѣлыхъ или недодѣланныхъ, но несомнѣнно искреннихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, которыя иногда приносили мнѣ на просмотръ наши школьники... Боже мой, думалъ я не разъ, читая ихъ произведенія: откуда такое уныніе, такой мрачный взглядъ на людей и на міръ, такой чуть не младенческій лепетъ и такое старческое разочарованіе!?

Петя, три года тому назадъ проводившій лѣто въ Павловскѣ, не могъ заблудиться и направилъ путь свой вправо, къ тѣмъ воротамъ, что выходятъ подъ «Дубки», неподалеку отъ того мѣста, гдѣ стоитъ мачта съ протянутыми веревками для дѣтской гимнастики.

Онъ медлилъ только потому, что раньше шести часовъ ему не хотѣлось явиться на дачу къ мачихѣ. Шелъ онъ не спѣша и, завернувъ къ крайней алеѣ, которая тянется вдоль границы парка, вдругъ пріостановился... Въ ста шагахъ отъ себя онъ завидѣлъ синюю съ чернымъ накидку своей мачихи. Мина Михайловна была не одна, съ ней былъ молодой человѣкъ. Она стояла лицомъ къ лицу его, держала его за руки и о чемъ-то горячо ему говорила, точно упрашивала...

Петя отступилъ за кустъ боярышника и видѣлъ сквозь предательскія вѣтви, своими глазами видѣлъ, какъ она от-

кинула вуаль, какъ ея губы прильнули къ его усамъ и какъ вслѣдъ затѣмъ она пошла направо, а онъ—налѣво.

Лицо молодаго человѣка показалось ему знакомымъ. Онъ гдѣ-то видѣлъ этотъ рѣзкій профиль, эти усы и эту эспаньолку, которая выставлялась впередъ и какъ-бы отдѣлялась отъ густой, курчавой бородки... Но гдѣ онъ видѣлъ этого франта,—Петя не могъ припомнить. Сердце его болѣзненно сжалось.

Но это продолжалось недолго. Петя вдругъ почувствовалъ въ себѣ легкость необыкновенную,—что-то засмѣялось въ душѣ его... Такъ *ему* и надо! прошепталъ онъ... И пошелъ, смѣло пошелъ по слѣдамъ мачихи; онъ догналъ ее уже на улицѣ, за воротами парка. Она шла не оглядываясь и замѣтила его не прежде, какъ онъ перегналъ ее.

Онъ ее нарочно перегналъ, дѣлая видъ, что не узнаетъ ее.

— Петя! Это ты?

Петя обернулся, покраснѣлъ и остановился.

— Ахъ, какъ я рада, какъ я рада, что ты пріѣхалъ! Вотъ счастливо встрѣтились... Вѣдь ты не знаешь, гдѣ наша дача, и пока-бы искалъ, мы, чего добраго, безъ тебя-бы и отобѣдали. Пойдемъ. Дочка моя давно уже съ нетерпѣніемъ ждетъ тебя. Должно быть, неравнодушна... къ чернымъ глазамъ твоимъ. Хоть ты и мало обращаешь на нее вниманія.

— Отецъ дома? спросилъ Петя.

— А ты не встрѣтилъ его на желѣзной дорогѣ? Онъ прямо изъ министерства съ бумагами—къ генералу въ Царское... и останется у него обѣдать. Очевидно, онъ чего-нибудь добивается, твой папаша... Ну, а что твои экзамены?

— Экзамены еще не совсѣмъ окончены, сказалъ Петя, опустивъ рѣсницы, но на этотъ разъ успѣлъ тотчасъ-же справиться съ своимъ смущеніемъ.

— А у насъ для тебя наверху и комнатка приготовлена, на чердакѣ. Поэтическій чердачекъ эдакій! Дача у насъ не велика, но уютна... вотъ ты увидишь.

Такимъ образомъ, болтая о томъ, о семъ, вошли они въ рѣшетчатыя, настежь отворенныя ворота. (Дача была на дворѣ, въ саду).

— Вотъ и пришли, улыбаясь сказала Мина Михайловна.

Петя все еще поглядывалъ на миловидную мачиху, видѣлъ слѣдъ преступнаго поцѣлуя на губахъ ея и, несмотря на свою привычку даже въ самые жгучіе морозы выходить на воздухъ въ шинелькѣ, подбитой вѣтромъ, чувствовалъ, что его знобитъ.

Мачиха не ошиблась: Ксенія очень обрадовалась Петѣ, поглядѣла ему въ глаза и крѣпко схватила за руку.

— Мы думали, сказала Мина Михайловна,—что ты въ партикулярномъ платьѣ, въ цилиндрѣ и съ тросточкой къ намъ прикатишь... Пора тебѣ сбросить эту затасканную амуницію.

— Скоро сброшу, пробормоталъ Петя.

Онъ былъ убѣжденъ, онъ старался убѣдить себя, что видитъ ихъ въ послѣдній разъ въ жизни.

Дуня на крытой терасѣ накрывала на столъ, и, едва вошелъ Петя, заиграла глазами и поглядѣла на него съ двусмысленной улыбочкой.

Она тоже была увѣрена, старалась убѣдить себя, что Петя съ избыткомъ вознаградитъ ее за ея безпримѣрное поведеніе. Давно-ли она въ Павловскѣ, а ужь успѣла двумъ юнкерамъ и одному повару отказать въ свиданіи, даже обругала ихъ съ видомъ оскорбленной невинности.

«Онъ остригся и похорошѣлъ, похудѣлъ и такой интересный сталъ», думала Ксенія, любуясь Петей.

Хорошо быть восемнадцатилѣтнимъ юношей, но восемнадцатилѣтніе юноши этого не сознаютъ и не чувствуютъ; Петя въ особенности считалъ себя самымъ несчастнымъ существомъ и равнодушными глазами смотрѣлъ на неравнодушныхъ къ нему дѣвушекъ—барышню и ея горничную.

Скоро проворная Дуня принесла миску съ супомъ, и Мина Михайловна крикнула съ терасы:

— Обѣдать!

Петя и Ксенія были уже въ саду и должны были вернуться.

— Я думала, что вы будете веселѣе послѣ экзаменовъ, сказала Петѣ Ксенія, усаживаясь за столъ.

— А развѣ я не веселъ,—я очень веселъ, отвѣчалъ ей Петя.

— Нѣтъ, не совсѣмъ веселы... нѣтъ...

— Экзамены еще не кончены, замѣтила Мина Михайловна.

— Для меня они кончены, дрогнувшимъ голосомъ сказалъ Петя.—Какой соленый супъ у васъ!

— Да... супъ немножко пересолили. Только, какъ-же... Ты, кажется, сказалъ, что не все еще кончено?

— Для меня все кончено... Провалился, и меня не допускаютъ до зрѣлости: еще, говорятъ, зеленъ, спокойно проговорилъ Петя и смѣло поглядѣлъ въ глаза своимъ собесѣдницамъ. Казалось, онъ рѣшился съ ними не церемониться.

Съ недовѣрчивымъ изумленіемъ поглядѣла Ксенія на своего суроваго братца.

— И все-то онъ вретъ, съ легкомысленной улыбкою произнесла Мина Михайловна.

— Ну, не вѣрьте!..

— Мы, напротивъ, убѣждены, что ты заставишь насъ послать за бутылкой шампанскаго (благо Егора Антоныча дома нѣтъ) и что мы тебя поздравимъ.

— Да, надо что-нибудь выпить—такой сырой день. И такъ какъ я скоро отправлюсь путешествовать, и мы нескоро увидимся, то дайте хоть рюмочку коньяку.

— Какой ты, однакожь, враль, извини меня. «Провалился»! «ѣдетъ куда-то путешествовать»!

Петѣ было отчасти пріятно, что ему не вѣрятъ.

— Чувствую я, сказалъ онъ, пожимаясь,—что я, или простудился, или такъ нездоровится.

И опять онъ попросилъ коньяку.

На этотъ разъ услышала его Дуня, быстро повернулась, никого не спрашиваясь, вынула изъ буфета и поставила на столъ любимую бутылку Егора Антоныча.

Мина Михайловна долго не давала Петѣ коньяку; но такъ какъ она, по добротѣ души своей, ни въ чемъ не привыкла молодымъ людямъ отказывать, то мало-по-малу и согласилась, даже сама налила ему четверть рюмочки.

Проглотивъ глотокъ, Петя обжегъ себѣ горло.

— Да, проворчалъ онъ,—это очень... это...

И не досказалъ. Онъ думалъ, что этотъ огневой глотокъ поможетъ ему выдержать характеръ, не вѣшать носа, быть бодрымъ и ни въ комъ не поселять мысли, что онъ въ отчаяніи.

— Ахъ, да, началъ онъ, пощупывая горло,—шелъ я по парку... встрѣтился.. не то, чтобы я встрѣтилъ, а издали видѣлъ, прошелъ какой-то молодой человѣкъ... очень знакомая физіономія. Эдакій, съ носомъ и эспаньолкой, въ гороховомъ пальто нараспашку.

— Не Зуевъ-ли? совершенно спокойно, дѣлая салатъ, отозвалась Мина Михайловна.

— Какой-же это Зуевъ?

— А бывшій шаферъ мой, давнишній знакомый. Онъ и мнѣ встрѣтился. Живетъ тоже въ Павловскѣ; кажется, гдѣ-то на Новыхъ мѣстахъ... Часто по вечерамъ повадился заходить къ намъ,—большой охотникъ до преферанса... Съ мужемъ отъ скуки играетъ по маленькой. Ты его еще на свадьбѣ видѣлъ, и, вообрази, неравнодушенъ къ Ксеніи.

Ксенія зарумянилась и повела глазами на мать свою.

— Что краснѣть? Какъ это глупо—краснѣть!

«Ты кажется, ни отъ чего уже не покраснѣешь», подумалъ про себя Петя.

— И въ чемъ тутъ стыдъ? Ну, одержала побѣду... ну и пусть страдаетъ! продолжала Мина Михайловна.

— Никакой побѣды! пробормотала Ксенія.—Не хочу никакой побѣды! Не хочу!..

— Какая ты смѣшная. Разумѣется, ты еще молода, чтобы замужъ выходить,—но если ты хорошенькая, то что-жь изъ этого? Выростешь, мы еще не такого жениха найдемъ,—богатаго...

«Или онѣ ужь всѣ такія,—эти юбки? подумалъ Петя.—И Ксенія... войдетъ въ лѣта, такая-же будетъ, не лучше матери, не хуже Дуни».

— Да, сказалъ онъ, обратившись къ Ксеніи.—Выйдете вы за богатаго старика... и... будете надувать его.

— Это ужь само собой! съ полу-усмѣшкой проболталась Мина Михайловна; впрочемъ, спохватилась и, промолчавъ съ минуту, продолжала:—Зачѣмъ-же надувать, если мужъ попадется человѣкъ порядочный, и зачѣмъ-же непремѣнно выходить за старика?

Петя холодно и строго посмотрѣлъ на свою мачиху; но этотъ взглядъ былъ одно мгновенье, и Мина Михайловна едва-ли его замѣтила, только почему-то покраснѣла. Этой краски, въ свою очередь, не замѣтилъ Петя: онъ уже шутилъ съ Ксеніей. Она была не въ духѣ, раздражена, и ему хотѣлось во что-бы то ни стало развеселить ее.

ГЛАВА XII.

Послѣ обѣда, когда, по обыкновенію, Петя слегка поклонился мачихѣ, какъ-бы благодаря ее за хлѣбъ, за соль, она ушла въ свою спальню, сѣла въ свои старыя, плетеныя, качающіяся кресла, спиной къ окошку, и принялась за романъ, который почему-то очень интересовалъ ее; это былъ романъ изъ великосвѣтской жизни, съ описаніемъ придворныхъ баловъ, салоновъ и самаго утонченнаго ухаживанія за жен-

щинами. Романовъ модныхъ, изъ крестьянской жизни, она, терпѣть не могла; этой жизни она не знала, хоть и жила когда-то въ деревнѣ, и нисколько не интересовалась страданіями влюбленныхъ парней, съ горя кутящихъ дѣвокъ и мужьями забитыхъ бабъ. Такой ужь утонченный вкусъ былъ у нашей добрѣйшей Мины Михайловны!

Въ воздухѣ стало какъ-будто теплѣе; между облаками кое-гдѣ показались голубые просвѣты и дымчато-свѣтлыя солнечныя пятна. Петя и Ксенія ушли въ садъ и нашли скамью, окруженную высокими кустами разцвѣтшей сирени. Скамья эта была ужь не такъ сыра, чтобъ нельзя было отдохнуть на ней. Петя, должно быть, нуждался въ отдыхѣ,— усѣлся первый, и рядомъ съ нимъ усѣлась хорошенькая Ксенія. Они разговорились.

Мысль, что день этотъ—послѣдній день его жизни, придавала рѣчамъ его особенный тонъ рѣзкой, небрежной откровенности, прикрытой притворнымъ равнодушіемъ.

— Только, ради Бога, не говорите со мной о гимназіи, да объ этихъ экзаменахъ, да о томъ, что будетъ... Не хочу я и думать объ этомъ—противно мнѣ объ этомъ думать— и... и... не напоминайте... Будемъ говорить о чемъ-нибудь... Вонъ солнце хочетъ выглянуть... Тихо... теплѣе стало; можетъ быть, оттого, что я коньяку хватилъ...

— Что это вамъ вздумалось пить... И вдругъ вы привыкнете и сдѣлаетесь пьяницей.

— Ну, такъ чтожь? И что за бѣда, если я сдѣлаюсь пьяницей?

— Препротивно! Разъ, вашъ папа выпилъ лишнее. Ахъ, какой онъ былъ злой, какой нехорошій! Я думала, что онъ прибьетъ меня. Убѣжала... Ужь и не знаю, какъ тамъ мама... Вы думаете, онъ ее очень любитъ?

— Не думаю... Да и думать не хочу. Какое мнѣ дѣло?..

— Вотъ вы нынче — не бука, но странный вы сегодня;

и если правда то, что вы говорили... Я понимаю... Поглядите-ка на меня. Прямо въ глаза поглядите.

Петя прямо поглядѣлъ ей въ ея прелестные, искристо-синіе задумчивые глазки и усмѣхнулся.

— Я не люблю смотрѣть на васъ. Вы мнѣ кое-что напоминаете.

— Что я напоминаю вамъ?

— То, что и вспоминать-то не стоитъ,—любовь.

— Любовь?!

— Да, первую, ребяческую любовь мою. У той были вотъ точно такіе-же глаза... вообще есть какое-то сходство. Можетъ быть, мнѣ это такъ только кажется, потому что я забылъ ея лицо, то-есть, не то, что забылъ, а не могу себѣ ясно представить. Помню не все лицо, а только то профиль, то поворотъ глазъ, то улыбку. Вотъ волосы ваши какъ двѣ капли воды — ея волосы... такіе-же волнистые, золотистые. Можетъ быть, она теперь шиньонъ нашпилила. Мерзость это — шиньонъ! У вашей мама тоже, чай, сзади не свои волосы?

Ксенія потупилась. Личико ея приняло почти страдальческое выраженіе, въ особенности губки. Казалось она не слыхала послѣдняго вопроса, такъ была погружена въ свои полу-дѣтскія мечты и думы.

Петя дотронулся рукой до косы ея, перевязанной голубой ленточкой, и сказалъ:

— Эдакая роскошь! И для кого все это? Для какого-либо мѣшка съ золотомъ.

Ксенія вдругъ подняла головку, вскинула на него глаза и горячо проговорила:

— Скорѣй для нищаго, если только онъ будетъ достоинъ...

Ей не хотѣлось сказать: любимъ, тогда какъ именно это слово было у ней на умѣ.

— Не сердитесь, не сердитесь, милая дѣвочка.

— Дѣвочка!!.. Вѣдь буду-же и я когда-нибудь дѣвушкой.

— Экъ вы торопитесь! Не только дѣвушкой, а тетехой и бабусей когда-нибудь будете.

— Ну, ужь это... это никогда!

Дѣйствительно, о такой будущности она никогда не думала, и сильно покраснѣла Слишкомъ грубой казалась ей эта правда, если только это правда, что и она, милая дѣвочка, будетъ когда-нибудь бабушкой.

«Охота ему говорить о такихъ пустякахъ», подумала она.

— Вы-бы лучше разсказали мнѣ что-нибудь.

— Что-же вамъ разсказать?

— Да... что-нибудь. Вотъ, вы были влюблены... ну, вотъ и разскажите. Мнѣ очень интересно знать, на кого это я такъ похожа. Она тоже была дѣвочка?

— Нѣтъ, она была нѣсколько постарше меня. Годика на полтора или на два.

«Вотъ, подумалъ Петя,—она интересуется моимъ прошлымъ, тѣмъ прошлымъ, отъ котораго скоро не останется никакого слѣда,

Какъ отъ любви ребенка безнадежной,
Какъ отъ мечты, которой никогда
Онъ не ввѣрялъ заботамъ дружбы нѣжной".

— А я былъ старше васъ. Мнѣ было пятнадцать... Давно ужь это было. Три года тому назадъ. Много воды утекло съ тѣхъ поръ.

И Петя опять не безъ удовольствія поглядѣлъ ей въ глаза, въ которыхъ стоялъ вопросъ, тогда какъ маленькія, розовыя ушки жадно прислушивались къ словамъ его.

«Разскажу ей», подумалъ Петя, и началъ разсказывать:

— Преглупая исторія... Это было въ Павловскѣ, на дачѣ около звѣринца... Знаете, гдѣ звѣринецъ? Кажется, и улица эта называется Звѣринцевской... Боже мой, какъ я былъ влюбленъ! И это было въ первый и въ послѣдній разъ.

— Въ послѣдній! Точно вы умирать собираетесь...

— Гмъ... да..Не перебивайте. Ну-съ... я былъ влюбленъ, какъ дурачина первой степени.

— Гмъ!.. Дурачина! про себя, надувши губки, шепнула Ксенія.—Точно одни дураки влюбляются...

— Но, надо вамъ сказать, по какому случаю я тогда былъ въ Павловскѣ. Мать моя, разставшись съ отцомъ моимъ, жила въ то время у моей крестной матери Померанской и, вмѣстѣ съ ея семьей, переѣхала на дачу въ Павловскъ. У нихъ тутъ своя небольшая дачка есть. Ну, разумѣется, мнѣ пріятнѣе было гостить по цѣлымъ недѣлямъ у матери, чѣмъ жить въ городѣ. Тутъ мы бѣгали, дурачились, удили рыбу, ходили въ лѣсъ, собирали грибы. Бывало, увидишь бѣлку на деревѣ,—инда духъ замираетъ: спугнешь ее камнемъ и видишь, какъ она, перелетая съ дерева на дерево, точно птица, несется по лѣсу... завидно станетъ. Я часто звѣрямъ и птицамъ завидывалъ,—дикимъ, разумѣется. Домашнихъ терпѣть не могу. Быть индюкомъ или теленкомъ—это... чортъ возьми! Такъ прошло цѣлое лѣто и ничего не случилось. А ужь въ августѣ... почти-что въ концѣ августа это было... Да, это было удивительно, т. е. ничего нѣтъ удивительнаго, но я былъ какъ въ чаду. Разъ, гуляя, неподалеку отъ насъ въ одномъ окошкѣ увидѣлъ я блондинку. И сколько разъ я тутъ проходилъ и ничего не видѣлъ, вдругъ, вѣрите-ли, остолбенѣлъ, остановился среди улицы и гляжу, какъ дуракъ.

«Ну, почему-же какъ дуракъ? Что тутъ такого глупаго!» подумала Ксенія.

— Это было глупо; но что-же дѣлать? Мало-ли на свѣтѣ глупостей! Хотите, я вамъ про любовь одинъ латинскій стишокъ прочу.

— Не хочу, разсказывайте. «Она сидитъ у окна и вы остановились».

— Остановился... да... Она подняла глаза, разумѣется, догадалась, чего я остолбенѣлъ, и улыбнулась. Но развѣ можно было не остолбенѣть при видѣ такой красавицы? Ун-

дина, просто ундина! Овалъ лица, бѣлизна, глаза, волосы... Никогда, нигдѣ не видѣлъ я ничего подобнаго.

«И я на нее похожа! А!..» подумала Ксенія.

— Разсказывайте.

— Ну, вотъ. Ахъ, какъ я былъ дерзокъ! Купилъ въ вокзалѣ,—знаете, въ вокзалѣ, гдѣ цвѣты продаютъ, купилъ два розанчика — одинъ бѣлый, другой алый, и такіе душистые, махровые! Перевязалъ ихъ розовой ленточкой,—у Вари Померанской выпросилъ,—перевязалъ и, въ тотъ-же день, замѣтивъ, что *ея* нѣтъ въ комнатѣ и что окно раскрыто, взялъ да и положилъ ей на окно букетикъ. Видите, какимъ я селадономъ былъ. Ну, и тотчасъ-же убѣжалъ, разумѣется:— тягу далъ. Запыхался ужасно и очутился къ лѣсу на берегу Славянки. Знаете, тутъ неподалеку рѣчка, Славянкой называется. Иду по берегу, по кустамъ, по травѣ, по кочкамъ, ничего не вижу, не слышу. Вдругъ, купаются женщины: увидѣли меня, кричатъ, визжатъ, стали стыдить, ругаться. Ну, думаю, пропалъ! Повернулъ назадъ и ушелъ, какъ оплеванный. И пришло мнѣ въ голову, что и она тамъ купалась Весь вечеръ, всю ночь эта мысль меня мучила. На другой день, утромъ, иду по дорожкѣ въ паркъ и что-же вижу? *Она!* А на груди у ней два розана приколоты. Съ нею были какіе-то мужчины, но я даже и не замѣтилъ ихъ. Поравнялась она со мной, поглядѣла, пристально поглядѣла, и слегка, словно невзначай, рукой дотронулась до моихъ розановъ: дескать, догадываюсь, что это ты, голубчикъ,—кромѣ тебя некому такую штуку выкинуть. Боже мой, какъ въ этотъ день я былъ глупо счастливъ! Ни на какіе дворцы, ни на какіе миліоны не промѣнялъ-бы я того блаженства, которое наполняло мою душу. Мнѣ хотѣлось пѣть, плясать, летать. Чортъ знаетъ, что со мною было!

Петя, разсказывая объ этомъ, припоминалъ сочиненную имъ повѣсть и какъ онъ это все описывалъ.

«Если и мнѣ въ окно кто-нибудь положитъ цвѣты, я тоже приколю ихъ на грудь», подумала про себя Ксенія.

— Но, продолжалъ, Петя,—надо было ѣхать въ городъ. Какъ теперь помню, было 28 августа; на дачѣ оставался только больной старикъ Померанскій, да еще при немъ мать моя, въ родѣ сестры милосердія. Напрасно передъ отъѣздомъ мнѣ хотѣлось хоть разъ еще встрѣтиться съ моей незнакомкой,—и нигдѣ!.. Такъ я и уѣхалъ; но и въ городѣ продолжалъ съумасшествовать... Даже въ классѣ, во время уроковъ, безпрестанно мерещилось мнѣ лицо, съ золотисто-волнистой косой, съ голубыми глазами и розовой улыбкой.

— А у меня, перебила Ксенія,—развѣ у меня золотистая коса и розовая улыбка?

Петя поглядѣлъ на нее и усмѣхнулся.

— Это я изъ Лермонтова, сказалъ онъ:

Съ улыбкой розовой,
Какъ молодаго дня
За рощей первое сіянье!

— Я ужасно, ужасно люблю Лермонтова, замѣтила Ксенія.—«И скучно, и грустно, и некому руку подать!.» Но разсказывайте. Неужели все этимъ и кончилось?

— О, нѣтъ... Пріѣзжаю втораго сентября на дачу. Старика уже перетащили въ городъ; на дачѣ при вещахъ оставалась только мать моя, да еще одинъ человѣкъ лакей, да стряпуха. Павловскъ былъ на половину пустъ. Мнѣ вообразилось, что и она уже переѣхала и что я уже никогда, никогда ее не увижу. Прошелся мимо ихъ дачи. Занавѣски сняты, на дворѣ водовозная бочка, на окнѣ картонка,—можетъ быть пустая, думаю,—и никого... Несмотря на дождь, раза три прошелся я мимо, и приплелся домой точно убитый. Сталъ помогать укладываться, а у самого на сердцѣ пусто и тяжело, точно что-то я потерялъ очень дорогое и потерялъ навсегда, невозвратно. Послѣ обѣда я сказалъ матери, что въ гимназіи хоть уроки и начались, но учителя

еще не всѣ съѣхались; что я останусь ночевать, что у меня голова болитъ и что самое лучшее, если я пойду въ паркъ и пошляюсь. Ушелъ я въ паркъ. Сыро, сѣро, безлюдно... Цвѣты раскисли и съежились. Деревья кое-гдѣ пожелтѣли. Внизу, надъ прудами—туманъ, мгла. Нѣтъ, думаю, лучше я поѣду въ городъ; если *ея* нѣтъ, лучше уѣхать въ городъ; исхожу весь Петербургъ,—можетъ быть, гдѣ-нибудь и встрѣчу. Были уже сумерки. Иду домой; тоска, точно все вымерло. Вотъ вы доживите-ка здѣсь до осени, увидите, какъ вамъ будетъ грустно и даже жутко... Ну, вотъ, думаю, прощусь съ мама, да на послѣднемъ поѣздѣ и махну въ Питеръ. Заворачиваю въ нашу улицу и вижу издали—у нихъ на дачѣ, на крылечкѣ, сидитъ какая-то дѣвушка, повязанная краснымъ платочкомъ. Ну, думаю—случай!.. Вѣрно это—ея горничная; пойду, заговорю съ ней: куда, молъ, ваши господа переѣхали, гдѣ квартируете, и прочее... Иду, а у самого сердце бьется отъ мысли, что это *ея*, а не чья-нибудь горничная. Вѣрите-ли, Ксенія! Я былъ такъ настроенъ, что мнѣ и горничная-то ея казалась уже чѣмъ-то святымъ и дорогимъ, я-бы и за нее пошелъ въ огонь и въ воду, и только потому пошелъ-бы въ огонь и въ воду, что *ей*, именно *ей*, она прислуживаетъ, одѣваетъ, обуваетъ, разговариваетъ—словомъ, во сто разъ счастливѣе меня и въ тысячу разъ ближе къ ней, чѣмъ я, чужой человѣкъ, совершенно незнакомый ей. Ну, вотъ, напускаю я на себя смѣлость,—я вѣдь въ сущности не трусъ,—подхожу къ крылечку и говорю: «извините, говорю, не знаете-ли вы, кто здѣсь дачу эту нанималъ?» Дѣвушка дрогнула, подняла голову, глядитъ на меня—и ни слова. Я поближе. Надо вамъ сказать, что былъ уже восьмой часъ и что я хотя и не очень, а все-же немного близорукъ. Да и время было пасмурное, дождливое.—Молчитъ. Я сѣлъ противъ нея на другую скамеечку и... вообразите мой ужасъ: это была не горничная, это была *она*! Сама *она*!

— Какъ вы хорошо разсказываете! вздохнула Ксенія.— То-то, я думаю, вы обрадовались!

— Какой обрадовался! Такъ испугался, даже обомлѣлъ. Не могу вамъ и выразить, что со мной сдѣлалось. «Какой, однакожь, вы любопытный! заговорила она ласково и какъ-бы съ упрекомъ, покачивая головкой.—Какое вамъ дѣло, кто здѣсь живетъ? Зачѣмъ вамъ это знать?»—«Извините, пролепеталъ я дрожа, вставая и снимая кепи;—я не узналъ, думалъ, что вы уже въ городѣ».—«Нѣтъ, еще не въ городѣ, говоритъ; но садитесь, что вы встали? Отчего-же вы не въ городѣ?» Что ужь я ей на это отвѣчалъ, въ какія пустился объясненія, не помню. Помню только, что мы разговорились. Голосъ у ней былъ такой сердечный, такой симпатичный. Я уже инстинктивно чувствовалъ, что ей все извѣстно, что она прекрасно знаетъ, что я глупъ и что я влюбленъ въ нее; если она меня не любитъ, то, по крайней мѣрѣ, понимаетъ и мнѣ сочувствуетъ, т. е., ей жаль меня. Это очень обидное чувство—сожалѣніе; но мнѣ было уже все равно. Я упивался звуками ея голоса; это былъ не голосъ, а такая музыка, о которой мой отецъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія. Мнѣ казалось,—вотъ, вотъ вся она просіяетъ, и тогда я буду въ правѣ стать передъ нею на колѣни и приложиться губами къ рукѣ ея. Казалось, каждая складка ея платья дышала невыразимой прелестью. Я благоговѣлъ. Говорили мы самыя простыя вещи, а я все-таки благоговѣлъ, и мнѣ чудилось, что отъ роду я еще не велъ такихъ разговоровъ и что такихъ умныхъ и милыхъ рѣчей отъ роду не слыхалъ и никогда не услышу. Настала ночь, темная-претемная, поднялся легкій вѣтеръ; мнѣ въ спину и въ затылокъ стали ударять капли дождя, я испугался,—думалъ, что она встанетъ и уйдетъ.—«Вотъ и дождя дождались, сказала она,—пересядьте на мою скамью, ну и будемъ болтать». И долго я съ ней болталъ, сидѣлъ съ ней рядомъ и болталъ, т. е. весь свой умъ, все свое сердце передъ ней

выкладывалъ, точно исповѣдывался. О любви, конечно, ни слова. Я узналъ, что ее зовутъ Надей, что у ней есть сестра, что сестра эта перебралась въ Петергофъ, а теперь ищетъ себѣ квартиру въ Питерѣ; что не нынче, завтра пріѣдутъ возы, заберутъ ихъ вещи, и она уѣдетъ; что уѣзжать ей не хочется,—такъ она любитъ осень и уединеніе. На мой вопросъ, гдѣ она будетъ жить зимой, отвѣчала:—«Не знаю». На другой день я, разумѣется, остался въ Павловскѣ; вечеромъ мы пошли погулять и неподалеку, въ паркѣ, усѣлись на скамеечкѣ. Изъ-за черныхъ деревьевъ показался мѣсяцъ; было холодно, я былъ безъ шинели; но она не отнимала у меня маленькой теплой руки, я невольно иногда пожималъ ее и не чувствовалъ холода. Она-же, завернувшись въ большой платокъ, казалась сѣрой, только лицо да руки бѣлѣлись въ ночной тѣни. Не знаю, можетъ быть, она вовсе не умна; но я такъ былъ уменъ, какъ никогда, а потому я былъ уменъ, что она казалась мнѣ первой въ мірѣ добротой и первой въ мірѣ умницей. Какъ-то очень тонко и безобидно выразилъ я ей любовь мою; она не обидѣлась, и я не обидѣлся, когда она сказала, что любитъ не меня одного, а всѣхъ людей, все человѣчество, все хорошее, все истинное и все доброе. Не передаю вамъ разговора, потому что это былъ сонъ, или бредъ на яву. Поздно мы вернулись. Мать моя была очень встревожена моимъ отсутствіемъ и моей полуоткровенностью. А я сказалъ ей, что я не прочь жениться и прочія несообразности,—словомъ, бредилъ. На другой день, съ отмѣткой матери, что въ гимназіи я не могъ быть по домашнимъ обстоятельствамъ, простился съ ней на томъ-же крылечкѣ и уѣхалъ. Въ тотъ-же день и она уѣхала,—куда?—Господь ее вѣдаетъ, куда,—не сказала! Съ тѣхъ поръ, разумѣется, я не видалъ ее и уже никогда не увижу. Да и что за радость увидаться! Можетъ быть, она уже замужемъ за какимъ-нибудь гороховымъ шутомъ, стала свѣтской дамой или чиновницей; на меня-же,

если мы встрѣтимся, посмотритъ, какъ на мальчика, какъ на гимназиста, котораго не допустили до экзаменовъ зрѣлости. Вотъ вамъ и все!

— А можетъ быть, она васъ любитъ! помолчавъ, сказала Ксенія.

— Ну, нѣтъ, это дудки! Да если-бы и любила, толку-бы изъ этого никакого не было. Я уже не тотъ Петя, который мечталъ и фантазировалъ.

— А какъ ея фамилія? спросила Ксенія.

— Не знаю, т. е. она мнѣ сказывала, да я не разслышалъ, а опять спросить было совѣстно. Такъ и осталась моя Надя безъ фамиліи.

— А я знаю, я догадываюсь, кто эта Надя!

— Кто? спросилъ Петя безъ всякаго удивленія.

Онъ былъ убѣжденъ, что Ксенія будетъ этой любовью дразнить его и что онъ ни за что-бы ей всего этого не разсказалъ, если-бы не жаровня, которая ждетъ его.

— Не скажу—кто.

— Я вамъ все сказалъ, а вы!..

— А я не скажу.

И вдругъ Ксенія засмѣялась и проговорила:

— Это была я. Мнѣ тогда было шестнадцать лѣтъ, а теперь тринадцать.

ГЛАВА XIII.

Чѣмъ дальше шло время къ вечеру, тѣмъ безпокойнѣе становился Петя. Съ минуты на минуту ждалъ онъ появленія отца; онъ зналъ, что если тотъ его спроситъ объ экзаменахъ, онъ уже не станетъ отвиливать и скажетъ правду. Онъ тоже зналъ, что за обѣдомъ, въ Царскомъ, отецъ его выпилъ лишнее и если не пьянъ (пьянымъ, т. е. шатающимся, стараго, коренастаго Клина никто еще не видалъ), то краснорѣчивъ и не дай Богъ возбуждать въ немъ гнѣвъ или

малѣйшее неудовольствіе. Быть прибитымъ въ глазахъ Ксеніи вовсе не желалось самолюбивому Петѣ. Все время онъ уходилъ въ глубину небольшаго дачнаго садика, и ему было досадно, что Ксенія упрашиваетъ его остаться на дачѣ и не ѣздить въ городъ.

— Вы хотите, сказалъ онъ ей съ раздраженіемъ,—чтобы я при васъ подрался съ отцомъ моимъ? Извольте, я останусь.

Ксенія поблѣднѣла.

— Его не будетъ... Семи-часовой поѣздъ давно пришелъ, его нѣтъ, стало быть, онъ и не будетъ.

— Петя! сказала мачиха, выходя на терасу въ шляпкѣ, въ перчаткахъ и съ зонтикомъ. — Хочешь съ нами на музыку? Ксенія, надѣнь шляпку; ты тоже пойдешь со мной... Что-же вы, Петя, не отвѣчаете?

— Извольте, сказалъ Петя.

Четверть часа спустя, всѣ трое были уже въ паркѣ, на дорогѣ къ вокзалу.

— Однако, свѣжо, сказала Мина Михайловна. — Какъ жаль, что я не взяла мантильи, да и тебѣ, Ксенія, не мѣшаетъ что-нибудь на себя накинуть. Петя, милый, сбѣгай на дачу, спроси у Дуни накидку... Она ужь знаетъ...

Петя колебался. Изъ Царскаго пришла машина, и свистъ ея раздавался по саду.

— А если я встрѣчу отца, и онъ меня задержитъ?

— Э!.. Засядетъ онъ тамъ играть въ карты и засидится до полуночи.

И Петя, нехотя, пошелъ исполнить ея порученіе. Онъ какъ-бы предчуствовалъ, что его что-то задержитъ.

И предчувствіе его не обмануло. Не успѣлъ онъ появиться на дачѣ, какъ уже въ полномъ смыслѣ былъ атакованъ Дуней.

Веселая, загорѣлая отъ солнца, точно цыганочка, съ раскраснѣвшимися, горячими щеками и засвѣтившимися, увлаженными глазками, Дуня не хотѣла отдавать никакой

мантильи до тѣхъ поръ, пока она не покажетъ ему наверху приготовленной для него комнаты.

Она трепетала какъ туго натянутая струна, задѣтая прикосновеніемъ, и трепетъ свой сообщила Петѣ. Не снимая кепи, очутился онъ подъ низенькимъ потолкомъ съ двумя откосами по сторонамъ, въ длинной комнатѣ, оклеенной лиловатыми обоями. Вершина вѣтвистаго дерева изъ сада заслоняла собой полукруглое, затворенное окно; передъ окномъ стоялъ столикъ, на столѣ кувшинъ, въ кувшинѣ торчалъ букетъ цвѣтовъ, приготовленный для Пети стараніями Ксеніи и ея горничной; у стѣнки стояла кровать и лежала подушка; были и стулья; но кромѣ букета съ душистыми ландышами, который поднесла ему подъ носъ Дуня, Петя ничего не замѣчалъ. Онъ уже рѣшилъ, что не будетъ жить въ этой комнатѣ.

«Точно гробъ!» подумалъ про себя Петя; такое тяжело впечатлѣніе произвела на него эта узкая горница и этотъ потрескавшійся, оклеенный потолокъ. И въ этомъ-то гробѣ Дуня, еще не смѣя цѣловать, жадно схватила его за руку.

— Мнѣ надо спѣшить, Дуня, пусти меня.

— А когда вы совсѣмъ, совсѣмъ сюда переѣдете?

— Ни... никогда... не знаю... черезъ два дня, много много, что черезъ три... Ну, теперь пусти меня.

Вдругъ внизу послышался стукъ: кто-то застучалъ въ дверку ведущую на лѣстницу, такъ-какъ Дуня мимоходомъ успѣла запереть ее на задвижку.

Петя поблѣднѣлъ и заторопился; Дуня чуть слышнымъ вихремъ проскользнула на лѣстницу и приложила ухо.

— Отопритесь, эй! послышался голосъ стараго Клина

Дуня отодвинула задвижку.

— Ты съ кѣмъ тутъ? Петька тутъ? ухмыляясь насмѣшливо, спросилъ Клинъ.

— Мы не запирались, пробовала оправдываться Дуня;— можетъ быть, это Петръ Егорычъ заперъ.

Все лицо ея было покрыто густымъ, сплошнымъ румянцемъ. Старикъ, тоже подрумяненный послѣобѣденною выпивкою, къ счастью, былъ въ веселомъ настроеніи духа.

— Петька, иди сюда.

Петя, тоже весь красный, сошелъ въ сѣни.

— Хе... шашни тутъ у васъ... ишь ты, жеребчикъ какой! А еще постникомъ прикидываешься... Ну, да на все это мнѣ наплевать. Я самъ былъ ходокъ не хуже тебя... Гдѣ жена?

— На музыкѣ.

— Гмъ...

— Сію минуту Петръ Егоровичъ зашелъ за накидками и ему захотѣлось комнату свою посмотрѣть, оправившись отъ перваго смущенія, спокойно проговорила Дуня и пошла къ гардеробному шкафу.

Петя долго-бы простоялъ на одномъ мѣстѣ, какъ приговоренный къ смерти, если-бы отецъ не толкнулъ его въ плечо и не сказалъ:

— Если будешь на музыкѣ и встрѣтишь тамъ Зуева, тащи его сюда... засядемъ... да и тебѣ не худо-бы выучиться въ карты. Пошелъ!

Петя изъ рукъ Дуни, молча, получилъ все, что ему было нужно, и отправился.

«Нѣтъ, мнѣ не жить», думалъ онъ, до мозга костей пристыженный и озадаченный.—«Все противно, и я самъ себѣ противенъ сталъ».

Несмотря на сыроватый вечеръ, было свѣтло, какъ это бываетъ въ концѣ іюня, и тамъ, у балюстрады, гдѣ гремѣла музыка, пѣли смычки, заливались флейты, басилъ контрбасъ, гудѣлъ турецкій барабанъ и бряцали мѣдные бубны, народу было множество; говорили, что въ этотъ вечеръ нѣмецкимъ оркестромъ будетъ исполненъ маршъ, сочиненный въ честь Черняева и его сербскихъ побѣдъ надъ турками. Тогда еще вѣрили, что Сербія, усиленная нашими добро-

вольцами, не хуже Герцоговины, до тѣхъ поръ будетъ биться съ турками, пока турки не запросятъ пардона и не отступятъ. Послѣдняя телеграмма въ особенности была утѣшительна для сердца и самолюбія русскихъ патріотовъ. Черняевъ-же былъ единственный герой, которому въ оны дни симпатизировала большая часть тогдашняго общества,—герой, изъ-за котораго спорили и перебранивались газеты.

Петя, весь поглощенный экзаменами и своимъ страшнымъ горемъ, казалось былъ глухъ ко всякимъ, въ особенности къ политическимъ, новостямъ и слухамъ, даже не видалъ ни разу только-что появившейся на журнальной аренѣ и сразу оперившейся газеты «Новое Время». (Почтенный-же Егоръ Антоновичъ газетъ не выписывалъ: онъ ихъ терпѣть не могъ.)

Петя видѣлъ, что всѣ скамьи передъ балюстрадой были заняты публикой, и долго, какъ оглашенный, бродилъ, поглядывая, не увидитъ-ли своей мачихи, и—вдругъ услыхалъ знакомый голосокъ.

И если-бы не Ксенія, долго бы еще не нашелъ онъ дамъ своихъ. Онѣ сидѣли налѣво отъ вокзала, подъ деревьями.

Зуевъ, въ томъ-же гороховомъ пальто, сидѣлъ между Миной и Ксеніей, и когда подошелъ Петя, поглядѣлъ на него, какъ на знакомаго, и кивнулъ ему головой. Лицо его сіяло самодовольствомъ; казалось, онъ былъ въ ударѣ и трунилъ надъ проходящими барынями и барышнями. Мина, набрасывая на себя мантилью, тоже была въ хорошемъ настроеніи духа. Ксенія сидѣла, молча, и казалось, ничего не слыхала, кромѣ музыки. Разсказъ Пети о своей любви волновалъ ее: Богъ знаетъ, что подсказывало ей воображеніе.

Надѣвъ на себя бурнусикъ, она сильно пожала руку Пети и съ досадой поглядѣла на купчиху, которая, сидя съ нею рядомъ, не позволяла Петѣ воспользоваться мѣстомъ на той-же скамьѣ и заставляла его стоять.

— Вы-бы нашли стулъ, сказала ему Ксенія.

— Не надо; отецъ вернулся, я сейчасъ уѣду.

— Не уѣзжайте, не смѣйте раньше двѣнадцати... Или вы боитесь, что *она* здѣсь?

— Кто *она*?

— Ваша Надя.

— Ну да, боюсь, сказалъ Петя.

Ему было все равно, что ни отвѣчать этой милой, хорошенькой дѣвочкѣ. Онъ думалъ, что циникъ-отецъ не пощадитъ и ея слуха и при ней раскажетъ съ разнаго рода грубыми прикрасами, какъ онъ засталъ его съ горничной. Онъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ и чувствовалъ, что казаться веселымъ свыше силъ его.

Музыка, возобновившаяся послѣ антракта, заиграла какую-то грустную симфонію.

Петя страдалъ, не сознавая причины или, лучше сказать, не желая сознавать ея. Онъ стоялъ, поглядывая на Зуева, и видѣлъ въ немъ несомнѣннаго любовника своей мачихи, вспомнивъ, что подъ новый годъ встрѣтилъ его у Леониды Алаевой. Стоя, равнодушно онъ слушалъ, что говоритъ этотъ Зуевъ и какъ, посмѣиваясь, отвѣчаетъ ему Мина Михайловна. Лицо Зуева ему не нравилось. Въ немъ сидитъ сатиръ; въ карихъ косоватыхъ глазахъ его есть что-то фатальное.

Онъ очень занятъ собой; онъ съ умысломъ растегнулся чтобъ всякій видѣлъ толстую золотую цѣпь отъ часовъ. Когда глаза его, вооруженные лорнетикомъ, встрѣчаются съ глазами изысканно одѣтыхъ дамъ съ волочащимися по слѣдамъ ихъ помятыми шлейфами, полныя губы его, слегка выпятившись, улыбаются.

Все это замѣтилъ Петя. Никогда еще онъ не былъ такъ нервенъ и такъ чутокъ къ явленіямъ всякаго рода пошлостей.

Наконецъ, несмотря на рукопожатія и взгляды Ксеніи, Петя въ 10 часовъ тайкомъ сѣлъ въ вагонъ и, прижавшись въ уголокъ, покатилъ въ Питеръ.

«Ѣду умирать, думалъ онъ.—Прощай, бѣлая петербургская ночь! Прощайте, пустыя поля, и вы, многолюдные, толпой обступившіе столицу и далеко распускающіе по блѣдному небу густые дымы свои, трубастые заводы и фабрики. Вы мнѣ не нужны, да и я не нуженъ вамъ. Засну—и не проснусь. Что можетъ быть слаще! Однако, надо приказать Михѣю, чтобъ онъ не смѣлъ завтра рано утромъ приходить и будить меня».

ГЛАВА XIV.

Въ тотъ-же вечеръ, какъ Петя слушалъ или, лучше сказать, не слушалъ музыку въ Павловскѣ, въ казенной квартирѣ отца его появилось новое женское существо—сестра Мины Михайловны, дѣвушка лѣтъ девятнадцати, дѣвица Баскова. Она прибыла въ Питеръ изъ Рязани съ однимъ изъ пассажирскихъ поѣздовъ и, пообѣдавши на станціи московской желѣзной дороги, часу въ шестомъ вечера позвонила въ квартирѣ сестры своей.

Мы уже упонянули, что покойный мужъ Любови Петровны состоялъ когда-то при конторѣ Басковыхъ, въ тѣ еще времена, когда у нихъ была фабрика и дѣла шли хоть и не блистательно, но, какъ говорится, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Любовь Петровна была горничной еще при покойной матери Мины Михайловны. Она знала ея исторію, а меньшую сестру ея знала еще ребенкомъ. Стало быть, ничего нѣтъ мудренаго, что Любовь Петровна очень обрадовалась молоденькой гостьѣ, тотчасъ-же въ комнату Ксеніи перенесла ея узелки и маленькій чемоданчикъ, поставила ей самоваръ, сбѣгала въ булочную, на свои деньги купила булку и заварила чай.

Аханьямъ, восклицаньямъ, сокрушеннымъ вздохамъ и болтовнѣ Любови Петровны не было-бы и конца, если-бы не хлопоты.

Михѣй ушелъ и пропалъ, и Любовь Петровна жаловалась на свою безпомощность.

Пріѣзжая, въ своемъ дорожномъ шерстяномъ коричневомъ платьицѣ, обошла всѣ комнаты, узнала кой-какія вещи сестры, давно ей знакомыя, поняла, что кабинетъ запертъ, и, наслушавшись розсказней Любови Петровны о Петѣ, о томъ, что онъ какой-то странный, не то скупой, не то щедрый, не то сердитый, не то добрый, Богъ знаетъ какой, заглянула въ его комнату. Не безъ любопытства подошла она къ столу его и, просматривая книги, увидала четвертку бумаги, на которой карандашемъ было что-то набросано. Она нагнула голову, причемъ съ обѣихъ сторонъ свѣсились пряди свѣтлорусыхъ волосъ ея, только что расчесанныхъ ею послѣ дороги и еще незаплетенныхъ въ косы.

Прочитавъ первую строку, она невольно перевела глаза свои на другую строку, и эта другая строка такъ ее поразила, что она прочла все, что было написано.

На красивомъ, тонко и нѣжно очерченномъ лицѣ ея отразились тревога, — нѣчто похожее на испугъ и удивленіе; шире раскрылись изсиня-сѣрые глаза и на блѣдномъ, умномъ лбѣ показалась морщинка, не та морщинка, что появляется у старости, а та, которая выражаетъ собою трудныя минуты вдумчивой и въ то-же время горячей юности.

Вотъ что прочитали глаза ея:

«Я умеръ, но не жалѣйте обо мнѣ. Если-бы удачи людей зависѣли отъ ихъ трудовъ и способностей, я былъ-бы живъ; но удачи ихъ зависятъ отъ людского произвола, который слѣпъ, глухъ и золъ, и вотъ почему я неудачникъ; но не хочу имъ быть, не хочу жить среди лжи, притворства и подлости, ибо чувствую передъ ними всю свою безпомощность. Извини, отецъ, что я введу тебя въ расходы по поводу моего погребенья, но утѣшай себя мыслью, что это послѣдніе на меня расходы,—другихъ не будетъ. Благодарю мачиху Мину Михайловну за вниманіе ко мнѣ и Ксенію за

ту симпатію, которую она внушила мнѣ. Умирая, я буду думать...»

На этомъ оканчивался набросокъ: или Петѣ кто-нибудь помѣшалъ, или онъ думалъ, воротившись домой, досказать свое послѣднее слово.

Пріѣзжая поблѣднѣла, глазами окинула комнату и, точно чего-то испугавшись, вышла, перешла въ комнату Ксеніи, сѣла возлѣ столика, сложила пальцы и задумалась.

Появилась Любовь Петровна и спросила, гдѣ ей будетъ угодно чай пить, здѣсь или въ столовой.

— Гдѣ хотите, Любовь Петровна...

Пріѣзжая встала и перешла въ столовую, гдѣ кипѣлъ самоваръ, варился на канфоркѣ чайникъ, стояла сахарница, чашка и тарелка съ булкой.

— Зачѣмъ-же это вашему Петѣ понадобилась жаровня, Любовь Петровна?

— А не знаю, зачѣмъ! тряхнувъ головой и хлопая руками по бедрамъ, точно вытирая ихъ объ юбку, проговорила Любовь Петровна.

— И уголья... Небольшой мѣшокъ угольевъ на полу у кровати.

— А не знаю, что это ему вздумалось!.. Уголья! Откуда быть угольямъ? равнодушно отозвалась Любовь Петровна.— Жаровню-то они хотѣли въ Павловскъ съ собой взять, можетъ быть, сестрицѣ вашей зачѣмъ-нибудь понадобилась.

— Ну, этого быть не можетъ. Зачѣмъ ей жаровня!.. А когда вашъ Петя вернется?

— А должно быть, сегодня-же пріѣдутъ; а впрочемъ, не знаю. А вы когда думаете побывать въ Павловскѣ?

— Я думаю, завтра или послѣ завтра съѣзжу туда, и ворочусь; надо будетъ квартиру искать.

— Зачѣмъ квартиру? Вонъ сколько пустыхъ комнатъ...

— Нѣтъ, я найму квартиру, не объясняя, зачѣмъ и почему, сказала пріѣзжая.

Она, какъ видно, не любила выбалтываться; ни слова не сказала она Любови Петровнѣ о своемъ открытіи на столѣ у Пети, хоть оно и не выходило изъ головы ея; не будь въ этой запискѣ упомянуто имя сестры ея и Ксеніи, она еще могла-бы думать, что это просто отрывокъ изъ какого-нибудь перевода или сочиненія; все заставляло подозрѣвать, что этотъ Петя замышляетъ надъ собой что-то недоброе... Чувство состраданія къ этому, еще неизвѣстному ей, юношѣ медленными, тихими струйками приливало ей въ душу, наполняло ее тайнымъ безпокойствомъ и рѣшимостью, во что-бы то ни стало, его дождаться и, если возможно, употребить всѣ свои силѣ на то, чтобъ спасти его.

Напившись чаю, она опять ушла въ уютную комнатку своей племянницы, достала изъ мѣшечка тоненькую, непереплетенную книжку: «Микроскопъ и его употребленіе, для врачей и студентовъ, доктора Рейнгарда», и принялась читать ее, облокотясь и машинально однимъ пальцемъ приглаживая прилегшіе къ виску волосы.

Но Любовь Петровна не дала ей долго углубиться въ чтеніе, пришла и со слезами на глазахъ опять затараторила:

— Скучно ужь очень здѣсь; хорошо, кабы вы хоть остались, пожили,—все было-бы хоть чуточку веселѣе. Вотъ барченокъ поѣхалъ, не знаю, привезетъ-ли мнѣ денегъ—деньги всѣ вышли. А у Егора Антоныча лучше и не проси — я боюсь его. Богъ съ нимъ!

— Онъ развѣ очень страшенъ? спросила пріѣзжая.

— Гнѣвливы ужь оченно... Что не такъ—бѣда съ ими.

— А сына онъ любитъ?

— Какъ-же не любить, а все-же никакой у него ласки къ нему: точно чужой. Сказываютъ, ходитъ по урокамъ, уроки даетъ.

— Кто ходитъ по урокамъ?

— Да баринъ молодой, Петръ Егорычъ.

— Да вѣдь старикъ богатъ; сестра писала мнѣ, что онъ не бѣденъ.

Сестра ей писала, что у ея мужа полтораста тысячъ, но и этого не хотѣла сказать ей пріѣзжая, сказала только «не бѣденъ».

— Разумѣется, не бѣденъ; чай накопилъ, Богъ съ нимъ. Дочери приданаго не далъ, сына въ старомъ сюртучишкѣ водитъ,—локти давно протеръ. А расходы пополамъ съ Миной Михайловной: сколько онъ дастъ, столько и она должна... по-мѣсячно...

— А если у ней денегъ не хватитъ? замѣтила пріѣзжая, отложила книжку, опустила рѣсницы и задумалась.

— Ну, читайте, читайте, я это такъ только поболтать зашла... А гдѣ вамъ постельку-то сдѣлать?.. ляжете на кровать въ спальной или не ляжете?

— Это за голубой-то занавѣсью? Нѣтъ, я тамъ не лягу; накройте на какомъ-нибудь диванѣ, или вотъ я на Ксениной постелькѣ лягу.

— Да не коротка-ли?

— Не коротка; я вѣдь не высокая.

Въ 10-мъ часу того-же вечера, когда Любовь Петровна накрывала ей Ксенину кроватку, въ передней раздался звонокъ.—Не Петръ-ли Егорычъ? промолвила она и пошла отпирать. Но это былъ не Петръ Егорычъ, а Михѣй. Онъ былъ пьянъ, шатался, то жмурился, какъ котъ, то пялилъ глаза.

Любовь Петровна принялась ругать его и ругала такъ громко, что гостья слышала; шумъ шелъ по всѣмъ комнатамъ.

— Не безпокойтесь, бурчалъ Михѣй,—не пьянъ... отопру, когда Петръ Егорычъ... Али онъ вернулся? А?!

— Отопрешь ты, пьяная твоя рожа!.. Вотъ я Егору Антонычу пожалуюсь, кричала Любовь Петровна.

— Жалуйтесь... Не... боюсь... Что, въ самомъ дѣлѣ, пивца разѣ нельзя выпить... Не безпокойтесь... Мы свое дѣло знаемъ... Мы... Да-съ!

И Михѣй мутными глазами поглядѣлъ на Любовь Петровну.

Любовь Петровна плюнула и ушла къ себѣ въ кухню.

Михѣй стащилъ съ себя въ нѣсколько пріемовъ парусинную съ стоячимъ воротничкомъ, солдатскаго покроя, верхнюю одежду, легъ на ларь, уткнулъ свою лысую голову въ затасканную ситцевую подушку и тотчасъ-же погрузился въ сонъ, мертвый и непробудный.

Въ двѣнадцатомъ часу ночи, вернувшись домой изъ Павловска, Петя позвонилъ разъ, позвонилъ два, позвонилъ три,— никто не отперъ ему двери въ переднюю.

Онъ уже хотѣлъ позвонить и въ четвертый разъ, какъ дальше, въ перспективѣ той-же галереи, скрипнула дверь. Изъ двери высунулась голова. Петя понялъ, что эта дверь изъ кухни и что эта голова, несомнѣнно, принадлежитъ Любови Петровнѣ. Досадно ему стало, но дѣлать было нечего.

— Вы тутъ хоть до утра звоните — не дозвонитесь, послышался въ сумеркахъ бѣлой ночи, наполнявшихъ старые своды, голосъ Любови Петровны.—Идите черезъ кухню. Пьянъ онъ, вашъ слуга-то... Проходите...

Любовь Петровна была въ дезабилье, не хотѣла показывать Петѣ голой шеи и голыхъ рукъ, тотчасъ-же отстранилась въ тѣнь, дала Петѣ пройти и заперла за нимъ.

Петя пошелъ по темному коридору — и дрогнулъ: онъ увидалъ дѣвушку въ темномъ платьѣ и съ распущенными волосами. Она держала свѣчу, старалась какъ-бы посвѣтить ему и освѣщала собственное, блѣдное лицо свое.

Петя пріостановился, вглядѣлся и вскрикнулъ:

— Надя!

Въ глазахъ его потемнѣло, онъ зашатался и грохнулся на полъ.

ГЛАВА XV.

Не появись въ пустой квартирѣ Егора Антоновича Клина Надя Баскова—сестра Мины Михайловны, случайно не зайди она въ комнату Пети, не обрати вниманія на клочекъ бумаги съ наброскомъ прощальныхъ строкъ его, или засни въ то время, когда къ ночи вернулся онъ домой изъ Павловска—и, кто знаетъ, быть можетъ, и удалось-бы ему, при помощи жаровни и заготовленныхъ угольевъ, заснуть вѣчнымъ и непробуднымъ сномъ!..

Что довело Петю до мысли навсегда порѣшить съ собой—мы, кажется, показали это съ достаточной ясностью; но юноша нашъ остался живъ и, стало быть, еще не мало «крутыхъ горокъ» предстоитъ ему впереди, такъ какъ горки эти все ростутъ и ростутъ, и весьма немногіе одарены умѣньемъ или средствами обходить ихъ или талантомъ — возлетать и глядѣть на нихъ съ высоты орлинаго полета; а есть и такіе счастливцы, которые считаютъ ихъ чѣмъ-то въ родѣ вреднаго вымысла, простительнаго романисту и непростительнаго людямъ *профессій болѣе вліятельныхъ*.

Петя очнулся прежде чѣмъ раскрылъ глаза, и почувствовалъ на лбу своемъ ощущеніе холода... и запахъ одеколона...

Но очнуться отъ обморока — еще не значитъ придти въ полное сознаніе.

Раскрывъ глаза, съ минуту не сознавалъ онъ, что съ нимъ — сонъ-ли это или дѣйствительность; — и долго вглядывался онъ въ сумракъ бѣлой петербургской ночи; и такъ какъ обезцвѣченные имъ предметы не теряли своихъ очертаній, смутно отразились въ немъ и догорающая свѣча на рояли, и лѣпной карнизъ, и обои, и знакомая мебель.

«Я не у себя въ постели, я не одинъ»... вотъ что прежде всего пришло ему въ голову...

Петя полулежалъ на диванѣ въ разстегнутомъ сюртукѣ, безъ галстуха и, прислонясь головой къ плечу Нади, видѣлъ только около колѣнъ своихъ какія-то складки... очевидно, женскаго платья.

Вдругъ онъ приподнялся и съ ужасомъ поглядѣлъ на дѣвушку, которая прикоснулась къ рукѣ его.

— Ну что, Петя, вы не ушиблись, когда упали?.. И какъ это вы не забыли меня, даже не забыли какъ зовутъ меня!..

Съ тѣмъ-же испуганнымъ выраженіемъ въ глазахъ, Петя схватилъ ее за руку.

— Вы... вы... это вы?

— Ну да-а... разумѣется!..

И на ея встревоженномъ личикѣ, сквозь сумракъ, который покрывалъ его, затеплилась улыбка... Надя была рада, что онъ очнулся и что онъ узнаетъ ее.

— Ахъ вы... милый мой! Какъ вы меня испугали.

Петя прилегъ затылкомъ къ мягкому задку дивана и чуть не зарыдалъ: какое-то невыразимое, мучительно-блаженное чувство стѣсняло грудь его, что-то подступало къ горлу и мѣшало говорить...

— Это невѣроятно... этого быть не можетъ! пролепеталъ несчастный юноша.

Еще ни разу въ жизни не слыхалъ онъ, чтобы кто-нибудь такимъ сладкимъ голосомъ, съ приливомъ такого нѣжнаго чувства сказалъ ему: «милый мой», и это глубоко потрясло его.

«Съ нимъ надо обращаться какъ съ больнымъ», подумала Надя, глядя на блѣдное, исхудалое лицо его.

— Я ужь и не думалъ, что когда-нибудь увижу васъ, проговорилъ Петя, и не безъ любопытства, съ ногъ до головы оглядѣлъ ее.

«И она... и какъ-будто не она», подумалъ Петя.

— Чего-чего не бываетъ на свѣтѣ!..

— Какъ-же это вы нашли меня?

— И не думала и не гадала, что я здѣсь найду васъ,

мой милый... И не повѣрила-бы, если-бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что мы такъ встрѣтимся... Знала я, что у Клина сынъ есть и что зовутъ его Петей, но и въ голову не приходило, чтобъ это былъ тотъ самый мальчикъ, тотъ мальчикъ, сантиментальный, но смѣлый и любящій мальчикъ...

И она поцѣловала его въ лобъ, и онъ вдругъ хотѣлъ обнять ее... но, взволнованный и какъ-бы растерянный, только приложился губами къ плечу ея.

— Надя, неужели вы меня помните?

— Ну, не будемъ ужь лучше говорить другъ другу «вы»... Я вѣдь... знаешь, почему я здѣсь. Не удивляйся!... Я пріѣхала сюда къ сестрѣ своей...

— Къ какой сестрѣ?

— Къ Минѣ.

— Вы... ты... сестра ея?

Въ голосѣ его что-то дрогнуло... Онъ поглядѣлъ на нее своими черными глазами какъ-бы съ недоумѣніемъ. Дескать, можетъ-ли это быть, чтобъ ты была моей теткой? Похоже-ли это на правду?..

Надя чутьемъ поняла, что новость эта произвела на него непріятное впечатлѣніе. Это ее озадачило...

— Ты съ ней не въ ссорѣ, Петя?

— Нѣтъ. За что я буду съ ней ссориться?.. Нѣтъ... она добрая...

— Ну, и вѣтренная... немного. Впрочемъ, съ тѣхъ поръ, какъ она замужемъ, я увѣрена въ сестрѣ моей...

— Ну что... очнулись... познакомились? послышался голосъ, и въ дверяхъ, ведущихъ въ коридоръ, показалась сѣрая фигура Любовь Петровны, очевидно, въ бѣлой юбкѣ и въ бѣлой-же ночной кофточкѣ. Она только что бѣгала подъ ворота, въ надеждѣ уговорить солдата-сторожа сбѣгать за частнымъ докторомъ, и такъ какъ этотъ сторожъ ни за что не соглашался уходить отъ воротъ дальше слѣдующихъ воротъ, гдѣ сидѣлъ другой сторожъ,—Любовь Петровна поспѣ-

шила наверхъ, чтобъ одѣться и самой бѣжать за *дохтуромъ*, и зашла поглядѣть, въ какомъ положеніи находится молодой баринъ; а въ случаѣ крайней необходимости опять пройти въ переднюю и растолкать тамъ на ларѣ живой мѣшокъ съ костями и мясомъ, въ надеждѣ, что мѣшокъ этотъ проспится и окажется на что-нибудь годнымъ. Первая ея попытка въ этомъ родѣ не удалась,—Михѣй только бурчалъ и ругался...

— Ну, слава Богу! продолжала Любовь Петровна, замѣтно обрадованная. — Вѣдь вотъ какъ можно испугаться. Спаси и помилуй!.. Я-бы и сама до смерти испужалась... Не дать-ли вамъ водицы испить холодненькой, а?

— Да, не мѣшаетъ, сказалъ Петя.

Любовь Петровна побѣжала и минутъ черезъ пять принесла въ рукахъ стаканъ съ водой. Петя жадно сталъ пить, не безъ того, чтобы не пролить на грудь себѣ нѣсколько капель. Сюртучекъ его былъ разстегнутъ, и на шеѣ не было галстуха; галстухъ этотъ чернѣлся на стулѣ, тамъ-же, гдѣ лежалъ и платокъ, смоченный одеколономъ.

Надя сложила на груди руки и искоса глядѣла на Петю и думала: «Нѣтъ, ужь онъ не тотъ мальчикъ, какимъ онъ былъ»...

Любовь Петровна не утерпѣла, чтобъ не выругать пьяницу Михѣя; затѣмъ, взявъ съ рояля подсвѣчникъ съ провалившейся въ него и тлѣющейся свѣтильней, посовѣтовала имъ дать другъ другу покой, разойтись и хорошенько выспаться. Наконецъ, удалилась.

За окошками, безъ драпри, съ отворенными форточками, защебетали воробьи. Стекла въ рамахъ какъ будто побѣлѣли... Въ залѣ стало свѣтлѣе...

Съ бьющимся сердцемъ, желая говорить и не зная—что говорить, Петя всталъ и прошелся по комнатѣ.

Не только онъ, кажется, ни какой психологъ въ мірѣ не могъ бы съ точностью опредѣлить, какого рода чувства толпились въ душѣ его... Стыдъ, что онъ струсилъ и упалъ въ

обморокъ... радость, что нашлась та, о которой мечталъ онъ какъ о существѣ навсегда для него утраченномъ. Какая-то горечь или досада, зачѣмъ это существо родная сестра пустой и вѣтренной Мины Михайловны; и опять... какая-то сладкая, непостижимая радость... незнанье, какъ ему вести себя... и,—кто-бы могъ подумать? сомнѣнье—любитъ-ли онъ ее или не любитъ...

— Не уйти-ли мнѣ? спросила Надя.

— Ахъ нѣтъ, нѣтъ... дай мнѣ наглядѣться, дай мнѣ наговориться... я все еще не могу придти въ себя!

И онъ опять сѣлъ на диванъ и плечомъ приникъ къ плечу ея и, когда она заговорила, думалъ: — «И узнаю, и не узнаю... Та-ли это молоденькая, свѣженькая дѣвушка, за которой я, какъ полоумный, бѣгалъ по Павловску? Какимъ огнемъ и трепетомъ обдавалъ тогда меня каждый взглядъ ея, каждая улыбка! То-же лицо, (не даромъ-же я сразу узналъ ее) и... что-то иное... Неужели она на десять лѣтъ переросла меня?... Какая серьезная!.. Какая тихая!»

А она ему говорила:—Бѣдный, бѣдный мой Петя, какъ ты перемѣнился! Какъ много ты долженъ былъ выстрадать. Съ тѣхъ поръ, какъ мы не видѣлись... много воды утекло... Ты былъ тогда немного смѣшонъ; но и тогда я поняла, что ты честный, очень честный и очень искренній. — Помнишь, какъ ты сконфузился?.. Но, разскажи, что съ тобой было, отчего дошелъ ты до... такого малодушія?..

— До какого малодушія? дрогнувъ всѣмъ тѣломъ и раскрывъ глаза, спросилъ ее Петя испуганнымъ голосомъ.

Онъ вдругъ вспомнилъ свои замыслы: вспомнилъ что эта ночь должна быть для него послѣдней ночью, и вдругъ съ ужасомъ понялъ, что все это извѣстно ей.

— Виновата, можетъ быть, я дурно дѣлаю, что объ этомъ начинаю первая говорить съ тобой... но, даже и не зная, кто ты, и что ты, я такъ за тебя дрожала, такъ мнѣ было нестерпимо жаль тебя... что... прости меня!...

Петя ладонями закрылъ лицо свое: ему было и стыдно и больно; но онъ не обвинялъ себя.

— Надя, кто сказалъ тебѣ... кто могъ сказать!?

— Начало твоей записки, которую ты оставилъ на столѣ. Я была въ твоей комнатѣ... я прочла ее... и ждала тебя.

— И помѣшала мнѣ... у... ме... реть. Да развѣ это малодушіе?..

— Хуже... это нигилизмъ...

— Нигилизмъ? удивился Петя.

— Да развѣ самоубійство не есть своего рода нигилизмъ: жизнь—ничто, стало-быть и смерть—ничто...

— Надя!..

— Что, милый?..

— Скажи, развѣ навсегда, разомъ отречься отъ всего, что отталкиваетъ и что противно--малодушіе?.. Неужели протянуть руку неправдѣ или помириться со всякой мерзостью—не хуже чѣмъ умереть?.. «Смерть не можетъ не быть благомъ, потому что она есть общее достояніе», сказалъ Шиллеръ. Ну, вотъ, на это-то благо я и хотѣлъ промѣнять зло... зло промѣнять на благо...

— О, это благо еще не уйдетъ отъ насъ... съ зломъ надо бороться, а чтобы бороться со зломъ, нужно жить и жить во всю силу...

— Жить во всю силу... какъ это хорошо сказано?... Но, вѣдь, чтобъ жить во всю силу, надо любить... ну, хоть что-нибудь... хоть кого-нибудь...

— Любить правду! мечтательно проговорила Надя.

И Петѣ вдругъ невольно припомнилась та осенняя ночь, на скамеечкѣ въ паркѣ, когда она, шестнадцатилѣтняя дѣвушка, прикрывши плечи его большимъ шерстянымъ платкомъ, глядѣла на звѣзды и восторженно говорила ему о красотѣ и о томъ, какъ всѣ люди должны стремиться къ идеалу справедливости.

— Не любя правды, нельзя и зла ненавидѣть... нельзя

и страдать по человѣчески... Тогда—живи и наслаждайся... Или, если ты любишь правду—живи и борись...

За окномъ заворковали голуби, и золотая полоса отъ восходящей зари легла вдоль выштукатуреннаго косяка и какъ-бы заглянула въ стекло отворенной форточки. Былъ уже на исходѣ второй часъ пополуночи...

«О, она все та-же! подумалъ Петя.—Боже мой, какъ я люблю ее!»

И Надя точно подслушала мысль его.

— Если и ко мнѣ есть въ тебѣ хоть малая искорка любви, дай мнѣ честное слово, никогда что-бы съ тобой ни случилось, какое-бы горе на тебя ни обрушилось,—никогда не налагать на себя руки, никогда не поддаваться отчаянію.

— Честное слово... даю, задыхаясь, проговорилъ Петя и схватилъ ее за руку.

— Спасибо... я тебѣ вѣрю.

— Ты меня спасла,—стало-быть я долженъ жить.

— Но все-таки, все-таки, если я того стою—ты мнѣ скажешь все, все, что заставило тебя такъ обезумѣть... Не теперь... теперь—пора спать... поцѣлуй меня и прощай...

И она обняла его и поцѣловала въ губы... Петя вспыхнулъ и хотѣлъ-было задержать ее; но она соскользнула съ дивана и, размахнувъ свѣтлой, какъ ленъ, и лоснящейся, какъ шелкъ, косой своей, черезъ коридоръ удалилась въ комнатку Ксеніи.

ГЛАВА XVI.

Петя въ своей постелѣ то засыпалъ, то просыпался: то ему казалось, что уже и пароходъ свистѣлъ, и что онъ проспалъ самымъ безбожнымъ образомъ; то казалось, что еще рано, и онъ чутко ждалъ боя стѣнныхъ часовъ и прислушивался, прислушивался уже не къ бою часовъ, а къ какимъ-то мѣрнымъ, торжественнымъ, невѣдомымъ шагамъ жизни,

закрывалъ глаза, и сонъ опять одолѣвалъ его. И къ дремотнымъ мыслямъ его безпрестанно примѣшивалась какая-то любовно-восхитительная, только ранней юности знакомая, беззавѣтная фантазія; фантазія переходила въ сонныя грезы, грезы выворачивали ее наизнанку, и всякая невообразимая чепуха пестрила мозгъ его...

Нельзя сказать, чтобъ по-утру, умывшись и одѣвшись, съ освѣженнымъ лицемъ вышелъ онъ въ столовую, гдѣ уже кипѣлъ утренній самоваръ и стояли чашки.

И нельзя сказать, чтобъ онъ трепеталъ отъ радостнаго ожиданія видѣть любимую имъ дѣвушку: ему было невесело,— обидно ему было за самого себя, обидно за свою тревогу... Невольная тревога эта отравляла ему это свѣтлое утро: онъ боялся, что сегодня утромъ пріѣдетъ отецъ его, онъ боялся, что отецъ уже все знаетъ, онъ боялся, что, увидавъ его, разсерженный старикъ подойдетъ къ нему и, ни говоря ни слова, дастъ ему затрещину... и это при *ней*-то!.. Что-же тогда?.. Неужели и тогда не смѣть приходить въ отчаянье?..

А пока онъ все это придумывалъ, Любовь Петровна громко осыпала его упреками.

— Что вы тутъ вздорите? спросила Надя, выходя вдругъ изъ своей комнаты, свѣжая, какъ бѣлая роза, чистая, какъ голубица...

Петя молча пожалъ ей руку и поглядѣлъ въ глаза.

«Нѣтъ, это ужь не Павловская Надя,—это другая...» подумалъ онъ.

— Да какъ-же не вздорить! говорила Любовь Петровна, доливая чайникъ.—Сами посудите, Надежда Михайловна,— я ему вчера говорила: «Пожалуйста, баринъ, спросите у барыни денегъ... Пожалуйста!..» А они... хоть-бы што!.. Забылъ, говоритъ... А мнѣ, изволите видѣть, хоть плачь... нужно и то, и это... Свои трачу... да ужь и своихъ-то нѣтъ... Чаю осталась самая малость, а на рынкѣ все дороже и дороже...

— Не безпокойтесь, я сегодня буду у сестры и привезу, а пока возьмите у меня, сколько нужно.

— Да ужь какъ-же не нужно!

— И у меня возьмите тотъ рубль, что я Михѣю обѣщалъ.

— Михѣю?.. За что Михѣю?

Но Михѣй, тутъ какъ тутъ, явился въ дверяхъ и вытянулся въ струнку. На маленькомъ высоколобомъ лицѣ его лежала печать задора и унылости, пушистые усы его топорщились. Замѣтивъ за чайнымъ столомъ гостью, ему незнакомую, онъ пріостановился и захлопалъ глазами. Любовь Петровна потрясла головой.

— И смотрѣть-то на него тошно, сказала она и вышла.

— Ну, что, Михѣй? спросилъ Петя.

— Какъ приказывали. Все было исправно-съ.

— Все-ли?

— Все-съ... Угольки изволили видѣть?

Надя подняла глаза и улыбнулась. Петя замѣтилъ эту улыбку и поглядѣлъ на Михѣя какъ на злѣйшаго изъ враговъ своихъ.

— А ты впустилъ меня, когда я ночью звонилъ? А?

— Впустилъ-съ...

— Ну вотъ и прозѣвалъ рубль... Я звонилъ цѣлый часъ, меня впустила Любовь Петровна, а ты лежалъ пьяный, какъ стелька, и нельзя было никоимъ образомъ растолкать тебя...

— Какъ угодно-съ... Если она меня обижаетъ, то какъ угодно-съ...

— Никто тебя не обижаетъ, поди въ переднюю, а если пріѣдетъ Егоръ Антоновичъ, скажи ему, что у насъ Надежда Михайловна — сестра барыни, и что меня дома нѣтъ.

Михѣй клюнулъ носомъ и проговорилъ:

— А полѣнце изволили видѣть, ваше бродье?..

— Пошелъ!..

Надя засмѣялась. Михѣй исчезъ.

— Такъ вотъ кто тебѣ помогалъ! сказала Надя.

Петя былъ сконфуженъ до послѣдней степени и что-то бормоталъ, не то «услужливый дуракъ опаснѣе врага», не то «свяжись съ дуракомъ и самъ не радъ будешь»...

Онъ уже держалъ при себѣ свой *кепи* и собирался улизнуть черезъ кухню, въ случаѣ, если въ передней позвонитъ отецъ его. Въ немногихъ словахъ, злой и блѣдный, признался онъ Надѣ, что его несправедливо не допустили до экзаменовъ зрѣлости, что онъ уже не гимназистъ и боится скандала,—боится, что отецъ его прибьетъ, такъ какъ не станетъ разсуждать о томъ, виноватъ онъ или не виноватъ, «Ишь, калмыцкая рожа!» мысленно вообразилъ онъ себѣ голосъ и любимое словцо своего разгнѣваннаго родителя. «Гмъ, это при *ней* то «калмыцкая рожа!» Нѣтъ, лучше стушеваться... исчезнуть...»

Надя довольно равнодушно выслушала о его *страшномъ горѣ*, и сказала:

— Мы еще объ этомъ поговоримъ... Куда-же ты собираешься?...

— А зайду къ Ознобину, а если его не застану... на Неву пойду...

— Топиться?..

— А можетъ-быть! вспыльчиво отрѣзалъ Петя.

Отъ обморока, неожиданнаго свиданья и безсонной ночи нервы его были разстроены...

— Въ которомъ часу вы поѣдете въ Павловскъ?

Надя поняла, что онъ сердится и что она виновата... Шутить было не кстати.

— Я поѣду къ обѣду, оставь мнѣ адресъ. Я Павловскъ знаю и, надѣюсь, скоро отъищу ихъ... Ну, что Ксенія?

— Ксенія .. ничего!.. Сердится, зачѣмъ ей всего только тринадцать лѣтъ, а не шестнадцать и не семнадцать.

— Кокетничаетъ?

— Разумѣется... Кто-жь изъ дѣвицъ не кокетничаетъ!.. А жаль, что мы не вмѣстѣ сегодня обѣдаемъ. Ахъ, да...

пойду вручу Любовь Петровнѣ мой послѣдній рубль,—авось утѣшится.

— Не ходи.. я дамъ ей денегъ.

— Довольно съ нее и рубля... Вѣдь нынче я одинъ буду дома обѣдать.

— Оставь его у себя...

— Вотъ, Надя, и *не обѣдалъ-бы* я сегодня, если-бы не ты. Спасительница моя! Прощай, и позволь мнѣ поцѣловать тебя, вдругъ проговорилъ онъ съ порывистымъ чувствомъ.

Она поглядѣла ему въ лицо. Такъ глядятъ только женщины, умѣющія глубоко заглядывать въ душу.

— Какъ сестру, сказала Надя.

— Какъ божество мое!.. сказалъ Петя.

Надя, отклонивъ губы, дала ему поцѣловать свою покраснѣвшую щеку, и, когда онъ ушелъ, сѣла на кушетку въ пустомъ будуарѣ сестры своей и задумалась.

То, что забавляло ее въ 16 лѣтъ, теперь уже не забавляло. Она испугалась мысли, что Петя полюбитъ ее всѣми силами своего юношескаго неопытнаго сердца... «Это будетъ для него новое горе, подумала она.—Нѣтъ, этого не будетъ... Этого не должно быть».

Она при этомъ вспомнила свое недавнее, чуть не вчерашнее прошлое.

ГЛАВА XVII.

— Ознобинъ! Иванъ Несторовичъ... вы спите?

— Гм... гм... да, еще не проснулся, услышавъ знакомый голосъ, промычалъ Ознобинъ и, не торопясь, высвободилъ изъ-подъ простыни свою голову съ спутанными волосами и заспанными, недовольными глазками.

Петя, глядя на него, почувствовалъ нѣчто вродѣ злости, какъ можетъ человѣкъ такъ спать!

— Извините, что нечаянно разбудилъ, сказалъ Петя.

— Ничего, сказалъ Ознобинъ, и худыя, покрытыя рѣдкими волосиками, голыя ноги его свѣсились на полъ. Глаза изъ-подъ нависнувшаго вихра мигали и щурились на окно, за которымъ свѣтилъ яркій лѣтній день.

Петя не потому только зашелъ къ Ознобину, что боялся оставаться дома, такъ-какъ дома онъ рисковалъ столкнуться съ отцомъ своимъ, онъ зашелъ и потому, что душа его была настроена на какой-то иной, высшій тонъ, и потому, что, когда онъ просыпался ночью, слѣдующія мысли приходили ему въ голову: «умереть мнѣ не удалось, значитъ надо жить; если надо жить, то надо чтобъ жизнь эта не была такъ противна и такъ мучительна для моего самолюбія... Надо выйти изъ гимназіи съ тѣмъ, чтобъ готовиться къ экзаменамъ зрѣлости въ другой гимназіи. Такъ-какъ, по приказу графа Толстого, держать экзаменъ мнѣ будетъ дозволено только черезъ годъ и такъ-какъ уйти на тотъ свѣтъ мнѣ не удалось (кажется, мнѣ ничего не удается), я долженъ пойти въ нашу канцелярію, подать тамъ просьбу на имя директора, чтобъ мнѣ выдали хоть какой-нибудь аттестатъ. Мнѣ выдадутъ... Затѣмъ, я долженъ буду сбросить свою амуницію и надѣть партикулярное платье—мнѣ нужны деньги».

Какъ тогда, въ Павловскѣ, когда Петя покупалъ розы для незнакомки, онъ самъ мѣломъ чистилъ свои пуговицы, дольше умывался и дольше причесывался, — такъ и теперь, съ появленіемъ милой ему дѣвушки, забота о костюмѣ, о томъ, чтобы быть одѣтымъ почище и, главное, не казаться школьникомъ, невольно вошла въ кругъ обыденныхъ заботъ его.

Но кромѣ этихъ соображеній, мы знаемъ, что значительную часть своей почти безсонной ночи, онъ былъ волнуемъ мечтами самаго романическаго свойства... Подобно Ознобину, Петя вообразилъ, что судьба не даромъ-же такъ устроила, чтобъ любимая имъ дѣвушка спасла его, что она несомнѣнно должна любить его. Значитъ, дѣло не за ней, а за нимъ; все будетъ зависѣть отъ него самого.

Было-ли это вліяніемъ идей Ознобина, или вообще самоувѣренностью самолюбивой юности, всякаго начинающаго жить, — не знаю, но склоняюсь къ послѣднему.

Казалось-бы, примѣръ Ознобина всего лучше могъ доказать Петѣ, что «не надѣйтесь не только на князи и сильные міра сего, но и на страстно любимую дѣвушку». Чѣмъ иногда отплачивается страсть, Петя могъ-бы, кажется, видѣть изъ того, какъ поступила Леконида съ его старымъ пріятелемъ, — но, видно, чужой опытъ на насъ не дѣйствуетъ, и Амуръ не даромъ считается вѣчно глупымъ ребенкомъ...

Но, несмотря на самоувѣренность, Петя вышелъ изъ дому не безъ тайной тревоги на сердцѣ... Онъ не могъ не замѣтить, что Надя поутру его не поцѣловала, а дала только поцѣловать себя, что утромъ она была какъ-то холоднѣе съ нимъ и даже уколола его, посмѣявшись надъ его глупой затѣей умереть раньше времени...

«Очень можетъ быть, что я... и самъ не люблю ее, думалъ Петя.—Мало-ли что было въ дѣтствѣ? Съ тѣхъ поръ и я сталъ умнѣе, да и она чего-чего не переиспытала,—не даромъ же такъ измѣнилась...»

Обо всемъ этомъ ему хотѣлось переговорить съ Ознобинымъ; но, какъ это часто случалось, когда заходилъ онъ къ Ознобину, ихъ разговоръ ушелъ совсѣмъ въ другую сторону и принялъ далеко не то направленіе, которое ведетъ къ сердечной исповѣди или къ откровенности. Ознобинъ, очнувшись отъ долгаго сна и, сверхъ нижняго бѣлья, напяливъ на себя лѣтнее пальто, вмѣсто халата, сталъ упрекать Петю, зачѣмъ онъ до сихъ поръ не зашелъ къ Орѣшину; сказалъ, что онъ скоро уѣзжаетъ, что Мавра ждетъ его, что Саша была больна, чуть не умерла и онъ ни разу не навѣстилъ ее; что Орѣшинъ чудный человѣкъ, и что онъ, Ознобинъ, счастливъ, что съ нимъ познакомился и узналъ его; что записка Спичевскаго больше ничего, какъ злая ложь; что Спичевскій ско-

тина и что Петя поступаетъ глупо, если знакомится съ такими негодяями.

Петя былъ огорошенъ. Дѣйствительно, съ того дня, какъ пришла записка Спичевскаго, онъ былъ такъ отуманенъ ударомъ, нанесеннымъ ему гимназіей, такъ поглощенъ мыслью о гнѣвѣ отца и о своемъ самоуничтоженіи, что Орѣшинъ, Мавра, Саша, весь этотъ уголокъ, гдѣ ему было такъ хорошо и уютно, совершенно какъ бы вылетѣлъ изъ его памяти; изрѣдка только думалъ онъ: «Какъ я теперь пойду къ нимъ! Что они обо мнѣ подумаютъ!..»

Что касается до Ознобина, то, какъ кажется, работы его у академика кончились, и онъ находился въ періодѣ самой безобразной праздности, въ томъ періодѣ, когда человѣку лѣнь палецъ о палецъ ударить, когда всѣ желанья сводятся на одно—не имѣть никакихъ желаній и довольствоваться удовлетвореніемъ только самыхъ насущныхъ потребностей.

Пока жила въ немъ глубокая вѣра въ любовь или въ затаенную взаимность Леониды, онъ былъ бодръ. Каждый день надежда на свиданье съ ней придавала какую-то трезвость головѣ его, дразнила мысль и, по временамъ, толкала на работу; и тогда каждый упадокъ духа его, какъ острая болѣзнь, былъ непродолжителенъ и скоро излечивался истолкованіемъ въ свою пользу кой-какихъ словъ ея, нерѣдко лишенныхъ всякаго значенія. Затѣмъ, знакомство съ Ерошинымъ, въ домѣ котораго, такъ-сказать, вѣяло ея присутствіемъ, тоже его поддерживало. Но когда Леониду сталъ встрѣчать онъ на улицѣ, подъ-руку съ уланомъ Бековымъ, когда Ерошины переѣхали на дачу въ Павловскъ, а навѣщать Петю тайкомъ онъ считалъ чѣмъ-то унизительнымъ для своего человѣческаго достоинства, тогда этотъ упадокъ духа, эта лѣнь, это лежанье на кровати до часу по полудни, это отсутствіе не только желаній, отсутствіе потребности выйти на чистый воздухъ, — сдѣлалось чѣмъ-то хроническимъ. Посѣщеніе Орѣшина было его послѣднимъ подвигомъ, истощив-

шимъ его нравственныя и физическія силы, и такъ-какъ Ознобинъ непремѣнно долженъ былъ во что-нибудь или въ кого-нибудь вѣрить, — побесѣдовавши съ почтеннымъ старикомъ Орѣшинымъ, онъ пришелъ къ убѣжденію, что это человѣкъ глубокой души, человѣкъ какихъ мало, такой человѣкъ, которому надо чуть не молиться. Вотъ почему, говоря объ Орѣшинѣ, Ознобинъ какъ-бы одушевился и сталъ упрекать Петю за то, что онъ измѣнилъ этому святому старику и этой необыкновенной дѣвочкѣ Сашѣ, въ которой сразу провидѣлъ онъ будущую артистку, со всѣми качествами женщины, рожденной для полнѣйшаго семейнаго счастья.

Спрашивается—въ пору-ли было Петѣ разсказывать Ознобину о томъ, какъ онъ чуть-было не задушилъ себя угаромъ, какъ спасло его неожиданное появленіе чудной дѣвушки, какъ она умна, и что онъ чувствуетъ.

А жаль, что онъ и на этотъ разъ не нашелъ наперсника, способнаго понимать его и ему сочувствовать.

Высказанныя мысли, мысли провѣренныя чужимъ умомъ, нерѣдко яснѣютъ, углубляются и крѣпнутъ; высказанныя-же чувства, напротивъ, чаще всего теряютъ часть своей энергіи, испаряются и утрачиваютъ ароматъ свой, какъ охмѣляющій напитокъ, въ открытомъ сосудѣ выставленный на солнце. Не оттого-ли болтуны такъ непостоянны и такъ неглубоки сердцемъ, что сильныя страсти никогда не обуреваютъ и никогда до конца не сокрушаютъ ихъ?

ГЛАВА XVIII.

Мина Михайловна, хоть и ждала сестру свою, встрѣтила ее какъ неожиданную гостью, удивилась ей и разцѣловала, чуть не прослезилась и увела ее съ себѣ въ спальную кофе пить и разспрашивать, разспрашивать, обо всемъ разспрашивать.

Мина Михайловна, судя по себѣ, смотрѣла на каждую дѣвочку, какъ естествоиспытатели смотрятъ на червяка, изъ котораго выйдетъ непремѣнно такого-то вида бабочка, т. е. Мина Михайловна въ каждой дѣвочкѣ видѣла будущую возлюбленную мужчины, законную или незаконную — это все равно, только непремѣнно возлюбленную. Для нея молодость дѣвушки и романъ были синонимы. Но между Миной Михайловной и Надей, по взглядамъ на жизнь, по характеру было мало общаго: онѣ принадлежали почти-что къ двумъ разнымъ поколѣніямъ. Когда Надя была еще ребенкомъ,— Мина Михайловна уже втайнѣ готовилась быть матерью. Надя, въ домѣ отца своего, подростая, не разъ слышала отзывы о сестрѣ своей какъ объ отрѣзанномъ ломтѣ и какъ о такой дѣвушкѣ, о которой лучше не говорить... Ее воспитывали строже, и гувернантка ея была очень начитанная, серьезная и почтенная пожилая женщина. Умирая, она завѣщала своей воспитанницѣ всѣ свои деньги, которыя нажила уроками, 650 рублей — фактъ почти-что исключительный и поразившій всѣхъ, кто зналъ, какъ она была холодна и сурова по отношенію къ шаловливой Надѣ и какъ мало высказывала или выражала ей свою привязанность. Пятнадцати лѣтъ, оставшись совершенно сиротой, Надя поневолѣ переѣхала къ Тютиной, т. е. къ сестрѣ своей. Очутившись безъ всякаго надзора, она надзирала за Ксеніей и, избѣгая любезностей стараго генерала, знакомилась съ кѣмъ хотѣла. Несмотря на свою наружную вѣтреность, она училась и, отзывчивая на всѣ вопросы времени, откликалась только на его идеальныя стремленія, несмотря на то, что подкладкою для этихъ идеальныхъ стремленій была наука самая реальная. У ней были любимыя фразы — о любви, о добрѣ и о свободѣ; въ нихъ она вѣрила — и эта вѣра была для нее спасительна.

Вѣтреность Мины и ея суетная, приличіемъ замаскированная погоня за романами хоть и были заразительны, но не увлекали Надю. Семнадцати лѣтъ она воспользовалась

случаемъ уѣхать въ провинцію, и до сихъ поръ жила у госпожи М. въ Рязани, въ качествѣ преподавательницы при маленькихъ дочеряхъ ея. Къ Минѣ писала она разъ или два раза въ годъ—не больше, и въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ своихъ извѣстила ее въ десяти строкахъ, что за нее сватался нѣкто Стрекоза, что она пріѣдетъ въ Петербургъ и на нѣсколько дней у ней остановится, если только позволитъ Егоръ Антоновичъ.

Чего-чего не говорятъ взрослыя сестры, оставаясь наединѣ, а потому, нисколько и не удивительно, что Мина Михайловна, распрашивая сестру свою, вдругъ воскликнула:

— Неужели ты... все такая-же и змѣй искуситель пощадилъ тебя?..

Надя покраснѣла — ее покоробило: вопросъ былъ слишкомъ рѣзко выраженъ. Мина-же Михайловна не стѣснялась въ своихъ выраженіяхъ, она считала себя вправѣ интимничать съ сестрой своей.

— Слава Богу, продолжала Мина, — что ты не пошла по слѣдамъ моимъ... Я была глупа... я и теперь глупа... Но я стала во-сто разъ благоразумнѣе, особливо съ тѣхъ поръ, какъ замужемъ.

— Ты съ нимъ счастлива... Мина?

— Т. е. какъ тебѣ сказать? Онъ не ревнивъ, хотя и подозрителенъ... и, можетъ быть, мы оба въ глубинѣ души своей другъ друга не уважаемъ; но мы уживаемся... я выучилась его обуздывать... и, знаешь, двумя манерами—лаской и угрозой, что я сбѣгу... Послѣдняго онъ ужасно боится, не потому, чтобъ онъ былъ влюбленъ въ меня или-бы дорожилъ моимъ сожительствомъ, но потому, что привыкъ и боится за свою фортуну. Онъ знаетъ, что я принесла ему счастье, что не будь я, никогда-бы ему не поручали такихъ дѣлъ и никогда-бы не имѣли въ виду его особы; а къ бумажному дѣлу онъ очень способенъ... его не надуешь... Онъ будетъ очень богатъ.. вотъ увидишь... Онъ хоть и чурбанъ (между нами

будь это сказано), но человѣкъ съ характеромъ... Ты вѣдь знаешь, я люблю сильные характеры... что за бѣда, если такіе люди чаще всего грубы... Иногда онъ очень грубъ и, ты это увидишь, онъ не церемонится, но все это съ меня какъ съ гуся вода... Я не даромъ прошла сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы... я не разозлюсь и даже не покраснѣю отъ какой-нибудь неделикатности... Я—не ты... никогда себя не берегла и никогда ничего не боялась...

Нельзя-же было Минѣ Михайловнѣ хоть чѣмъ-нибудь да не похвастаться передъ сестрой своей...

Надя съ недоумѣніемъ поглядывала на Мину Михайловну, невольно опускала рѣсницы и невольно удивлялась низменности ея чувствъ или нравственныхъ потребностей...

— Ну, а что-же Стрекоза: онъ скоро на тебѣ женится?

— Никогда!..

— Онъ былъ очень влюбленъ въ тебя?

— Какъ дуракъ.

— Богатъ?

— Да... кажется. А впрочемъ я не справлялась...

— Отчего-же ты уѣхала, бросила мѣсто и...

— Это долго разсказывать... скажу въ двухъ словахъ. Онъ приглашалъ меня въ свою усадьбу—я не поѣхала; онъ сталъ свататься—ему помогали, меня уговаривали—я не согласилась. Онъ затѣялъ насильно увезти меня, при помощи своихъ пріятелей... Марья Сергѣевна, у которой я жила, хоть и была большой другъ его, вѣроятно испугалась послѣдствій—я не изъ числа покорныхъ, а онъ родственникъ губернатора, и вышелъ-бы скандалъ, и это могло-бы испортить его карьеру; она ужаснулась мысли, что ее сочтутъ помощницей и сама наединѣ посовѣтовала мнѣ или принять предложеніе, или уѣхать. Я давно уже собиралась покинуть домъ ея, и этотъ совѣтъ пришелся мнѣ по душѣ... Я уѣхала... Теперь, я увѣрена, она всѣмъ говоритъ, что я сбѣжала. Ну, да это мнѣ все равно...

— Вотъ и романъ... Пей твой кофе... Ахъ, какъ я тебѣ рада, душа моя!.. Только, на твоемъ мѣстѣ, я-бы поступила иначе... Я-бы ему дала увезти себя... и заставила-бы его, дурака, на себѣ жениться...

— Если-бы даже онъ тебѣ и не нравился?

— А развѣ онъ тебѣ не нравился?

— Нѣтъ... съ досадой, отрывисто отвѣчала Надя и, слегка пожавъ плечами, принялась за чашку съ кофе. «Неужели она не поняла того, что я ей разсказывала, подумала Надя,— или она думала о другомъ и не слыхала словъ моихъ, или мы совсѣмъ расходимся въ нашихъ понятіяхъ»?

— Ну, а гдѣ-же твоя Ксенія?

— Должно быть, пошла купаться... Нынче жаркій день, и она хотѣла купаться.—Не хочешь-ли и ты выкупаться—я провожу тебя.

— Въ купальнѣ?

— Нѣтъ, въ Славянкѣ—на открытомъ воздухѣ.

— Пойдемъ на встрѣчу Ксеніи.

Мина Михайловна задумалась.

— Пойдемъ... но не жарко-ли, душа моя? Я и такъ загорѣла... Удивляюсь, какія у тебя бѣленькія ручки... А ты похудѣла, Надя... Въ твои годы это не хорошо... Въ тебѣ кипятъ страсти и нѣтъ имъ выхода... Въ твои годы я была огонь... я и теперь огонь, но не тѣ времена... Пора и остепениться... Не правда-ли?..

Мина Михайловна вздохнула и, недождавшись отвѣта, взяла ее за руку.

— Пойдемъ, я покажу тебѣ нашу дачу и садикъ... У насъ еще сирень цвѣтетъ... Садикъ небольшой, но тѣнистый... А все-же я тебѣ совѣтую зонтикъ взять... Ахъ, какъ пахнетъ!—сказала она выходя на террасу, около которой росли левкои.—А ты не знаешь, пріѣдетъ-ли къ намъ сегодня Петя или не пріѣдетъ?

— Нѣтъ, не пріѣдетъ.

— Стало быть, если ты ночуешь—займи его комнату,—ту самую, гдѣ мой Егоръ Антоновичъ еще вчера засталъ Петю съ Дуней...

— Съ какой Дуней?

— Съ нашей горничной... Эта дура, кажется, влюблена въ него... а можетъ быть и такъ... балуется... нельзя-же безъ этого—дѣвка молодая, да и онъ не маленькій — скоро усы начнутъ пробиваться... Дуня ушла съ Ксеніей — навѣрное, ушла! А пора накрывать столъ... Того гляди пріѣдетъ мой Егорушка...

— Пойдемъ-же на Славянку, сказала Надя. Мина Михайловна задумалась. Надя догадалась, что сестрѣ ея не хочется выходить изъ дому.—А если тебѣ жарко—позволь я одна пойду, встрѣчу Ксенію и посмотрю, узнаетъ-ли она меня или нѣтъ.

— Ступай, Надя. Я останусь хозяйничать. Ты вѣдь знаешь дорогу?.. Ахъ да... да! Ты жила здѣсь, стало быть знаешь, какъ пройти... Помни — дача Брюлова... А я предупрежу Егора Антоновича... Вотъ поглядишь, какой онъ у меня. Крѣпышъ,—даромъ что голова наполовину сѣдая; а усы совсѣмъ бѣлые... Было-бы гораздо лучше, если-бы усы были темные, а голова бѣлая... Я ужь предлагала ему фабрить ихъ — не хочетъ... Упрямый народъ эти мужчины... Ну, досвиданья... Только, ради Бога, не опоздай — ровно шестого половина дома будь...

Надя распустила зонтикъ и вышла черезъ калитку сада на дворъ и затѣмъ, повернувъ изъ воротъ налѣво, пошла вдоль по Солдатской слободкѣ, по троттуару, обсаженному невысокими, но густыми липами.

Ксенія, выкупавшись, завернутая въ простыню, сидѣла на берегу, слегка дрожала и грѣлась на солнышкѣ... Дуня еще купалась вмѣстѣ съ другими... День былъ такой — воистину лѣтній день, что все оживало: оживали терассы, оживали сады и улицы, оживали голоса, — изъ отворенныхъ

оконъ слышалось пѣнье; оживалъ паркъ съ гуляющими дѣтьми и влюбленными, ожило и купанье въ полуверстѣ отъ Павловска, въ томъ мѣстѣ рѣки Славянки, гдѣ купались однѣ только женщины и безкрылые купидоны — дѣти ихъ. Далеко были слышны плескъ, шумъ и голоса, и хохотъ и далеко было видно мельканье чего-то бѣлаго, какъ тѣло, бѣлаго, какъ полотно, и цвѣтного, какъ юбки и зонтики.

Въ этотъ годъ, самыми нескромными или нецеремонными, по части подглядыванья, оказывались полковые юнкера и молодые солдаты. Они такъ близко и такъ открыто подходили къ мѣсту, гдѣ купались наши барыни и барышни, что ропотъ на нихъ, въ прекрасной половинѣ Павловска, былъ, такъ-сказать, злобой дня; и я знаю, собирались онѣ писать и подавать коллективную на нихъ жалобу полковому командиру или генералу, или ужь я и не знаю кому, только ничего не написали и никому не подали никакой жалобы.

Итакъ, Ксенія сидѣла завернувшись въ простыню и, начиная высыхать и согрѣваться, оглядывала противоположный холмистый бережокъ, покрытый елями, кустами и мелькающими въ ихъ пестрой тѣни тропинками, и думала... «Вотъ, сюда когда-то забрелъ влюбленный Петя, и на него всѣ кричали и всѣ стыдили его, бѣднаго... и что онъ долженъ былъ въ эту минуту чувствовать!..»

Въ эту минуту сзади подошла къ ней Надя и сѣла рядомъ съ ней на травкѣ, истоптанной и еще влажной отъ мокрыхъ ногъ, которыя прибѣгали сюда вытираться и обуваться.

Полюбовавшись на оживленную картину весело купающихся, Надя оглянулась и, по длинѣ рѣсницъ, по тонинѣ профиля и по русой, густой косѣ, заподозрила, что рядомъ съ ней Ксенія.

— Ксенія! проговорила она и отвернулась въ другую сторону.

Ксенія съ удивленіемъ на нее поглядѣла и опять перевела глаза свои на рѣку и на противоположный лѣсистый берегъ.

«Ксенія», опять послышалось ей, и на этотъ разъ она увидѣла профиль въ двухъ шагахъ отъ нея сидѣвшей дѣвушки, и опять удивилась, покраснѣвъ отъ внутренняго волненія.

— Кто это все зоветъ меня? пролепетала Ксенія.

Надя повернула къ ней лицо, озаренное улыбкой и солнцемъ, и засмѣялась, когда глаза ихъ встрѣтились.

— Тетя Надя! съ засвѣтившимися зрачками произнесла Ксенія и, выпрыгнувъ изъ простыни, голая, бросилась обнимать ее.

— Здравствуй, моя милая дѣвочка! Только, пожалуйста, одѣвайся скорѣй и пойдемъ... Я за тобой пришла, и мама приказала намъ не опоздать къ обѣду. Хочешь, я помогу тебѣ?..

— Дуня! крикнула Ксенія,—скорѣй, скорѣй!.. Ахъ, тетя милая, давно-ли ты пріѣхала?.. Какъ я рада! Какъ мнѣ скучно здѣсь, и если-бы ты знала, какъ весело купаться!.. Такъ-бы цѣлый день и не выходила изъ воды!.. Извини, что я тебя такъ обнимаю... еще хорошо, что я высохла, а то, право, я такъ-бы, мокрая вся, и бросилась къ тебѣ на шею. На долго-ли ты?.. Ахъ, какъ я рада, какъ я рада! Сколько лѣтъ мы не видались... Какая ты стала... совсѣмъ большая...

Такъ лепетала радостно взволнованная Ксенія. Надя любовалась красотой ея и вмѣстѣ съ Дуней помогала ей одѣваться. Дуня поглядывала на незнакомую ей барышню, прислушивалась къ ихъ разговору и, кажется, догадывалась, что онѣ родныя... Розовый галстучекъ и простенькое темно-сѣрое платье Нади тоже не ускользнули отъ ея вниманія.

ГЛАВА XIX.

Напрасно Ксенія и Надя торопились домой,—Клинъ пріѣхалъ на дачу въ шесть часовъ и былъ не въ духѣ. Кажется, Петѣ не удалось въ этотъ день избѣжать его, но Клинъ молчалъ, и мы помолчимъ до поры, до времени.

Мина Михайловна не успѣла предупредить мужа о пріѣздѣ сестры, но онъ уже зналъ и, при рекомендаціи, сухо поклонился ей.

— Вы на какомъ инструментѣ играете? спросилъ онъ ее за обѣдомъ.

— Ни на какомъ, отвѣчала Надя.

— А я думалъ на арфѣ.

«И почему на арфѣ?!» подумала Мина Михайловна.

— Я не музыкантша, отвѣчала Надя.

— Жаль! Вотъ жена моя, такъ та играетъ.

— О! Съ тѣхъ поръ, какъ я замужемъ, я до клавишъ и не дотрогивалась, отозвалась Мина, деревянными вилками вооружа свои тонкіе пальцы и приготовляя салатъ...

— Гм!.. и Егоръ Антоновичъ изъ подлобья поглядѣлъ на жену свою.—Еще-бы тебѣ на двухъ инструментахъ играть! Ты мастерица и на мнѣ играть!..

— Ну, да... не глядя на мужа, веселымъ тономъ отвѣчала Мина Михайловна.—Если и у Нади будетъ мужъ, и она будетъ играть на немъ, разумѣется, если онъ этого будетъ стоить... а если нѣтъ—то...

— То, что-же? крякнулъ, какъ-бы озадаченный, Егоръ Антоновичъ.

— То и не нужно... стоитъ руки марать!.. Вѣдь и ты бросишь инструментъ, коли на немъ и струнъ-то нѣтъ... Потыкаешь, потыкаешь пальцами — дзинь-дзинь, длинь-длинь — точно гусли разстроенные... жидовскіе... ну, и бросишь... Такъ-то и жена...

— Гм... учитесь, сударыня, обернулся онъ къ Надѣ...— Мы васъ выучимъ...

И выпуклые, сѣрые глаза его впервые обратили на пріѣзжую свое холодное вниманіе и, какъ кажется, остались довольны своимъ наблюденіемъ.

— Жаль, жаль, что я васъ раньше не встрѣтилъ—лучше-бы я на васъ женился.

Надя вспыхнула и хотѣла что-то отвѣчать, но Мина Михайловна тотчасъ-же ее перебила...

— Такъ-бы я тебя и уступила! Держи карманъ!

— Вы, того... оглядывая Надю, продолжалъ Клинъ, — и помоложе, да и поаккуратнѣе будете: не такая мотовка, какъ ваша сестрица.

— И почемъ ты это знаешь?.. Всѣ женщины—какъ женщины... Нельзя-же мнѣ ходить чумичкой... Я жена Егора Антоновича Клина... должна и о томъ заботиться, чтобъ по мнѣ и о немъ судили... Такъ-то.

«И откуда у ней взялось столько изворотливости съ этимъ кабаномъ»? подумала Надя и поглядѣла на Ксенію.

Но, судя по лицу, эта взрослая дѣвочка о чемъ-то мечтала и никакого вниманія не обращала на то, что вокругъ нея говорится. Очень можетъ быть и то, что Ксенія до татой степени привыкла къ домашнимъ сценамъ и всякаго рода неделикатностямъ почтеннаго Егора Антоновича, что все это давно уже перестало возмущать ее.

— Вотъ я какая мотовка, продолжала шутить Мина Михайловна,—знала, что пріѣдетъ сестра, и пирожнаго порядочнаго не заказала... Егоръ, не пей, пожалуйста, холоднаго пива...

На столъ подали послѣднее блюдо—сырники. Егоръ Антоновичъ очень любилъ ихъ, и Мина велѣла подать ему мелкаго сахару.

Наконецъ, встали изъ-за стола. Клинъ салфеткой вытеръ усы, налилъ себѣ еще кружку пива и перенесъ ее на террасу, гдѣ и усѣлся передъ маленькимъ кругленькимъ столикомъ.

Ксенія, проходя въ садъ, подошла къ нему поблагодарить за обѣдъ. Надя пріостановилась, подумала и тоже подошла къ нему.

— А вы къ намъ надолго? спросилъ ее Клинъ, протягивая плотную руку и поднимая отяжелѣвшія рѣсницы (ему дремалось).

— Къ вамъ не надолго,—на дняхъ переѣзжаю на квартиру.

— Гм! Точно я васъ гоню, проворчалъ онъ сквозь зубы,— въ городѣ квартира пустая... кто васъ гонитъ...

Выслушавъ его, Надя сбѣжала въ садъ вслѣдъ за Ксеніей.

За кустами малины, подъ кленами и сиренью, сѣла она на единственную въ этомъ саду скамеечку, засыпанную остатками песка, изъ котораго сосѣднія дѣти пироги пекли.

— Ахъ, какъ я рада, какъ я рада, что ты пріѣхала; начала Ксенія.—И какъ ты меня узнала... вѣдь, помнишь, три года тому назадъ, какой еще ребенокъ была я, и какая глупая, глупая!.. Ахъ, какъ жаль, что Пети нѣтъ... я-бы тебя съ нимъ познакомила... Что это онъ не ѣдетъ, я сегодня къ обѣду ждала его...

— Сегодня онъ едва-ли пріѣдетъ.

— А! Ты его видѣла?

— Сегодня утромъ чай пила съ нимъ... въ Петербургѣ.

— Ахъ, да... въ Петербургѣ... И какимъ, я думаю, букой онъ велъ себя...

— Нѣтъ.

— Какъ это странно!.. Меня онъ не скоро удостоилъ своего вниманія... Но, не правда-ли, тетя, онъ милый?

— Кажется...

— Когда-же онъ пріѣдетъ?

— Не знаю...

— Чему ты улыбаешься, тетя? Я люблю, когда ты улыбаешься—только, пожалуйста, не улыбайся...

И Ксенія улыбнулась сама, обняла и поцѣловала Надю.

— А не слыхала-ли ты—правда это, будто онъ не выдержалъ экзамена?

— Да, это, къ сожалѣнію, правда... Мнѣ его очень жаль... Хочетъ выйти изъ гимназіи... нужно платье,—денегъ нѣтъ... Кстати, напомни мнѣ о деньгахъ: Любовь Петровна жалуется, что у ней ни копейки и не на что готовить обѣдъ для Пети.

— Зачѣмъ-же для Пети обѣдъ? Вѣдь онъ переѣдетъ къ намъ. Вѣдь ужь и комната ему готова... и Егоръ Антоновичъ говоритъ... Зачѣмъ-же ему въ Петербургѣ обѣдать?.. Ахъ, тетя Надя! Пожалуйста, вразуми его, иначе онъ непремѣнно какихъ-нибудь глупостей надѣлаетъ—будетъ ходить на кладбище и тамъ какіе-то уроки давать!..

— Ты, кажется, расположена къ нему? сказала Надя.

— Въ какомъ это смыслѣ расположена? вспыхнула Ксенія, и яркій румянецъ залилъ все лицо ея. — Если ты думаешь,—любовь, то это глупости! Вотъ еще, стану я его любить, когда онъ другую любитъ и о другой мечтаетъ!..

— О комъ же это?

— Да онъ и самъ не знаетъ о комъ,.. Впрочемъ, это его тайна... я не имѣю права выдавать чужія тайны, серьезно, какъ взрослая, заговорила Ксенія и задумалась...

— Говоритъ, что предметъ его, какъ двѣ капли воды, похожъ на меня! Какой вздоръ! пролепетала она, глядя въ пространство...

Изъ-подъ ея коротенькаго платьица выставилась ножка и машинально играла носкомъ, придавая задумчивости ея оттѣнокъ чего-то нетерпѣливаго или досаднаго.

— И... если я люблю Петю, то, знаешь, за что именно я люблю его?...

— За что?

— А за то, что онъ мнѣ честное слово далъ, рано или поздно узнать, чья я дочь...

— Ты... смѣшная... Кто-же этого не знаетъ: ты дочь сестры моей... не безъ смущенія сказала Надя.

— Н...нѣтъ! Не правда!.. Хочешь доказательства? Ну, говори, какъ ея фамилія? Если она была Баскова, то и я Баскова, если Тютина — то и я Тютина, отчего-же я Сергѣева?.. Не вѣришь — спроси въ гимназіи, тамъ всѣ иначе и не зозутъ меня... Вотъ!

Надя, не безъ душевной тревоги, поглядѣла на раскра-

снѣвшееся личико Ксеніи. Она не знала, что ей отвѣчать, въ какія пускаться подробности, чѣмъ увѣрить ее, что она ошибается.

— Стало-быть, ты намъ совсѣмъ чужая, и я тебѣ не тетя,—ну, такъ и не называй меня тетей.

— И всегда буду называть тебя тетей, и всегда буду очень благодарна мамѣ за то, что она взяла меня вмѣсто дочери... Ну, да... что ты такъ на меня смотришь? Неужели ты не знаешь, что я была подкинута?..

— Подкинута!.. Кто тебѣ это сказалъ?

— Одна старушка.

— Какая старушка?

— Ну, ужь этого я не скажу, какая... И если ты этого не знаешь, тетя, — то знай, и не сердись на меня.. ради Бога, не сердись... душенька моя... дорогая моя, не сердись!..

И она обняла Ксенію, и стала говорить ей, какая будетъ ей радость узнать когда-нибудь своихъ настоящихъ родителей... «Пусть будутъ хоть нищіе, все равно... лепетала Ксенія,—все-же не хуже этого... проклятаго... терпѣть его не могу... и Зуева, который съ нимъ въ карты играетъ, и того терпѣть не могу»...

Въ это время за кустомъ послышались шаги Мины Михайловны.

— Пожалуйста, вы меня не выдавайте,—скороговоркой, на ухо Надѣ, проговорила Ксенія.

Мина Михайловна нашла ихъ въ садикѣ съ единственной цѣлью—звать ихъ черезъ полчаса къ Павловскому вокзалу, на музыку.

ГЛАВА XX.

Отъ Ознобина Петя пошелъ къ своему товарищу Билину и засталъ его больнымъ въ постели и торжествующимъ—онъ выдержалъ свои экзамены и умиралъ. Мать его, старушку,

засталъ онъ въ слезахъ, такъ-какъ докторъ сказалъ ей: «Сынъ вашъ проскрипитъ не долго»... Она собиралась на дачу въ Мартышкино, куда звалъ ея старшій сынъ ея, и надѣялась, что воздухъ и близость моря лучше всякихъ докторовъ помогутъ ея любимцу Сеничкѣ. Она просила Петю не много разговаривать съ ея сыномъ, и Петя съ стѣсненнымъ сердцемъ, просидѣвши съ часъ въ его комнатѣ, простился съ нимъ.

Вернувшись домой, онъ узналъ отъ Михѣя, что барышни дома нѣтъ; но что Егоръ Антоновичъ пришелъ и сидитъ у себя въ кабинетѣ.

Петя хотѣлъ тотчасъ-же уйти куда глаза глядятъ, но черезъ кухню прошелъ въ свою комнату и сталъ думать.

Мы не даромъ сказали, что душа его въ этотъ день была настроена на болѣе высшій тонъ, а потому и неудивительно, что онъ рѣшился первый идти на встрѣчу гнѣва, а можетъ быть, и затрещины, иначе сказать, не только не избѣгать встрѣчи съ отцемъ, но прямо войти къ нему, все разсказать и даже признаться въ своемъ малодушіи.

Онъ зналъ, что въ 4 часа отецъ его будетъ уже на Царскосельской станціи и поѣдетъ домой обѣдать, и такъ-какъ было уже три часа — времени оставалось не много — и онъ рѣшился...

Скрѣпя сердце, перешелъ онъ залъ и подошелъ къ двери кабинета. «Заперта», подумалъ онъ, положилъ на мѣдную ручку ладонь и придавилъ ее — дверь отворилась.

Онъ увидѣлъ отца своего, сидящаго за столомъ, на которомъ лежали кучи депозитокъ и золота... Онъ, очевидно ихъ пересчитывалъ и что-то записывалъ...

Петя хотѣлъ вернуться, но чуткій старикъ, не смотря на то, что шея у него была толстая и короткая, быстро повернулъ свою голову, и черезъ плечо, однимъ глазомъ, увидѣлъ сына.

Старикъ покраснѣлъ, и брови его сдвинулись.

— Что тебѣ надо? спросилъ онъ.

— Извини меня... я не зналъ, что могу помѣшать тебѣ...

— Что тебѣ надо?

— Пришелъ поговорить съ тобой...

— Какъ ты смѣлъ... мальчишка!

— Мнѣ очень нужно поговорить съ тобой...

— Убирайся вонъ!

— Такъ ты не хочешь?

— Убирайся вонъ! говорятъ тебѣ... Казенныя деньги... я занятъ... Жди меня въ своей комнатѣ...

Петя вышелъ...

«Деньги ему дороже всего на свѣтѣ, подумалъ онъ, удаляясь въ свою комнату.—Онъ не казначей, чтобъ считать казенныя деньги... Я помѣшалъ ему—этого онъ мнѣ не проститъ... Вотъ онъ войдетъ бѣшеный, злой, и что я скажу ему?.. Развѣ онъ выслушаетъ меня по-человѣчески!.. Нѣтъ—будетъ благоразумнѣе, если я... что бишь такое?—Ахъ да... если я напишу ему письмо и... нѣтъ не то... будетъ лучше, если я спрошу совѣта у Нади... Что она скажетъ мнѣ, какъ посовѣтуетъ, такъ и сдѣлаю... «Надо бороться» сказала она—«бороться»—ну вотъ пусть и поучитъ меня, какъ бороться»...

— Любовь Петровна! сказалъ онъ, переходя въ кухню,—я сейчасъ выйду... Если спроситъ меня отецъ, скажите, что я ушелъ по дѣлу и чтобъ онъ не ждалъ меня...

— А какъ-же обѣдать-то?

— Приду обѣдать, только позднѣе... да еще и аппетита нѣтъ—я сейчасъ только у товарища кофе пилъ...

И Петя, напяливъ кепи, сошелъ внизъ и пошелъ куда глаза глядятъ...

Вотъ почему Егоръ Антоновичъ вернулся въ Павловскъ часомъ позднѣе и вернулся не въ духѣ. Ему не удалось поговорить съ Петей, онъ былъ возмущенъ тѣмъ, что сынъ,—непослушный сынъ—не дождался его въ своей комнатѣ... Отъ Любови Петровны узналъ онъ, между прочимъ, что въ

квартиру его пріѣхала сестра жены его и что ночью Петя такъ испугался, когда увидѣлъ ее со свѣчей въ корридорѣ, что упалъ въ обморокъ, что она посылала за докторомъ, но что послать было некого, что она страшно перетрусила и что у ней ни копейки денегъ нѣтъ.

Молча выслушалъ Клинъ разсказъ ея и, быть можетъ, вспомнивъ какимъ блѣднымъ и худымъ вошелъ къ нему сынъ его, почувствовалъ въ глубинѣ души своей нѣчто похожее на угрызеніе совѣсти...

— Сколько нужно денегъ? спросилъ онъ Любовь Петровну.

— На чай, на сахаръ, на булки, на провизію... на все нужны деньги...

— Сколько? крикнулъ старикъ, раскашлявшись.

— Сколько пожалуете, струсивъ, отвѣчала Любовь Петровна.

Клинъ далъ ей двадцать рублей, сказалъ, что Петя скоро переѣдетъ въ Павловскъ, и затѣмъ удалился—мрачный и какъ будто чѣмъ-то встревоженный.

Было уже одинадцать часовъ вечера. Петя не спалъ, ходилъ по залѣ и дожидался Нади. Въ половинѣ двѣнадцатаго онъ вдругъ собрался-было бѣжать на станцію и дожидаться поѣзда, но сообразилъ, что ужь поздно, что пока онъ добѣжитъ до станціи, она пріѣдетъ безъ него и ляжетъ спать...

Било двѣнадцать... въ окнахъ потемнѣло, такъ-какъ небо было покрыто дождевыми тучами. — Нетерпѣніе Пети росло и росло, у него ныло подъ ложечкой и голова кружилась отъ страстнаго, неодолимо-напряженнаго ожиданія. Онъ то ходилъ, то ложился на диванъ, то закрывалъ глаза... Наконецъ, мысль, что *она* осталась ночевать въ Павловскѣ, что она не пріѣдетъ, точно желѣзный обручъ сковала его движенья... Онъ замиралъ, прислушивался, отчаявался и съ глазами устремленными въ потолокъ сидѣлъ съ закинутой голо-

вой, съ раздвинутыми на полу ногами и, какъ расслабленный, не двигался...

Было уже сорокъ минутъ перваго, когда вдругъ раздался слабый звонокъ въ передней.

«Она!» подумалъ Петя и вскочилъ. Точно выстрѣлъ раздался надъ головой его... Шатаясь, побѣжалъ онъ отворять дверь... Этой чести онъ не хотѣлъ предоставить Михѣю, который спалъ, и хотя не былъ пьянъ, но надо было сильно рвануть за звонокъ, чтобъ разбудить его.

Вошла Надя и удивилась, что Петя не спитъ, что Петя, какъ безумный, обнимаетъ ее и цѣлуетъ...

— Петя, какъ тебѣ не грѣхъ... Зачѣмъ ты... Перестань.. Я устала, я спать хочу...

— Ахъ, Надя, если-бы ты знала, какъ я ждалъ тебя!. Ради Бога, не мучь, не терзай меня... Слушай, Надя!.. Когда ты опять будешь въ Павловскѣ... Нѣтъ, не то... Мнѣ надо знать, какъ обошелся съ тобой отецъ мой. Мнѣ это необходимо знать,—необходимо! Садись... ну хоть на одну минуту сядь и поговори со мной... Вотъ въ чемъ дѣло,— слушай.

Надя сѣла на диванъ, и, несмотря на сумракъ ночи, Петя не могъ не замѣтить, какъ она блѣдна и взволнована.

— Ты не думай, Надя, что я дерзкій—нѣтъ, я люблю тебя, ты мое божество, но я не дерзкій... И если я тебя ожидалъ—я не даромъ ожидалъ... мнѣ надо съ тобой посовѣтоваться...

— Почему-же теперь, а не завтра; вѣдь утро вечера мудренѣе...

— Завтра!.. Но мнѣ кажется, что днемъ я буду не въ силахъ и говорить съ тобой... днемъ уже я никому и ничему не вѣрю... себѣ не вѣрю... Я знаю, что я не буду и сегодня спать, если я не поговорю съ тобой...

— Поговоримъ... Но, Петя, я вѣдь также искренняя, какъ и ты... Ну вотъ я съ тобой... Чего-же ты хочешь?

— Ничего я такъ не хочу, чтобъ хоть ты, Надя, меня любила...

— Да развѣ я не люблю тебя? Я какъ сестра люблю тебя... пожимая плечами, точно холодокъ пробѣгалъ по спинѣ ея, тихимъ, замирающимъ голосомъ говорила Надя.

— Какъ сестра!.. Господи, какъ это утѣшительно! Да развѣ сестры любятъ братьевъ? У меня есть тоже сестра, и любитъ она меня такъ-же, какъ ты любишь тотъ тѣсный, новый башмакъ, который ни разу не смогла ты надѣть себѣ на ногу, и на который ты смотришь и думаешь—куда мнѣ дѣвать его?—Въ магазинъ назадъ не возьмутъ, а продать некому..

Надя не ожидала отъ Пети такихъ сравненій... «Онъ не глупъ», подумала она, пожала ему ту руку, которая покоилась въ рукѣ ея и отвѣчала:

— Ну, есть разныя сестры, такъ-же какъ и разныя жены есть... Считай меня любящей сестрой, во всемъ готовой тебѣ помогать и тебѣ сочувствовать...

— Неужели во всемъ?.. Неужели? Ахъ, сестра, вѣдь если-бы не было надежды, что на землѣ есть нѣчто похожее на любовь или на то счастье, которое она можетъ дать—была-бы безнадежность и вся жизнь была-бы сплошнымъ отчаяньемъ... Вотъ сегодня—я пришелъ къ отцу... утромъ я избѣгалъ его... въ три часа устыдился своей робости и смѣло пошелъ къ нему... Хотѣлъ высказаться—и что-же... Ну что, ты думаешь, онъ сдѣлалъ?.. Ты думаешь, онъ меня выслушалъ? Онъ прогналъ меня... Онъ въ это время считалъ свои деньги и прогналъ меня...

— Бѣдный Петя!..

— Я хочу выйти изъ гимназіи и готовиться къ экзаменамъ зрѣлости въ другой гимназіи. Мнѣ нужно знать—гдѣ проживу я этотъ годъ и могу-ли я прожить его такъ, чтобъ не слыхать поминутныхъ упрековъ и жалобъ, оскорбительныхъ... оскорбляющихъ мое самолюбіе...

Послѣднія слова Петя проговорилъ какъ-бы сквозь слезы и припалъ головой къ плечу ея...

— Если тебѣ тяжело... я... переговорю съ отцемъ твоимъ... Мнѣ трудно это, но не тяжело... Онъ, можетъ, и добрый человѣкъ въ глубинѣ души своей, но грубъ и невоспитанъ...

Затѣмъ Надя передала ему разговоръ ихъ за обѣдомъ въ Павловскѣ и незамѣтно перешла къ Ксеніи.

— Ты тамъ всѣми любимъ... всѣ ждутъ тебя, сказала Баскова,—особливо Ксенія... Только объясни мнѣ, милый мой, что означаетъ то честное слово, которое ты далъ ей?

— Кому?—Ксеніи? Какое честное слово?

— Ты далъ ей слово узнать, кто ея мать и кто отецъ.

— Я!.. Неужели? удивился Петя.

— Я это слышала отъ нея самой, тѣмъ-же тихимъ голосомъ проговорила Надя.

— Клянусь тебѣ—не помню... Помню только, что она мнѣ что-то такое говорила... будто-бы она подкинута... но что я на это отвѣчалъ ей—не помню... Неужели я ей далъ честное слово? Какъ это могло-быть—не понимаю...

— А Ксенія, по всему судя, очень тебя любитъ и просила меня напомнить тебѣ твое обѣщаніе—едва-ли исполнимое, потому-что, не подлежитъ сомнѣнію, она родилась отъ сестры моей... И потому, что Сергѣевыхъ безчисленное множество. Сама сестра моя давнымъ-давно уже потеряла *его* изъ виду... Говорятъ, это былъ франтъ, въ родѣ салоннаго Донъ-Жуана; онъ и двухъ мѣсяцевъ не былъ знакомъ съ сестрой моей, увезъ, поступилъ въ полкъ и уѣхалъ... Обыкновенная исторія!.. Я ни слова не сказала Минѣ объ этихъ фантазіяхъ Ксеніи... О да, это фантазія!.. Надо какъ-нибудь постараться, чтобъ Ксенія выкинула ее изъ головы. Кто, кромѣ матери, можетъ это сдѣлать! А какъ сказать матери? И чѣмъ она станетъ оправдываться передъ своей молоденькой дочерью!.. Это очень щекотливая исторія...

— А какая въ томъ бѣда, что она думаетъ, что ее подкинули?

— А такая, что это измѣняетъ ея нравственныя отношенія къ ея родной матери...

— А чѣмъ-же это дурно, при тѣхъ отношеніяхъ, которыя существуютъ или могутъ существовать? Вѣдь сестра твоя не исправитъ и не наставитъ.. Но можно-ли мнѣ быть съ тобой искреннимъ? Скажи, можно-ли?.. Позволяешь-ли ты мнѣ говорить все, все...

Надя затруднилась въ отвѣтѣ. Позволить ему говорить все, все—этого она боялась, такъ какъ подозрѣвала, что Петя влюбленъ въ нее (хотя, можетъ быть, и безсознательно); а какъ-же не позволить, когда она сама вызвалась на то, чтобъ быть искренней.

— Говори, сказала она сухо.

— Сестра твоя—дурной примѣръ... Ты думаешь, она вѣрна моему милому родителю?.. Имѣю данныя думать, что не вѣрна... и что всего хуже, это меня нисколько не оскорбляетъ... Вотъ каковы наши отношенія!.. Ты меня зовешь въ Павловскъ... или нѣтъ, не ты, онѣ зовутъ меня въ Павловскъ; по жить тамъ и на все глядѣть сквозь пальцы и быть какъ-бы тайнымъ соучастникомъ всякаго рода пошлостей—невесело...

— Не знаю, что мнѣ и отвѣчать тебѣ на твои данныя.. «не осуди и не осужденъ будеши»...

— И ты не осудишь меня, если я тебя поцѣлую?..

— Что это значитъ?.. Развѣ ты видѣлъ, что кто-нибудь цѣлуетъ сестру мою?.. А если видѣлъ—неужели ты хочешь, чтобъ я подражала ей... Люби меня безъ поцѣлуевъ, безъ всякихъ сантиментальностей... здоровой, хорошей любовью люби меня... Что-же ты замолчалъ? О чемъ ты думаешь?

— А я думаю—какой сильный проливной дождь идетъ... Слышишь, какъ хлещетъ въ стекла... и такъ темно въ воздухѣ... Я радъ, что ты пріѣхала до дождя... твой малень-

кій зонтикъ не могъ-бы спасти тебя отъ ливня, и я-бы страдалъ за тебя, воображая себѣ, что ты сидишь на извозчикѣ и вѣтеръ съ дождемъ всю, съ ногъ до головы, обдаетъ тебя...

— Какой ты добрый...

— Ахъ, Надя, Надя... на цѣлый годъ ты меня старше и на десять лѣтъ умнѣе... Я уже это чувствую...

— И тебѣ досадно...

— Я и самъ не знаю... знаю только... Ну, да что говорить!..

— А если я такъ умна, по твоему, то послушайся меня: пойди спать, мы еще успѣемъ наговориться... Не правда-ли?.. Прощай!..

Надя высвободила свою руку изъ руки его, нагнулась и поцѣловала его въ голову. Но Петя не поцѣловалъ даже руки ея. На него нашло что-то странное: онъ точно устыдился всего того, что происходило съ нимъ, точно раскаялся въ томъ, что удержалъ ее и заставилъ цѣлый часъ сидѣть съ нимъ въ сумеркахъ ночи и болтать...

— Прощай! пролепеталъ онъ, когда она уходила, и не всталъ съ мѣста, чтобъ проводить ее. Отъ смутнаго сознанья, что онъ не стоитъ любви и что эта дѣвушка никогда не будетъ принадлежать ему, горькое чувство шевельнулось въ груди его и отозвалось въ головѣ чѣмъ-то тяжелымъ и подавляющимъ.

ГЛАВА XXI.

Есть такія дѣвушки, которыя говорятъ, говорятъ и вдругъ задумаются,—все лице приметъ какое-то страдальческое выраженіе, глаза потемнѣютъ и остановятся, и почудится въ нихъ глубина задушевная и страсть, и налетѣвшая мечта, и такое тайное горе, что вамъ невольно захочется спросить: «Что съ вами»?.. А въ это самое время она думала: сколько

аршинъ матеріи пошло на платье и сколько аршинъ должна была украсть портниха или,—въ какомъ магазинѣ купить ей ботинки?

Въ такихъ задумчивыхъ дѣвушекъ очень часто влюбляются наши мечтатели...

Но есть лица, которыя еще опаснѣе: ихъ выраженье неуловимо и въ то-же время безпрестанно влечетъ ваше вниманіе, дразнитъ любопытство и затѣмъ внушаетъ тайную мысль, что подъ этими холодными чертами (въ ту минуту, когда онѣ холодны), таится адъ кромѣшный, лава кипучая, и что подъ этой блуждающей улыбкой (въ ту минуту, когда она просвѣчивается то въ глазахъ, то въ очертаніяхъ губъ) проскользаетъ что-то очень милое, нѣжное, словомъ—какая-то увлекательная тайна, ни кому не вѣдомая, и что тотъ, кто овладѣетъ этой тайной—блаженнѣйшій человѣкъ во всей подсолнечной.

Такихъ лицъ очень немного, и они дѣйствительно принадлежатъ недюжиннымъ дѣвушкамъ, и никакое искусственное кокетство не сравнится съ тѣмъ кокетствомъ, которое вложено въ нихъ самой природой, за которое онѣ не отвѣчаютъ, котораго даже не подозрѣваютъ.

И къ числу такихъ лицъ принадлежало лицо Нади, или Надежды Михайловны Басковой.

И Петя каждое утро и почти что каждый вечеръ видѣлъ это лицо.

Куда дѣвались его сомнѣніе и его самоувѣренность? Отъ этихъ мальчишескихъ чувствъ не осталось слѣда, ибо съ той самой ночи, когда онъ съ ней бесѣдовалъ послѣ того какъ она вернулась изъ Павловска,—онъ впалъ въ какое-то ровное, холодное, почти невозмутимое отчаянье. Онъ далъ себѣ слово—никогда не брать ее за руку, не говорить ей нѣжностей и, паче всего, не произносить слово — любовь. Слово это стало для отроческой души его чѣмъ-то въ родѣ словъ «металлъ» и «жупелъ», для той московской купчихи, кото-

рая страшно испугалась, когда впервые услыхала ихъ (смотри одну изъ комедій А. Н. Островскаго).—Онъ, этотъ юный и еще безбородый юноша, такъ спокойно съ ней говорилъ и вообще такъ велъ себя, что Надя была-бы очень довольна имъ,—даже думала-бы, что ошиблась, что никогда этотъ Петя не былъ и не будетъ влюбленъ въ нее, если-бы... не была инстинктивно проницательна... Недаромъ онъ старался отводить отъ нея глаза свои, не глядѣть ей въ лицо, даже пересталъ быть простодушно откровеннымъ съ ней. Онъ чаще сталъ уходить изъ дому и, когда возвращался домой, прежде всего уходилъ въ свою комнату, хватался за книги, за перо, за голову, и иногда, безъ всякой причины, слезы текли по щекамъ его...

Надя ѣздила два раза въ Павловскъ, и въ первый разъ привезла ему отъ Мины Михайловны денегъ и платье; второй разъ передала ему въ краткихъ словахъ — до какой степени взбѣсился отецъ его, когда узналъ, что онъ не выдержалъ экзамена и, не спросясь его, вышелъ изъ гимназіи.

Надя нашла себѣ небольшую квартирку на Малой Морской—на дворѣ, у одной содержательницы меблированныхъ комнатъ, и собиралась переѣхать. Но прежде чѣмъ переѣхать, она надѣялась уговорить Петю переселиться въ Павловскъ и даже намекала ему, что Ксенія къ нему не со всѣмъ равнодушна; но Петя или упрямо молчалъ, или сожалѣлъ, что никакъ не можетъ исполнить ея желанія.

А въ Павловскѣ не только ожидали его,—ревновали... Дуня пріѣзжала въ Петербургъ, цѣлыхъ 4 часа просидѣла въ кухнѣ и проболтала съ Любовью Петровной, въ надеждѣ пробраться къ Петѣ и узнать отъ него самого, отчего онъ такой жестокій и чѣмъ она могла неугодить ему. Но какъ нарочно, Пети весь этотъ день не было дома (онъ былъ у Орѣшина на Васильевскомъ островѣ), и Дуня вернулась въ Павловскъ опечаленная и про себя давала клятву, если не

пріѣдетъ Петя еще три дня, на четвертый день непремѣнно измѣнить ему.

Ксенія-же вдругъ стала догадываться. «Ба! думала она,— та Надя, въ которую былъ влюбленъ Петя и которая жила когда-то въ Павловскѣ, ужь не моя-ли тетя?.. Ужь не та-ли Надя, которая теперь въ Петербургѣ?..» Все это разомъ пришло ей въ голову въ ту минуту, когда, однажды, мать сказала ей: «Ты вся въ Надю: такая-же бѣлобрысая и синеглазая».

Дождавшись милой тети, она достала себѣ двѣ махровыхъ гвоздики, приколола ихъ къ груди, увела тетю въ садъ и сказала: «Вотъ видишь, тетя, какая я вѣтренная дѣвочка.— Какой-то мальчикъ положилъ мнѣ на окно эти цвѣточки, ну... и видишь... я ихъ пришпилила на грудь; а когда съ нимъ встрѣчусь, непремѣнно нарочно улыбнусь ему...»

Надя не догадалась сразу, на что она намекаетъ и, повѣривъ ей, назвала ее до непростительности вѣтренной дѣвочкой.

Ксенія искоса пристально поглядѣла ей въ лице, надула губки и чуть не заплакала.

— Я солгала, сказала Ксенія,—никто не клалъ ко мнѣ на окно этихъ цвѣтовъ, я выпросила ихъ у одного знакомаго... Я не такая счастливая, какъ ты... тетя...

— Да чѣмъ-же я счастливая? И за что ты на меня сердишься?..

— И не думаю сердиться... Богъ съ тобой!..

И только, уѣзжая изъ Павловска, въ вагонѣ, вспомнила Надя, что Петя когда-то ей на подоконникъ положилъ двѣ розы и догадалась, къ немалому своему удивленію, что значитъ эта сцена, разъигранная Ксеніей.

«Богъ мой! думала Надя,—что изъ нея выйдетъ; вся она изъ какихъ-то фантазій... и какъ рано страстишка забирается въ это маленькое дѣвственное сердце... Вотъ, нажила себѣ какую соперницу... ревнуетъ!.. Боже мой! Боже мой!..

ГЛАВА XXII.

Разъ Ознобинъ вышелъ на улицу, папиросъ купить, и на обратномъ пути изъ табачной лавочки совершенно неожиданно столкнулся съ Николаемъ Николаевичемъ Ерошинымъ, который, стоя на тротуарѣ, искалъ глазами извощика (въ Петербургѣ лѣтомъ можно иногда пройти полъ-улицы и не найти ни одного свободнаго извощика).

И вотъ, они стоятъ другъ противъ друга... Ознобинъ въ дорожной, лѣтней фуражкѣ пыльнаго цвѣта, Ерошинъ въ прошлогодней, соломенной шляпѣ тоже пыльнаго цвѣта... Ознобинъ худощавъ, смутенъ и глядитъ старымъ студентомъ изъ духовной академіи; Ерошинъ по-прежнему широкъ; плотенъ, бородастъ и глядитъ выходцемъ изъ Америки.

— А поѣдете со мной на дачу... говоритъ Ерошинъ, и большіе, сѣрые съ искрой глаза его насмѣшливо щурятся.

— Э... когда-нибудь заберусь къ вамъ... тянетъ ему въ отвѣтъ Ознобинъ, мигая глазами, тоже сѣрыми, хоть и небольшими.

— Мы съ вами раззнакомимся, если вы такой кисляй. И чего вы трусите?—Этой самой дѣвки, которой вы трусите—сегодня не предвидится... Она, если не въ Парголовѣ, такъ въ Лѣсномъ, а не въ Лѣсномъ, то... чортъ ее знаетъ...

Ознобина замѣтно коробитъ: онъ тотчасъ-же смекаетъ, о комъ это говоритъ Ерошинъ съ такимъ пренебреженіемъ, и смотритъ на желтую собаку, которая, прихрамывая, перебѣгаетъ улицу, завидя другую черную собаченку, которая вертится у дверей кондитерской.

— Вотъ... купилъ папиросы, и съ собой у меня денегъ нѣтъ.,. да надо еще и поработать...

— Билетъ я вамъ куплю, и вы мнѣ послѣ заплатите... это пустяки; а работать сегодня вамъ нечего... Ѣдемъ!.. Лекониды не будетъ... Да и какое вамъ дѣло до ея капризовъ,

хочетъ она васъ видѣть или не хочетъ?.. Вамъ-то что?.. Какой-же вы послѣ этого мужчина!.. Пфу!

— Да поймите-же вы, Христа ради, я самъ до поры до времени не хочу ее видѣть... Э... это мой капризъ... понимаете...

— Эй, извозчикъ!.. На Царскосельскую машину—двугривенный.

— Тридцать.

— Не дамъ.

— Двадцать пять...

— Садитесь, Ознобинъ, не капризничайте...

Ознобинъ хоть и капризничаетъ, но повинуется, потому что самъ чувствуетъ, ему нужно чѣмъ-нибудь встряхнуть себя, до такой степени онъ залежался и поникъ духомъ послѣ долгаго труда надъ проектомъ о возсозданіи городовъ по новому типу, на новыхъ, соціально-гигіеническихъ началахъ.

На станцію пріѣзжаютъ они за полчаса до отхода поѣзда. На дебаркадерѣ Ознобинъ встрѣчаетъ Петю Клина и не сразу узнаетъ его.

Петя въ сѣрыхъ брюкахъ, въ партикулярномъ сюртукѣ и въ цилиндрѣ. . Съ нимъ подъ-руку какая-то дѣвушка, одного съ нимъ роста, стройная и красивая.

Петя, очевидно, и фарситъ какъ будто (шляпа немного на бекрень съѣзжаетъ), и какъ будто совѣстится... Онъ, не торопясь, въ толпѣ подходитъ къ Ознобину и рекомендуетъ ему свою спутницу, Надежду Михайловну Баскову—сестру его мачихи—Мины Михайловны. Ознобинъ смотритъ на нее, нагибая голову, точно разсматриваетъ насѣкомое, и равнодушно пожимаетъ ей руку. Ерошинъ смотритъ на нее во всѣ глаза, какъ на диковинку, и лѣвой рукой машинально разглаживаетъ свою пушистую, окладистую бороду.

— Вы въ Павловскъ? спрашиваетъ Ознобинъ своего бывшаго ученика.

— Нѣтъ.

— Уговорите его поѣхать, говоритъ Надя.

— Э... я не умѣю его уговаривать, отвѣчаетъ Ознобинъ, оглядывая Петю въ новомъ платьѣ и съ такимъ выраженіемъ, какого онъ никогда еще не видѣлъ въ лицѣ его.—Я уговаривалъ его остаться въ гимназіи...

— Я вамъ сказалъ, что не останусь—и не остался...

— Надя, когда ты вернешься домой? спрашивалъ Петя свою молодую спутницу.

— Завтра утромъ, и прямо на свою новую квартиру. Приходи завтра вечеромъ. Весь день я буду хлопотать... Надо-же на что-нибудь рѣшаться...

— Вотъ и хорошо, что я не буду въ Павловскѣ, — ты ночуешь на верху въ комнатѣ, которая предназначалась для моихъ ночлеговъ...

Съ этими словами Петя отводитъ ее отъ Ознобина.

— Замѣчательное личико! вслухъ замѣчаетъ Ерошинъ.

— Сестра Мины Клинъ—и этимъ для меня все сказано... Ничего не можетъ быть хорошаго! рѣшаетъ Ознобинъ.

И затѣмъ они усаживаются въ вагонъ 2-го класса.

А у 3-го класса, опершись на окно, стоитъ Петя и разговариваетъ съ своей тетей.

— Ну, такъ кому-же прикажешь кланяться, — Ксеніи? спрашиваетъ въ окно выглядывающій профиль Нади.

— Кланяйся Ксеніи...

— А еще кому?

— Кому хочешь...

— А Дунѣ, кланяться?

Петя смотритъ ей въ глаза, ловитъ на губахъ ея дрогнувшую улыбку и ничего не отвѣчаетъ.

— Что-же ты молчишь?..

— Я уже сказалъ, — кланяйся кому хочешь, стараясь быть какъ можно спокойнѣе, говоритъ Петя, но что-то болѣзненно-скорбное разливается по лицу его.

Надя съ легкимъ румянцемъ на щекахъ, безъ малѣйшей

улыбки устремляетъ на него загадочнымъ блескомъ засвѣтившіеся, темно-лазурные глаза свои.

Второй звонокъ.

— Поблагодари за меня сестру твою за деньги... Я ихъ отдамъ ей, когда заработаю... Хотѣлъ ей благодарственное письмо послать, да раздумалъ...

— А какъ-бы она была рада увидѣть тебя такимъ, какъ ты сегодня... Ты глядишь такимъ интереснымъ молодымъ человѣкомъ; эта шляпа идетъ къ тебѣ...

— Я никому не желаю нравиться, лжетъ Петя, потому что полжизни отдалъ-бы для того только, чтобъ понравиться этой дѣвушкѣ, стоявшей за окномъ, въ тѣни отъ стѣнъ дебаркадера, и въ глазахъ нѣсколько близорукаго Пети казавшейся призракомъ...

— И я ни кому не желаю... задумчиво отзывается этотъ запертый въ вагонъ, живой и плѣнительный призракъ, положивъ на край окна свою бѣлую фарфоровую ручку.

— Да, но ты не желаешь нравиться потому, что не можешь не нравиться; а я — потому, что не могу нравиться, если-бы и желалъ... разница!

— Ну, Ксенія, а можетъ и еще кто-нибудь, сказали-бы иначе...

— Ахъ, Боже мой! Ксенія!.. Охота тебѣ говорить о ней!.. Ксенія—дитя...

Третій звонокъ.

— Прощай... прощайте, Надежда Михайловна!

— Прощай, не хандри, радуйся, что у тебя есть другъ который...

Петя отступилъ, и свистокъ заглушилъ послѣднія слова ея. Машина запыхтѣла, и вагоны двинулись постепенно ускоряющимся ходомъ, и не прошло минуты, какъ они, уже вылетѣвъ изъ-подъ кровли дебаркадера, неслись дальше по желѣзнымъ рельсамъ...

«Ну кто теперь ее догонитъ, кто ее вернетъ?» невольно,

съ тайнымъ сокрушеніемъ думаетъ Петя... Онъ снимаетъ шляпу, проводитъ по-лбу рукой и, пробравшись въ буфетъ, беретъ со стола первую попавшуюся ему газету.

Часы идутъ, и ровно черезъ часъ съ четвертью послѣ отхода поѣзда, Ознобинъ и Ерошинъ, не торопясь, проходятъ по улицамъ Павловска и разговариваютъ.

— Удивительное э... дѣло! говоритъ Ознобинъ.—Вы думаете, что меня это развлекаетъ, что мнѣ нужна ваша толпа и э... ваша музыка... Глинку или Сѣрова, развѣ они съиграютъ, э... эти нѣмцы! Русской пѣсни э... не съиграютъ... Для меня-же во всемъ свѣтѣ есть одна, которая понимаетъ, какъ надо... Э... э... какъ надо пѣть...

— Кто такая?

— Леконида Александровна.

Ерошинъ останавливается и глядитъ на него съ изумленіемъ.

— Что съ вами?.. Да она еще и играть не умѣетъ... поетъ, какъ всѣ поютъ въ ихней консерваторіи...

— Ну, нѣ-э-тъ!.. А впрочемъ, думайте какъ вамъ угодно — у меня свое мнѣніе, и э.. за десятокъ нотъ, ею пропѣтыхъ, я не возьму цѣлой оперы, пропѣтой вашей Патти...

«Право, онъ съума сошелъ», думаетъ Ерошинъ.

— Такого пониманія и такой глубины нѣтъ у э... вашихъ итальянскихъ примадоннъ... поютъ какъ соловьи или вонъ шарманка, которую наигрываютъ...

— До какой глубины... чувства, что-ли?.. А развѣ у ней есть чувство?.. Это все ваша фантазія... почтенный мой, Иванъ Несторовичъ...

— Фантазія или не фантазія—я вамъ вотъ что скажу... Видѣли вы сейчасъ ребенка, дѣвочку лѣтъ шести... у калитки стояла?..

— Ну, видѣлъ...

— Ну, я заглянулъ ей въ глаза и—не нашелъ въ нихъ души: что собачьи, что кошачьи, что ея—все равно. Видѣли

вы эту мамзель — сестрицу мадамъ Клинъ — что вышла изъ вагона и впереди насъ одна пошла?..

— Ну, видѣлъ...

— Ну, и на нее я гляжу какъ на деревянную куклу или какъ вотъ на этотъ фонарь. Вы отъ нея въ восхищеніи, даже походка ея вамъ нравится... а я... ледъ... Ничего и никто мнѣ не нравится, и я совершенно равнодушенъ къ судьбѣ своей —хоть въ солдаты меня отдавайте, хоть ругайте меня на чемъ свѣтъ стоитъ... Стало быть... э... я человѣкъ почти что мертвый... А запой при мнѣ ваша сестра... хоть «горныя вершины», хоть «на горахъ сіонскихъ» Сѣрова... Что хочетъ запой—оживу, хоть на время э... да, воскресну... и тогда, можетъ быть, и вашъ нѣмецкій оркестръ мнѣ... э... понравится... Вы полагаете — я ее боюсь... а я... э... самого себя боюсь... Ея презрѣнье можетъ съума свести меня...

— Жалѣю я васъ, дорогой Иванъ Несторовичъ... Но вотъ и жена...

Имъ навстрѣчу скорыми шагами, точно обрадованная, что увидала ихъ, шла Александра Александровна, простоволосая. въ утренней распашенкѣ и въ туфляхъ... Но чѣмъ ближе она подходила, тѣмъ становилось очевиднѣе, что Ерошина не съ добрыми вѣстями идетъ къ нимъ и что она разстроена...

— Николя!.. Ахъ, Николя!..

Она слегка припала на грудь своему мужу и затѣмъ продолжала задыхающимся голосомъ:

— Какъ я рада, какъ я рада... хоть ты пріѣхалъ... Ахъ!

— Что такое?

— Ради Бога... Николя... найди мнѣ доктора... я никого не знаю... Я въ ужасѣ...

Ерошинъ испуганно поглядѣлъ ей въ лицо.

— Леля играла... ничего не было... вдругъ, замѣчаю, глазки мутны... ее стошнило... я уложила ее... смѣрила температуру—жаръ 39°... вся горитъ... Что съ ней! Боже мой, Боже мой!

— Къ чему такое отчаянье! развѣ дѣти не бываютъ больны!.. Доктора... конечно, нужно доктора; но кто здѣсь изъ докторовъ... и есть-ли дѣтскій докторъ?..

— Э... кажется, есть одинъ дѣтскій... докторъ... я слышалъ... Ранетскій... хорошій, говорятъ, докторъ... Если хотите, я разыщу его... поѣду въ адресный столъ и разыщу...

Только тутъ Александра Александровна замѣтила Ознобина и чуть не бросилась къ нему съ такимъ-же порывомъ, съ какимъ она встрѣтила мужа.

— Идите, поѣзжайте на нашъ счетъ, привезите намъ Ранетскаго какъ можно скорѣй, милый нашъ, дорогой нашъ! Буду какъ Бога ждать васъ... благослови васъ Богъ!..

— Ступайте, Ознобинъ, если вы не устали...

— И если я его найду — привезти къ вамъ? А гдѣ вы живете?

— А вотъ, заверните въ эту улицу, номеръ дачи 15-й.

«Ну, хорошо, что не 13-й», подумалъ суевѣрный Ознобинъ и, не поклонясь Орѣшину, пошелъ назадъ, по направленію къ главнымъ улицамъ города.

— Пожалуйста, другъ мой, не волнуйся, не тревожь себя... у дѣтей бываетъ и 40 и 41° и, слава Богу, все проходитъ благополучно... говорилъ Ерошинъ женѣ, всходя на невысокій балконъ, полузавѣшанный парусиной и уставленный горшками цвѣтовъ.

Въ дверяхъ, на порогѣ, встрѣтилъ ихъ маленькій сынокъ ихъ—по-прежнему веселый, и непремѣнно радостно-бы закричалъ: «папа!» если-бы Александра Александровна, тотчасъ-же притопнувъ на него, не прошипѣла: «молчи и помни, что больна сестра твоя, а она тутъ близко, у меня въ спальнѣ»...

Ерошинъ-же нагнулся, поднялъ своего мальчугана и поцѣловалъ его.

ГЛАВА XXIII.

Не прошло и двухъ дней, какъ Ознобинъ сталъ человѣкомъ необходимымъ для огорченной и напуганной Александры Александровны,—человѣкомъ, безъ котораго она не могла-бы быть спокойной ни на одну минуту.

Ознобинъ-же принялъ въ горѣ ея самое горячее участіе (можетъ быть потому, что она была сестрой Леониды, а можетъ быть и потому, что радъ былъ чѣмъ-нибудь наполнить пустоту дней своихъ). Давно уже жилъ онъ безъ привязанностей, а такъ-какъ привязываться къ чужой семьѣ свойственно всѣмъ холостымъ, въ особенности-же такимъ, какъ Ознобинъ,—онъ не могъ не чувствовать, что семья Ерошиныхъ его привлекаетъ, и что это не простая, а, такъ сказать, идеальная семья. Все возводить въ идеалъ, прежде чѣмъ къ чему-нибудь стремиться—было свойствомъ души его.

Николай Николаевичъ не могъ каждое утро не быть въ Петербургѣ. Для той конторы, которою онъ завѣдывалъ, время было самое горячее, и онъ долженъ былъ давать направленіе всѣмъ дѣламъ и отвѣчать на множество запросовъ, и такъ какъ положиться ему было не на кого — онъ каждое утро уходилъ, садился въ вагонъ и ѣхалъ.

И въ первый разъ со дня своего замужества Александра Александровна съ нимъ ссорилась... Казалось, даже семейный миръ ея былъ нарушенъ болѣзнью ея малютки. Каждое утро послѣ безсонной ночи, проведенной у постели больного ребенка, она входила въ комнату мужа и, видя, что онъ запираетъ бумаги въ свой портфель или стоитъ въ надвинутой на брови шляпѣ, словомъ—собирается ее покинуть,—обращалась къ нему съ мольбой не уѣзжать, а затѣмъ, съ злыми упреками, что онъ безчувственный отецъ, съ каменнымъ сердцемъ или совсѣмъ безъ сердца, что онъ не любилъ ее никогда и не любитъ дѣтей своихъ...

— Я люблю ихъ не меньше твоего, усовѣщевалъ ее Николай Николаевичъ, — но если ты дома, если и Ознобинъ, здѣсь, то... развѣ я не покоенъ за мою больную?.. И если она въ опасности, что могу я сдѣлать, чѣмъ могу я помочь? Развѣ я докторъ!.. И какъ могу я не ѣхать, пойми ты это... меня ждутъ, безъ меня денегъ не выдадутъ... Я долженъ...

— Э! Велика важность, что безъ тебя денегъ не выдадутъ... провались она—эта контора... и эта служба!.. Я-бы все забыла на твоемъ мѣстѣ...

И Александра Александровна принималась плакать.

— Ну, а если меня отставятъ и я потеряю жалованье,— чѣмъ я буду содержать тебя?

— Ничего мнѣ не нужно... ни твоего жалованья, ничего, ничего!.. безсмысленно твердила убитая своимъ горемъ несчастная мать.

Ерошинъ насупливалъ брови, заходилъ къ больному ребенку, прикладывался губами къ щекѣ его и, прослезившись, уѣзжалъ.

Наплакавшись, Александра Александровна стучалась въ дверь къ Ознобину, который только что протиралъ глаза, такъ какъ онъ плохо спалъ ночь, ухаживая за больной, вмѣстѣ съ матерью: перемѣняя холодные компрессы на ея головкѣ, щупая пульсъ или глядя на часы, чтобъ не опоздать и во время дать лекарство.

— Вы еще спите?

— Сейчасъ одѣнусь...

— Послушайте...

— Сейчасъ, сейчасъ! Что прикажете?

— Когда пріѣдетъ докторъ?

— Раньше двухъ часовъ не пріѣдетъ.

— Раньше двухъ часовъ! Боже мой!..

И, ломая руки, она ходила по всей дачѣ и сердилась на прислугу и никакого вниманія не обращала на своего просыпающагося мальчуганчика, который, стоя съ голыми

ножками на своей кровати, собирался идти ловить рыбу... и кричалъ: «Луиза! А гдѣ моя удочка!..»

Однажды, Ознобинъ, около трехъ часовъ по-полудни, проводивши доктора, полулежалъ, погруженный въ кресло, въ той сторонѣ балкона, которая была занавѣшана парусиной, слегка колеблемой вѣтеркомъ, и заставлена горшками съ зеленью. Вытянувъ ноги и понуривъ голову, Ознобинъ думалъ. «Мнѣ, однако-же, пора бѣлье мѣнять; правда, меня здѣсь почти-что никто не видитъ, но пора... вотъ пріѣдетъ Николай Николаевичъ — отправлюсь въ городъ. — Что, коли прачка да не выстирала мнѣ ни одной рубашки?.. Я еще сорокъ копеекъ долженъ ей... Жаль, если дѣвочка умретъ... не ее жаль — мать жаль... Если-бы узнала земля, что завтра отъ нее оторвется мѣсяцъ и уйдетъ куда-то въ невѣдомое пространство, Боже мой, какой-бы страшный вопль, милліардомъ устъ человѣческихъ, подняла наша планета! Какое-бы это было страшное событіе... Вѣдь все, все было-бы потрясено, все!.. Да и уцѣлѣла-ли-бы она послѣ такой катастрофы? Такъ и мать боится, что ея маленькій спутникъ отъ нея оторвется... Конечно, солнцу все ни по чемъ: какое ему дѣло до этихъ маленькихъ, вокругъ него вертящихся шариковъ... А, можетъ быть, и на солнцѣ отразилось-бы это земное событіе, такъ какъ все въ мірѣ связано... Но какъ-бы отразилось? Такъ-же, какъ гибель какого-нибудь села или городка на судьбѣ государства... У земли есть одна только сила, равная солнцу— это философія... Ту не смутишь никакими частными потерями... никакимъ воплемъ или погибелью... Но жизнь-бы увяла, если-бы, вмѣсто материнскаго чувства, въ женщинахъ царилъ разумъ... Этого нѣтъ, да и быть не можетъ... Да и семейства-бы не было, еслибъ на землѣ не было инстинктовъ роковыхъ и неизбѣжныхъ. Умъ въ жизни играетъ маленькую роль—очень маленькую... Это онъ напрасно думаетъ руководить человѣчествомъ... Э...»

Но въ это время, по ступенькамъ, ведущимъ на балконъ, застучали каблучки, на солнцѣ мелькнуло бѣлое платье, и сердце Ознобина дрогнуло. На балконъ, опуская зонтикъ, влетѣла Леконида... и пріостановилась: она тоже не ожидала увидѣть «*каналью*» Ознобина и въ такой позѣ... домашней, небрежной... покоящимся въ камышевыхъ качающихся креслахъ...

Ознобинъ такъ остолбенѣлъ или, лучше сказать, такъ замеръ, что не только не привсталъ, даже не пошевелился...

— Ну что, легче ей? спросила его Леконида.

Ознобинъ молчалъ.

— Я васъ спрашиваю, легче ей, или ей хуже?

— Не знаю, отвѣчалъ Ознобинъ.

Леконида влетѣла въ дверь, и за ея порогомъ пропала изъ глазъ его.

Ознобинъ очнулся. Кровь, прихлынувшая къ головѣ и щекамъ его, медленно стала отливать, сердце мало-по-малу успокоилось.

«Она узнала, что ребенокъ боленъ, все бросила и пріѣхала: это хорошо», подумалъ Ознобинъ.

«Она увидѣла меня—забыла все и, подъ вліяніемъ родственнаго чувства, первая со мной заговорила; это тоже хорошо».

«Я не всталъ, я ей не поклонился... но... не могла-же она не замѣтить, какъ она потрясла меня своимъ неожиданнымъ появленіемъ; это тоже не дурно... И хорошо, что я не поклонился: зачѣмъ? — вѣдь она меня не принимаетъ... Какое-же право я имѣю ей кланяться?.. Но кто-бы что ни говорилъ, сердце мое не обманывалось,—она будетъ добрая мать, а стало-быть... если она когда-нибудь будетъ женой Ознобина — онъ будетъ цѣнить и уважать ее»... (Какъ видите, Ознобинъ, несмотря ни на какія передряги, все еще по временамъ надѣялся быть ея мужемъ).

И, какъ помѣшанный, Ознобинъ сталъ тихо и кротко улыбаться, точно передъ умственнымъ взоромъ его возникало царство небесное, или слышалось ему пѣнье блаженныхъ духовъ, которые ждутъ его.

ГЛАВА XXIV.

И онъ дождался.

Только-что въ головѣ его возникла мысль встать и походить по саду или перебраться въ паркъ и тамъ посидѣть на скамеечкѣ, какъ вдругъ опять зашуршало платье, и на порогѣ изъ гостиной появилась Леконида. Она была уже безъ шляпки, безъ перчатокъ и безъ зонтика, и оттого-ли, что загаръ не приставалъ къ лицу ея—она была или казалась блѣдной, или оттого, что, побуждаемая сестрой своей, дала ей слово преодолѣть себя и заговорить, т. е. помириться съ Ознобинымъ, ей же сильно этого не хотѣлось, и это самопринужденье, этотъ шагъ не могли не волновать ее... Не оттого-ли верхняя часть лица ея, съ черными продолговатыми глазами, казалась еще прекраснѣе, а нижняя часть лица, съ большимъ ртомъ и яйцеобразнымъ подбородкомъ—еще грубѣе и непріятнѣе?

Мелькомъ взглянувъ на Ознобина, прошла она мимо его, но, въ трехъ шагахъ, не доходя до ступенекъ, пріостановилась, полуобернулась и сказала своимъ рокочущимъ голоскомъ:

— Какъ, однако-же, вы невѣжливы: я прохожу мимо, а вы и не удостоиваете меня даже кивкомъ головы!

— Я вѣдь съ вами не знакомъ, такъ зачѣмъ-же... пробормоталъ Ознобинъ, улыбаясь какъ пристыженный школьникъ, опершись обѣими руками въ ручки креселъ и слегка привставая, отчего качающееся кресло нагнулось впередъ и онъ едва удержался.

— А кто виноватъ, что мы раззнакомились? повернув-

шись къ Ознобину и ставъ передъ нимъ, проговорила Леконида.

— Судьба виновата, отвѣчалъ Ознобинъ, откидывая назадъ свою голову.

— Такъ я за судьбу не отвѣчаю. И если виновата судьба, то нѣтъ вамъ и причины въ чемъ-либо обвинять меня.

— Я не обвиняю васъ! поднимая очарованные глаза, пролепеталъ Ознобинъ; и онъ не могъ не поднять глазъ своихъ, — она стояла уже на шагъ отъ колѣнъ его, и ему казалось, что она въ эти полгода не только разцвѣла, но и выросла.

— Очень благодарна вамъ за вашу рекомендацію у Орѣшиныхъ. Пользуюсь случаемъ васъ лично благодарить. Можетъ быть, я и соглашусь на его предложеніе... Я всегда знала, что вы человѣкъ добрый и великодушный...

— Такъ-что, если-бы я былъ злой и малодушный, то, быть можетъ, вы-бы и не лишили меня вашего расположенія...

— Именно... не лишила-бы: злыхъ я не боюсь, а малодушныхъ заставляю бояться... Не будь вы добрый и наивно-честный человѣкъ, мнѣ были-бы смѣшны ваши претензіи — и только. Но... вы способны были не только смѣшить, но и злить меня...

— Я не знаю... можно-ли... э... (Ознобинъ уже началъ тянуть рѣчь свою, самъ того не замѣчая) э... можно-ли чувство, каково-бы оно ни было, называть претензіей.

— Да, сдвинувъ брови и кивнувъ головой, рѣзко отозвалась Леконида.—Можно, когда его навязываютъ.

— Да что вы за ребенокъ? Э... развѣ можно на васъ что-нибудь насильно навязывать! нѣсколько одушевляясь и сдѣлавъ жестъ обѣими руками, т. е. слегка разставивъ ихъ, не протягивая, заговорилъ Ознобинъ.—А если я надѣялся, такъ что-жъ изъ этого! Я и теперь надѣюсь...

— Вы?

— Я.

— На что?

— На все...

— Такъ вы значитъ неисправимы!!

— Неисправимъ... И попомните мое слово, что всѣ ваши теперешніе кавалеры, которые ногтя вашего не стоятъ, вамъ надоѣдятъ и опротивятъ; что вы хоть и увлекаетесь, но, рано или поздно, раскаетесь... и тогда...

— Тогда я приду и скажу вамъ: спасите меня, Ознобинъ, я погибаю! насмѣшливо произнесла Леканида.

— Придете и скажете... съ жаромъ подтвердилъ слова ея Ознобинъ.

— Никогда!

Леконида пожала плечами и отвернулась.

— Впрочемъ, ждите, пока я сама приду къ вамъ... Можетъ быть!.. А!.. Какой вы человѣкъ!.. Ну, если-бы вы разсуждали, вы-бы сами поняли, что между нами ничего нѣтъ общаго,—ни одной мысли вашей, ни одного взгляда вашего я не раздѣляю, ни въ чемъ вамъ не сочувствую и отрицаю то, передъ чѣмъ вы благоговѣете... Поняли-ли вы, наконецъ, что ни въ нашихъ характерахъ, ни въ нашихъ цѣляхъ — ничего нѣтъ общаго...

— Спасибо вамъ, что вы мнѣ все это говорите; но если вы наполовину честны, наполовину справедливы и наполовину добры, то что-нибудь одно—или эта половина восторжествуетъ въ васъ надъ другой половиной—надъ всѣмъ безчестнымъ, несправедливымъ и злымъ, или напротивъ... И, если случится первое,—то мы когда-нибудь другъ друга поймемъ, а если случится второе,—то—что-же дѣлать... Погибайте!..

Леконида стояла передъ нимъ холодная, какъ мраморъ, съ насупленными бровями и сверкающими, расширенными зрачками. Ей хотѣлось сказать ему, что онъ уже давно по-

гибъ въ глазахъ ея, погибъ для жизни, погибъ для мысли, погибъ для общества, погибъ для народа, для всего погибъ, и что не ему пророчить ей о какой-то погибели... Уже губы ея дрогнули, чтобы начать все это говорить ему, какъ вдругъ вошла Александра Александровна и со слезами на распухшемъ лицѣ схватила ее за руку.

— Ахъ, пойдемъ, сказала она,—пойдемъ, посмотри, кажется, она стала тяжелѣй дышать... Иванъ Несторовичъ! Другъ мой! Подите... или мнѣ это такъ кажется... Боже мой! Боже мой!..

Ознобинъ вскочилъ и поддержалъ ее подъ-руку.

Леконида бросилась въ спальную, гдѣ лежала больная малютка.

Въ полисадникѣ послышался добродушный голосъ Ерошина, разговаривавшаго съ сыномъ, котораго онъ засталъ роющимся въ пескѣ безъ всякаго присмотра.

ГЛАВА XXV.

Какъ мы знаемъ, Петя рѣдко читалъ газеты и, весь поглощенный своими домашними и учебными интересами, мало интересовался внѣшней политикой.

Въ этомъ случаѣ онъ ничѣмъ почти и не отличался отъ своихъ сотоварищей, съ тою только разницей, что иные изъ нихъ и безъ газетъ готовы были вѣрить всякому слуху и всякой домашней сплетнѣ, въ родѣ тѣхъ, какія были слышны зимой за обѣдомъ у Померанскихъ, по поводу вопроса: воевать намъ съ Турціей или не воевать, вступаться за славянъ или не вступаться...

Изъ газеты, которая попалась въ руки нашему Петѣ, онъ узналъ о турецкихъ звѣрствахъ, о возстаніяхъ въ Герцеговинѣ и Босніи, о волненіяхъ въ Болгаріи, о двусмысленной политикѣ Австріи, о появленіи генерала Черняева въ Сербіи... и проч... и проч...

Сербія готовилась къ войнѣ.

«Не уйти-ли и мнѣ туда... подраться съ этими живодерами-турками за славянъ, вмѣстѣ съ славянами, подумалъ Петя. — Убьютъ — и слава Богу, по крайней мѣрѣ не даромъ»...

И не мудрено, что такая мысль забрела ему въ голову.

Петя положительно не зналъ, что ему дѣлать... Учебники ему опротивѣли... до экзаменовъ нужно было дожидаться еще цѣлый годъ; онъ-же упрямо сознавалъ себя способнымъ хоть завтра-же ихъ выдержать. Ѣхать къ Орѣшинымъ въ деревню ему было стыдно. Орѣшинъ, думалъ онъ, никогда не повѣритъ, чтобъ онъ, не будучи лѣнтяемъ, могъ такъ скандально покончить свое гимназическое учебное поприще. Неожиданное появленіе Нади хоть и отодвинуло далеко на задній планъ всѣ его прежнія невзгоды и страданія, но то, что озарило дни его тепломъ и свѣтомъ, ничего не обѣщало ему въ будущемъ, кромѣ новой борьбы или новыхъ страданій... «Боже мой! Боже мой! сталъ иногда думать онъ, закрывая лицо руками или погружая въ подушку носъ свой. — Погибъ я... навсегда погибъ!.. Какъ можетъ любить или уважать меня эта дѣвушка, если я... я такой скотъ, такой болванъ!.. Не успѣла она пріѣхать, и что-жъ — дернула же меня нелегкая такъ отозваться о родной сестрѣ ея!.. Такъ наябедничать!.. Какое мнѣ дѣло до поведенія моей мачихи? И, что ще всего ужаснѣе, кто-же въ цѣломъ свѣтѣ больше всѣхъ заботится о моихъ матеріальныхъ нуждахъ, какъ не Мина Михайловна? Кто снабжалъ меня бѣльемъ, кто прислалъ мнѣ денегъ на экипировку... Она... и я очернилъ ее въ глазахъ молодой дѣвушки, въ глазахъ родной сестры! Въ любовныхъ шашняхъ очернилъ ее!.. О, пропащій я человѣкъ, пропащій! Да и какое мнѣ дѣло судить о другихъ... Развѣ я безукоризненнѣе велъ себя, развѣ я не поддался соблазну?.. И она это знаетъ! Да, да, да — она это знаетъ! Или сама эта дура Дунька ей на себя наговорила, или отецъ мой поста-

рался... И послѣ этого мнѣ еще думать, что я вправѣ ожидать взаимности!.. Нѣтъ, нѣтъ... Хоть она и добра и привѣтлива, она не можетъ не быть обо мнѣ самаго дурного мнѣнія... Я пошлякъ въ глазахъ ея... иначе и быть не можетъ!.. О! Какъ я хорошо понимаю вопросъ ея: «не поклониться-ли Дунѣ?».. А!..

Но Петя старался не думать о своемъ новомъ горѣ и положилъ заняться ежедневнымъ прочитываніемъ всѣхъ газетъ и затѣмъ, при первомъ удобномъ случаѣ, бѣжать въ Сербію и умереть или прославиться...

Прославиться и быть достойнымъ любви,—въ юные годы это почти-что одно и то-же. И чѣмъ юнѣе душа, тѣмъ ей легче жертвовать жизнію и легче вѣрить, что прославиться ничего не стоитъ, стоитъ только не бояться ни пуль, ни штыковъ, ни ранъ, ни смерти и преодолѣть всевозможныя опасности или препятствія.

Сколько людей, собою рискующихъ, думаютъ «панъ или пропалъ!» но не дѣлаются панами и не пропадаютъ, а доживаютъ вѣкъ свой, какъ и всѣ простые смертные, безъ всякой надежды попасть въ исторію... Иногда имя ихъ попадаетъ на страницы женскаго сердца, и это еще великое, не всѣмъ въ удѣлъ достающееся счастіе.

У Пети были еще въ карманѣ мелкія деньги; онъ закусилъ и продолжалъ читать газету... Всю ее прочелъ онъ съ первой строчки до послѣдней и все еще чего-то искалъ глазами.

И не замѣчалъ Петя, сидя въ углѣ на диванчикѣ, что уже прошло часа полтора, что опять стала скопляться публика и заходить въ буфетъ (кто за рюмкой водки, кто для того, чтобы закурить сигару), и что опять уже кассиръ, того гляди, что откроетъ свое занавѣшенное окошечко и начнетъ продавать билеты.

— Петя! Это ты, дружище! и къ Петѣ подошелъ бывшій его товарищъ Елкинъ, прозванный Поджабринымъ.

— А, Елкинъ! почему-то смутившись, отозвался Петя, положилъ на столъ газету и осмотрѣлся.

Высокій и не по лѣтамъ испитой Елкинъ, весь облеченъ былъ въ коричневый лѣтній костюмъ, при часахъ, съ фуляромъ, выглядывающимъ изъ бокового кармана, въ цилиндрѣ и съ тросточкой подъ мышкой. Онъ жевалъ бутербродъ и разглядывалъ Петю, повидимому съ особеннымъ удовольствіемъ, потому-что не нашелъ его въ воротникѣ съ серебряной тесьмою и съ кепи.

— Ты тоже на музыку... а?

— Нѣтъ, отвѣчалъ Петя,—я сейчасъ уйду...

— Поѣдемъ... запуская зубы въ бутербродъ, промямлилъ Елкинъ.

— Чего я тамъ не видѣлъ... да у меня и времени нѣтъ.

— Что-же ты дѣлаешь?

— Ничего не дѣлаю, а времени нѣтъ.

— Ха!..

Елкинъ прожевалъ свой бутербродъ, поглядѣлъ на входящихъ и вымолвилъ.

— Понимаю... Ишь какъ нарядился... я не сразу и узналъ тебя... Что никогда не зайдешь? Приходи завтра въ Демидронъ, я тамъ буду...

— Въ какой Демидронъ?

— Ха!.. Удивительный ты, братецъ, человѣкъ!.. Неужели ты еще и этого не знаешь?.. Какъ тебѣ не совѣстно... Приходи ко мнѣ — поѣдемъ вмѣстѣ... во-первыхъ, выпьемъ, воторыхъ—я тебя съ одной дѣвочкой познакомлю... Хочешь?.. Если твоя возьметъ—не буду въ претензіи... Въ этихъ вещахъ, я люблю, братецъ ты мой, по-пріятельски... Этого товару на всѣхъ достаточно... Къ тому-же, надо тебѣ сказать, я влюбленъ... Такую, братецъ ты мой, прелесть каждый разъ встрѣчаю на музыкѣ, что съума схожу... Должно быть, купеческаго рода... Говорятъ, пріѣхала съ теткой жениховъ искать... Поѣдемъ въ Павловскъ—я тебѣ покажу ее...

— Ну ее! Я не женихъ.

— Да вѣдь и я не женихъ... вотъ нашелъ дурака!.. А прикинуться женихомъ — почему нѣтъ... Я уже и пустилъ брандера... зашелъ въ ту самую булочную, куда ея горничная за булками ходитъ... Я ее, братецъ ты мой, выслѣдилъ... Захожу къ булочницѣ, спрашиваю сухарей, да и говорю, при этой самой горничной: Ахъ, чортъ возьми! говорю.— Тутъ, недалеко отъ васъ, въ деревянномъ желтомъ домикѣ, на балконъ выходитъ такая душка, что, будь я съ ней знакомъ, непремѣнно-бы посватался... Кто такая? спрашиваетъ... Да не знаю, говорю; а самъ тотчасъ-же пускаюсь описывать ее: росту средняго, говорю, шляпка голубая... перчатки свѣтло-коричневыя, зонтикъ бѣлый съ цвѣточками... Горничная стоитъ—чухна должно быть, ждетъ сдачи... ухмыляется... Непремѣнно-бы, говорю, посватался!.. Надоѣло, говорю, бобылемъ-то жить!.. Ну, вотъ увидишь, эта чухна горничная тотчасъ-же все это передастъ кому слѣдуетъ, и не сегодня, такъ завтра я познакомлюсь съ ней... Поѣдемъ, я тебѣ покажу ее...

— Извини, не могу сегодня.

— Ну, такъ завтра вечеромъ, около девяти, заѣзжай ко мнѣ... Посидимъ, потолкуемъ и отправимся въ Демидронъ... Пріѣдешь?.. А я все тамъ-же обитаю... помнишь, куда ты за алгеброй заходилъ ко мнѣ,—на Офицерской... Ба! Никакъ кассу отперли... Прощай, дружище... бѣгу за билетомъ...

Хотя между Петей и этимъ уличнымъ ловеласомъ ничего не было общаго, все-же Петя былъ радъ, что къ нему, провалившемуся на экзаменахъ, подошелъ и узналъ его—недавній товарищъ, одинъ изъ выдержавшихъ экзамены зрѣлости; и не только подошелъ, но ни слова объ этомъ недавнемъ прошломъ не упомянулъ ему, какъ-будто это было давнымъ-давно и какъ будто ученье, и эти экзамены такая вещь, о которыхъ и вспоминать-то не стоитъ.

Напрасно думаютъ нѣкоторые, что серьезные и, такъ-

сказать, нравственно-выдержанные мальчики чуждаются вѣтренныхъ и безнравственныхъ товарищей — или наоборотъ. Нерѣдко самая рознь ихъ характеровъ и воспитанья или ихъ нравственныхъ принциповъ взаимно привлекаетъ ихъ. Елкина нерѣдко тянуло къ Петѣ желанье направить его на путь истинный, иначе сказать — развратить; Петя же, въ свободныя минуты, радъ былъ, что у него подъ бокомъ вретъ и хвастается своими дешевыми побѣдами человѣкъ, который никогда его не спроситъ о томъ, что онъ думаетъ, что его волнуетъ или какое у него горе, такъ-какъ самъ никогда ни о чемъ не думаетъ и ничѣмъ не волнуется, — человѣкъ, по натурѣ совершенно ему чуждый и въ то-же время близкій, говорящій ему *ты* и ничѣмъ не стѣсняющійся въ его присутствіи...

Раза два, въ молодой жизни своей, Петя былъ ему обязанъ тѣмъ, что, внутренно смѣясь и, такъ-сказать, заражаясь его легкомысліемъ, самъ иногда смотрѣлъ на свою жизнь легче, а стало-быть, легче и выносилъ ее.

«Ну, отчего я не такой-же пролазъ, какъ и онъ, отчего я не рожденъ для такихъ-же похожденій? Можетъ-быть, и я былъ бы также доволенъ и прекраснымъ поломъ, и судьбой своей», думалъ Петя.

Кажется, стоитъ пожелать—и будешь такой-же. Какъ не такъ! И дуракомъ, и даже вѣтрненникомъ трудно сдѣлаться, не родившись ни дуракомъ, ни вѣтренникомъ—не только-что великимъ человѣкомъ или геніемъ, что, конечно, далеко не такъ пріятно, хоть, можетъ-быть, и завиднѣе.

Какъ-бы то ни было, Петя рѣшилъ, если на душѣ у него не будетъ легче, завтра-же отправиться къ Елкину и позволить ему вести себя, куда онъ хочетъ — хоть къ чорту на рога, хоть на шабашъ, гдѣ танцуютъ вѣдьмы, и «*жида съ лягушкою вѣнчаютъ*».

ГЛАВА XXVI.

Дома, на столѣ, Петю ожидала записка отца его, слѣдующаго содержанія:

«Тебя никогда дома нѣтъ. Приказываю тебѣ переѣзжать въ Павловскъ скорѣй какъ можно и занять тамъ отведенную комнату, — иначе въ городѣ кормись самъ, такъ-какъ я для тебя стола особеннаго держать не буду. Поздравляю съ выходомъ изъ гимназіи.

Отецъ твой А. Клинъ».

Клинъ писалъ удлиненными узкими буквами, нѣсколько крючковатыми, но писалъ разборчиво, особливо для тѣхъ, кто привыкъ къ рукѣ его. Записка была не запечатана и положена къ нему на столъ Михѣемъ.

Михѣй былъ трезвъ, потому-что у него не было ни копейки... Трезвый, онъ былъ пугливъ, молчаливъ и, въ надеждѣ на подачку, не въ мѣру старателенъ. Пьяный—онъ былъ смѣтливъ или золъ, хихикалъ или ругался, смотря по обстоятельствамъ. Передъ старымъ бариномъ онъ постоянно становился на вытяжку и глядѣлъ ему прямо въ глаза; къ Петѣ потерялъ уже значительную дозу уваженья и позволялъ себѣ иногда съ нимъ фамильярничать; Любовь Петровну ненавидѣлъ и считалъ ее почему-то главной виновницей всѣхъ бѣдъ своихъ, изъ которыхъ главная заключалась въ томъ, что та прятала ключи отъ рому и водки и, не смотря на такую строгость, безпрестанно обзывала его пьяницей.

— Ничего не прикажете? спросилъ Михѣй Петю, когда тотъ, прочитавъ записку отца своего, стоялъ въ раздумьи.

— Который часъ?

— Да ужь шестого четверть-съ. Папенька вашъ съ *часъ мпста* будетъ какъ уѣхали.

— Готовили что нибудь для обѣда сегодня или...

— А не знаю-съ... кажется, готовили-съ...

— Ну такъ дай мнѣ чего-нибудь закусить.

Черезъ четверть часа, Петю позвали въ чайную, тамъ нашелъ онъ свой приборъ, миску со щами и, съ разливной ложкой, Любовь Петровну.

Любовь Петровна была невесела.

— Слышали?—спросила она Петю.

— Что такое?

— Хочетъ, чтобъ вы безпремѣнно въ Павловскъ ѣхали... Напалъ на меня, точно я причина, точно я держу васъ здѣсь на привязи. Слушать-то тошнехонько, не то что...

— Не безпокойтесь, я скоро уѣду, холодно отвѣчалъ Петя.

Заморивши аппетитъ свой тарелкою щей и кускомъ вываренной въ нихъ говядины съ хрѣномъ, Петя всталъ, и не прошло десяти минутъ, какъ его уже не было дома.

На другой день съ утра онъ укладывался: досталъ откуда-то чемоданъ и уложилъ въ него все бѣлье свое, какъ черное, такъ и выстиранное. Холстинный мѣшокъ наполнилъ онъ своими книгами и тетрадями, туда-же вложилъ онъ и свою чернильницу, выливши чернила въ песочницу, вытеревъ ее клочкомъ оберточной бумаги и завернувши въ тряпку.

И Любовь Петровна, и Михѣй думали, что барченокъ собирается переѣзжать на дачу—и ему помогали.

Въ три часа Петя вышелъ, зашелъ къ N, гдѣ Надя наняла себѣ комнату, и узналъ, что Надежда Михайловна Баскова пріѣхала, но что теперь ее дома нѣтъ.

Петя ушелъ въ кондитерскую читать газеты.

Въ пятомъ часу, изъ кондитерской, онъ опять зашелъ къ ней, и ему опять сказали, что ее дома нѣтъ.

Послѣ скуднаго обѣда, Петя опять одѣлся (онъ очень берегъ свое платье и укладывался и обѣдалъ въ однихъ старыхъ гимназическихъ брюкахъ, даже безъ жилета и безъ галстуха). Одѣвшись, онъ вышелъ и пошелъ на Офицерскую искать Елкина (Поджабрина тожъ).

Вечеръ былъ тихій, душный, пыльный, и въ воздухѣ пахло не то паренымъ вѣникомъ, не то конюшней. Солнце еще стояло высоко... Экипажи попадались не часто, зато возы съ дровами, купленными съ барокъ, для отопленія казенныхъ зданій, обозы съ хлопкомъ и платформы запоздалыхъ дачниковъ, съ дешевой домашней утварью, то и дѣло мѣшали переходить съ одного тротуара на другой. Квартиры, выходящія на улицу, казались пусты... На дворахъ бѣгали ребятишки, съ заднихъ надворныхъ квартиръ выходили мастеровые или, на гулянье въ какой-нибудь садъ, принарядившіяся дѣвицы, на лицахъ которыхъ было написано: «мы идемъ, потому-что мы свое дѣло сдѣлали и намъ скучно... Авось и на нашу долю выпадетъ какое-нибудь интересное приключенье».

Елкина Петя засталъ отдыхающимъ на широкомъ диванѣ, въ однихъ нитяныхъ носкахъ и подтяжкахъ.

— Знаешь, въ которомъ часу я всталъ сегодня? такимъ вопросомъ встрѣтилъ онъ Клина.

— Не знаю.

— Въ четвертомъ часу... Такъ съ тѣхъ поръ и не выходилъ... Ты представить себѣ не мошежь, какъ провелъ я ночь... Вотъ ужь именно, братецъ ты мой, жизнь свою подвергалъ опасности.

— Какимъ это образомъ?

— Не спросясь броду — да сунулся въ воду... Если-бы не кухарка-нѣмка—не вышелъ-бы живой... Дернулъ-же чортъ въ третьемъ часу ночи пріѣхать мужу... Никто и не ожидалъ его, подлеца... Вообрази себѣ мое положеніе!

Тутъ Елкинъ началъ разсказывать, въ какомъ онъ былъ положеніи; но я не нахожу никакой возможности передать моимъ читателямъ, въ особенности читательницамъ, разсказъ его.

Это было комичное и въ то-же время очень скабрезное происшествіе...

Елкинъ разсказывалъ и объ ужасѣ той барыни, которая вдругъ ночью услыхала шаги мужа, раздавшіеся въ сосѣдней комнатѣ,—и о своемъ бѣгствѣ черезъ корридоръ въ кухню, куда, черезъ часъ, невидимой рукой были выброшены его платье и обувь,—и о томъ, какъ стукнули о полъ сапоги его и какъ онъ вздрогнулъ,—и о томъ, какъ хихикала кухарка, которая оказалась ничуть не хуже барыни... И все это разсказывалъ Елкинъ не торопясь, вдаваясь въ мельчайшія подробности и совершенно серьезнымъ тономъ. Петя смотрѣлъ на него, какъ на человѣка въ самомъ дѣлѣ рискующаго собой, ради плезиру; смотрѣлъ съ нѣкоторой завистью и соболѣзнованіемъ, что еще больше подстрекало Елкина къ пріятельской откровенности.

Елкинъ, какъ видно, былъ не бѣдный, двадцати-двухълѣтній юноша. Квартирка его небольшая, но очень приличная, хотя онъ этого и не говорилъ, не была его собственной — онъ жилъ у тетки, которая была его крестной матерью. Тетка эта была въ деревнѣ, и Елкинъ одинъ въ ея квартирѣ хозяйничалъ. Угостилъ Петю чаемъ и, заговоривши его часовъ до 10-ти, спросилъ: «а что, ѣхать-ли намъ въ Демидронъ, или не ѣхать?»

— Лучше ужь не ѣхать, сказалъ Петя,—ты усталъ, ишь лицо какое измятое...

— Гм! Не ѣхать! А что, если поѣдемъ? Ты не гляди, что у меня лицо измятое,—я братъ, неутомимый.

— Ну, поѣдемъ, сказалъ Петя. Ему было все равно, куда-бы ни ѣхать, хоть въ глубинѣ души своей онъ чувствовалъ нѣчто похожее на стыдъ и угрызеніе.

— Да ужь, я думаю, что надо будетъ поѣхать,—не сидѣть-же здѣсь въ духотѣ. Выпьемъ бутылочку шампанскаго, и ты увидишь, какъ это освѣжаетъ.

— Ну, братъ, я не буду пить,—гдѣ намъ такъ роскошничать! У меня и денегъ нѣтъ.

— У меня у самого не золотыя горы, братецъ ты мой...

ну, да хватитъ еще на нынѣшній вечеръ. Погоди, я сейчасъ умоюсь—вѣришь-ли, еще не умывался. Оттого, братецъ ты мой, и измятымъ кажусь тебѣ...

Онъ перешагнулъ въ свою спальню, гдѣ стоялъ умывальникъ, и, не переставая болтать, пустилъ струю воды, взялъ мыло, засучилъ рукава и сталъ себѣ руки мыть; потомъ вымылъ лицо, потомъ завернулъ это лицо въ полотенце и не столько вытеръ, сколько высушилъ физіономію.

— Такъ вытираться выучилъ меня дядюшка Алтынниковъ... Вѣришь-ли, братецъ, еле ходилъ, оплешивѣлъ, опаршивѣлъ и ни единой морщины!

Говоря это, онъ развернулъ полотенце и высунулъ изъ двери лицо свое.

— Теперь, братецъ ты мой, надо напомадиться. Ты никогда не помадишься?

И онъ опять вернулся въ свою гардеробную.

«Чортъ знаетъ, подумалъ Петя,—неужели это тотъ самый долговязый гимназистъ, котораго всѣ мы называли Поджабринымъ, который долбилъ латинскія фразы, такъ плохо учился по-гречески и такой былъ мастеръ подсказывать.

Медленно причесывался и одѣвался Елкинъ; наконецъ, причесанный и одѣтый модникомъ, вышелъ къ Петѣ.

— На внѣшность, и только на внѣшность, братецъ ты мой, женщины обращаютъ свое вниманіе. Костюмъ, воротнички, чистые ногти, перчатки, это, братецъ ты мой, для нихъ главное, все остальное вздоръ, даже и красоты не надо... Вотъ ты увидишь... Но, по дружбѣ, я скажу тебѣ... очень мнѣ это въ тебѣ не нравится, что ты собою не занятъ—вонъ палецъ выпачканъ. Покажи... что это... чернильное пятно?

— Должно быть, чернильное... Сегодня я чернильницу мылъ; должно быть, запачкалъ.

— Ну, и скверно! Ты что думаешь? Нынче и дѣвчонки—и тѣ на это обращаютъ вниманіе. А перчатки есть?

— Никогда... отвѣчалъ Петя, чуть не съ негодованіемъ.

— Ты вспомни, Петя, ты уже не гимназистъ теперь... И если ты хочешь успѣвать, братецъ ты мой...

— Да не хочу я успѣвать! уже съ досадой произнесъ Петя.

— Ну, не хочешь, какъ хочешь, согласился Елкинъ,— ѣдемъ!

ГЛАВА XXVII.

Было уже около часу пополуночи. Въ маленькой квартиркѣ Нади штора на окнѣ была спущена и на столикѣ горѣла свѣчка. Она только что кончила переписку какого-то конспекта, записала въ записную книжку нѣсколько адресовъ и стала раздѣваться.

Раздавшійся вдали звонокъ нисколько не удивилъ ее. Кто-же лѣтомъ, съ острововъ и съ дачъ, не возвращается поздно? Она-же и не успѣла еще узнать своихъ сосѣдей... Хозяйка говорила ей, что у ней живутъ люди смирные: одинъ помѣщикъ, одинъ студентъ, одна курсистка и одинъ офицеръ. Въ эту ночь, если не всѣ жильцы, то, вѣроятно, большинство ихъ отсутствовало. За стѣнами, въ сосѣднихъ комнатахъ, Надѣ не было слышно ни шаговъ, ни шороха, ни говора... Такъ было тихо, что стукъ колесъ изъ экипажей раздавался въ комнатѣ Нади, точно окно ея выходило не на дворъ, а на улицу.

Вслѣдъ за звонкомъ, минуты черезъ двѣ или три, въ комнату къ Надѣ постучалась сонная горничная и спросила ее, можно-ли войти къ ней.

— Что такое? полураскрывъ дверь, спросила Надя.

— Тотъ самый, что былъ у васъ, какъ вещи ваши привезли.

— Ну?

— Спрашиваетъ—можно-ли войти.

— Кто такой... Клинъ?

— Петръ Егорычъ, говоритъ.

— Скажи ему, что я спать ложусь...

— Сегодня онъ два раза былъ и васъ спрашивалъ...

— Скажи ему, что завтра утромъ, до 11 часовъ, я буду ждать его.

Горничная пошла обратно въ переднюю.

Надя была недовольна такимъ позднимъ посѣщеніемъ Пети и, расчесывая на ночь волосы, ходила по комнатѣ отъ стола къ холодной желѣзной печкѣ,—отъ печки къ столу, но и трехъ разъ не успѣла она прогуляться такимъ образомъ, какъ опять вошла горничная и сказала:

— Не уходитъ, хочетъ непремѣнно видѣть васъ.

— Скажи ему, что не могу принять его... или постой, скажи ему, чтобъ онъ въ передней подождалъ меня—я къ нему выйду.

Надя накинула на себя вышитую ночную кофточку, одну изъ подаренныхъ ей въ первый день святой недѣли, еще въ Рязани, въ томъ домѣ, гдѣ жила она, взяла свѣчу и, съ распущенной косой, по узенькому корридору, прошла въ переднюю или комнату безъ оконъ, гдѣ стояла вѣшалка и какіе-то пустые деревянные ящики съ клеймами.

Петя сидѣлъ на одномъ изъ этихъ ящиковъ, былъ блѣденъ какъ полотно, глаза его горѣли, и шляпа въ рукѣ его была также неподвижна, какъ и весь онъ. Появленіе Нади со свѣчей, почти въ томъ-же видѣ, въ какомъ онъ впервые увидалъ ее въ квартирѣ отца, казалось сильно поразило его воображеніе. Но и Надя была поражена дикимъ взглядомъ и его неподвижностью.

— Петя! Это ты! Что тебѣ?.. Зачѣмъ ты?

Петя глядѣлъ на нее и не двигался.

— Да что съ тобой? дрогнувъ сердцемъ, проговорила Надя, ближе освѣтивъ лицо его и поглядѣвъ ему въ глаза.

— Прощай! сказалъ Петя.—Мы больше не увидимся....

— Отчего? испуганно спросила Надя.

— Оттого́, что я безумецъ, оттого, что я безумно полюбилъ тебя...

Надя дрогнула и какъ-бы застыла на мѣстѣ. Затѣмъ, она оглянулась... Горничной не было, должно быть спать легла.. только за дверью, въ комнатѣ хозяйки, кто-то кашлянулъ...

— Петя, ты съума сошелъ...

— Да, сошелъ... но вѣдь мы больше не увидимся. Ты даже въ комнату свою не хочешь пустить меня...

— Меня здѣсь никто не знаетъ, и что подумаютъ, если я поздно по ночамъ буду принимать къ себѣ, да еще влюбленныхъ! Петя, утро вечера мудренѣе,—приходи завтра или напиши мнѣ письмо; я по чистой совѣсти буду отвѣчать тебѣ... по чистой совѣсти. Если ты мнѣ вѣришь, если ты не пересталъ еще уважать меня, то уйди...

— Надя, ты меня не презираешь?

— За что я буду презирать тебя?

Петя дышалъ тяжело—онъ былъ какъ-бы въ лихорадкѣ. Ей стало нестерпимо жаль его, она колебалась, не пригласить-ли его къ себѣ въ комнату, не успокоить-ли, не обласкать-ли...

Но въ комнатѣ хозяйки опять послышался кашель.

— И какъ это ты могъ подумать, что я тебя презираю!.. Я какъ близкаго, какъ роднаго, какъ друга люблю тебя, и ты это знаешь, и приходишь ко мнѣ ночью... И Богъ-знаетъ что приходитъ тебѣ въ голову... Здѣсь слышно каждое наше слово... То-же я думаю и въ моей комнатѣ... Завтра, Петя, или ты приди ко мнѣ или я приду къ тебѣ,—мы поговоримъ обо всемъ... Поговоримъ хладнокровно, спокойно, никто намъ не помѣшаетъ... Когда ты переѣзжаешь въ Павловскъ?

— Я, въ Павловскъ! Никогда! какъ-бы очнувшись, проговорилъ Петя.

Надя опять поглядѣла на него, слегка пожала плечами и задумалась.

— Хорошо, это твое дѣло,—прощай, мой милый. Завтра...

Петя протянулъ ей руку,—рука была холодна какъ ледъ.

— Мы оба сегодня будемъ плохо спать... Прощай и не забудь честнаго слова, которое ты далъ мнѣ.

— Какое честное слово?

— Что-бы ни было—беречь себя для будущаго... Все наше въ будущемъ. Все, все, даже любовь моя...

Отстранивъ одной рукой свѣчу, чтобъ не подпалить ею падающихъ на плечи волосъ своихъ, она подошла къ нему, наклонилась, поцѣловала и чуть не вскрикнула—свѣча упала на полъ и погасла. Надя почувствовала себя въ крѣпкихъ судорожныхъ объятіяхъ.

Похолодѣвшими губами припалъ онъ къ ея назадъ откинутой шеѣ...

Съ неимовѣрною силой оттолкнувъ его, съ закружившейся головой, шатаясь въ темнотѣ по узенькому корридору, ушла она въ свою комнату и, увидѣвъ изъ-за опущенной шторы разсвѣтъ, заперла на задвижку дверь свою.

Изъ комнаты-же, гдѣ жила хозяйка, въ темную переднюю отворилась дверь, и въ бѣломъ балахонѣ появилась фигура старухи, тоже со свѣчей въ рукахъ.

Петя увидѣлъ скуластое лицо, съ отвислымъ подбородкомъ, черную на щекѣ заплатку, круглые испуганные глаза и услыхалъ дрожащій голосъ:

— Кто тутъ? Татьяна! Татьяна!

— Я ухожу, велите вашей горничной затворить за мной двери, сказалъ Петя и, сбѣжавъ съ невысокой лѣстницы, очутился на пустомъ мощенномъ дворѣ, освѣщенномъ утренней зарею.

«Что это? Или я пьянъ?» подумалъ Петя, проходя въ сквозные ворота съ отворенной калиткой, мимо спящаго на скамейкѣ дворника.

Гдѣ-то пѣли пѣтухи... гдѣ-то какъ-будто звонили, откуда-то доносился грохотъ несущихся дрожекъ.

Петя шелъ домой, какъ во снѣ, и почти не сознавалъ, что съ нимъ было, гдѣ онъ и почему онъ на улицѣ. Только ныла душа его.

ГЛАВА XXVIII.

На другой день, въ обѣденное время, Егоръ Антоновичъ Клинъ зашелъ къ себѣ на квартиру, чтобъ, запеpевшись въ своемъ кабинетѣ, заняться кое-какими счетами.

— Что, Петя, еще не уѣзжалъ въ Павловскъ? спросилъ онъ Михѣя.

— Сегодня-же утромъ изволили уѣхать-съ.

— А!

— Утромъ, сегодня-съ.

— Да что ты мнѣ повторяешь, дуракъ,—слышу, что сегодня утромъ.

Въ тотъ-же день, къ обѣду, Егоръ Антоновичъ возвратился въ Павловскъ на дачу. За столомъ онъ спросилъ:

— А гдѣ-же Петька?

— Онъ не пріѣзжалъ, сказала Мина Михайловна.

— Гм! Въ городѣ и Михѣй, и твоя Любовь Петровна заявили мнѣ, что съ утра онъ съ ними простился и поѣхалъ къ намъ на дачу.

Ксенія вопросительно поглядѣла на старика, потомъ на мать свою.

Прошло съ тѣхъ поръ трое сутокъ, и Мина Михайловна получила письмо отъ сестры своей слѣдующаго содержанія:

«Если Пети нѣтъ у васъ въ Павловскѣ, какъ объ этомъ заявилъ на дняхъ Егоръ Антоновичъ, то его и въ Петербургѣ нѣтъ—онъ исчезъ. Употребляю съ своей стороны всѣ усилія, чтобъ разъискать, куда онъ дѣвался. Наканунѣ своего исчезновенія, онъ заходилъ ко мнѣ поздно вечеромъ, и въ такомъ возбужденномъ состояніи, въ какомъ я никогда его не видала. Онъ заходилъ прощаться, говорилъ, что мы никогда не увидимся. Меня мучаетъ совѣсть, зачѣмъ я его не разспросила и даже не позвала къ себѣ въ комнату. Но мнѣ казалось, что онъ просто бредитъ, и я не давала вѣры сло-

вамъ его, по крайней мѣрѣ, въ ту минуту нисколько о нихъ не думала. Меня утѣшаетъ мысль, что онъ взялъ съ собой чемоданчикъ и мѣшечекъ съ книгами. Не значитъ-ли это, что онъ переѣхалъ на дачу къ кому-нибудь изъ своихъ пріятелей? Ты себѣ представить не можешь, какъ мнѣ жаль этого молодого человѣка... Въ немъ бродятъ великія силы, и дай Богъ, чтобъ силы эти не погибли... Я занята и раньше воскресенья не могу быть у васъ. Цѣлую Ксенію и кланяюсь твоему мужу.

«Прощай. Сестра твоя, Надя».

ГЛАВА XXIX.

Духовъ получилъ разрѣшеніе открыть пансіонъ для мальчиковъ, готовящихся къ поступленію въ низшіе или средніе классы классическихъ гимназій и нанялъ квартиру въ одной изъ людныхъ петербургскихъ улицъ. Школьная мебель—косые столы и черныя доски были заказаны. Нужны были деньги, и, на первыхъ порахъ, Володя Померанскій помогъ ему. Но какъ это могло случиться? Очень просто: Анна Егоровна жаловалась Володѣ на свои стѣсненныя обстоятельства, и Володя, который у дяди Григорія занялъ лишнюю тысячу, тотчасъ-же предложилъ ей взаймы деньги на честное слово и безъ процентовъ. Рѣдкое великодушіе!.. Но люди, одержимые бѣсомъ страсти, бываютъ, какъ извѣстно, еще великодушнѣе. Есть пороки, которые сродни кой-какимъ добродѣтелямъ и иногда вызываютъ ихъ. Володя огорчилъ свою маменьку — отказался держать переходные экзамены; зато занятыхъ денегъ не прокутилъ, а самоотверженно предложилъ ихъ Аннѣ Егоровнѣ. Анна Егоровна поступила на этотъ разъ съ удивительнымъ тактомъ,—тотчасъ-же позвала мужа и сказала ему: «вотъ этотъ милый молодой человѣкъ знаетъ, что мы затѣваемъ открыть пансіонъ и предлагаетъ намъ 800 рублей, и даже безъ процентовъ. Не правда-ли

это очень мило»! При этомъ и Анна Егоровна, и мужъ ея, и Володя, всѣ покраснѣли, всѣмъ было чего-то совѣстно...

Духовъ, конечно, пожалъ руку великодушному молодому человѣку, попросилъ привезти деньги, и такъ какъ приэтомъ Володя непремѣнно пожелалъ не росписки, а векселя — Духовъ сначала помялся, потомъ согласился и на эту операцію.

— Вотъ, если-бы вы не позвали вашего мужа, я-бы вамъ и безъ росписки далъ, а мужу вашему не дамъ... проговорилъ не безъ досады Володя, повѣсивъ длинный дядинъ носъ и исподлобья поглядывая на влажныя, слегка улыбающіяся губы Анны Егоровны... Онъ никогда еще не видѣлъ въ глазахъ ея такого кокетливаго, такъ сказать, заигрывающаго огонька или выраженія...

— Вѣдь эти деньги ваши пойдутъ на расходы по пансіону: стало быть, все-же я отдала-бы ихъ мужу, ну, и онъ-бы меня спросилъ, гдѣ я ихъ взяла... Я-бы, конечно, сказала, что получила отъ васъ, и онъ,—Богъ знаетъ, что-бы подумалъ... ревновать-бы сталъ, а я этого не хочу... Можно и безъ этого обойтись...

Володя вскинулъ носъ свой, встряхнулъ волосами, пристально поглядѣлъ ей въ прищуренные глазки и сказалъ:

— Вы умница! Дайте мнѣ вашу ручку...

Это было тому назадъ слишкомъ мѣсяцъ. Съ тѣхъ поръ воды много утекло,—утекло много воды для дѣйствующихъ лицъ моего разсказа, но не для общества, которое предчувствовало войну и волновалось, никуда не двигаясь.

Тотъ, кто помнитъ это время и, не лишенный способности волноваться, могъ вращаться въ разныхъ слояхъ нашего общества,—тотъ, конечно, никогда не забудетъ той путаницы, которая происходила въ головахъ и сердцахъ нашей интеллигенціи. Одни были противъ войны и, въ случаѣ войны, угрожали Россіи всякаго рода бѣдствіями. Другіе—за войну, и еще пущими бѣдствіями угрожали Россіи, если она не вступится за Сербію и Болгарію; и несомнѣнно, что за войну

было большинство. Не даромъ сосѣдка Клина (по дачѣ), женщина среднихъ лѣтъ, барыня съ вѣсомъ, какъ и подобаетъ быть супругѣ государственнаго мужа,—не разъ послѣ обѣда выходила на балконъ къ своему мужу и гостямъ его, отвѣдывающимъ всякаго сорта послѣобѣденные ликеры, и говорила имъ: «ради Бога, вспомните, что не далеко улица, будьте поосторожнѣе—все слышно...» И дѣйствительно, хоть хорошій обѣдъ и располагалъ къ храбрости, нужно было осторожно высказывать все, что тогда приходило въ голову нашимъ патріотамъ, прогрессистамъ и политикамъ.

— На кой-же лядъ, кричалъ одинъ,—насъ восемьдесятъ милліоновъ!.. Развѣ мало у насъ войска, не для парадовъ-же оно, чортъ возьми! голосилъ другой.—Тамъ рѣжутъ младенцевъ, жгутъ и терзаютъ. Даже англичане, «подлецы»! приходятъ въ содроганіе и начинаютъ кричать... а мы... мы будемъ издали смотрѣть, трусить, поджимать свой хвостъ и любоваться... Тьфу!..

Въ этомъ родѣ было не мало рѣчей, и авторъ не разъ имѣлъ случай собственными ушами ихъ выслушивать...

Но, какъ мы знаемъ, нашъ почтенный Егоръ Антоновичъ Клинъ, хоть онъ и мѣтилъ въ государственные дѣятели, былъ совершенно чуждъ всѣхъ этихъ треволненій и велъ свою собственную политику. Онъ причислялъ себя къ числу здравомыслящихъ, такъ сказать, закаленныхъ въ благонамѣренности, и потому паче всего заботился о своемъ карманѣ. Но такъ какъ и честолюбивыя мысли были не чужды артистической душѣ его,—въ надеждѣ на протекцію, съ большимъ нетерпѣніемъ ожидалъ онъ пріѣзда Тютина и былъ огорченъ извѣстіемъ, что онъ пріѣдетъ не раньше осени. И если война съ Турціей была ему желательна, то только потому, что давала ему возможность выступить на болѣе широкое поприще; онъ-же былъ увѣренъ, что начальство ему довѣряетъ, имъ дорожитъ и, такъ сказать, уважаетъ его солидныя качества... Что болтаютъ дачники-сосѣди — объ этомъ онъ мало забо-

тился. Отчего-же такъ озабоченно, такъ сурово и такъ мрачно лицо его?

Новость, что Петя самовольно вышелъ изъ гимназіи и куда-то исчезъ—можетъ быть утопился или, что еще хуже, присталъ къ нигилистамъ,—сильно тревожитъ нашего почтеннаго Егора Антоныча.

Надя-же Баскова, сестрица жены его, какъ нарочно, чтобъ еще пуще растравить его родительское сердце, по секрету разсказываетъ ему, какъ Петя собирался угаромъ уморить себя и какую записку нашла она у него на столѣ...

—Если-бъ я не пріѣхала къ той ночи, у васъ не стало-бы сына... говоритъ она ему, и при этомъ сама такъ блѣдна и встревожена, чтто старый Клинъ, косясь на нее, чувствуетъ въ душѣ своей нѣчто вродѣ тоски или угрызенія совѣсти...

— Пожалуйста, узнайте, говоритъ онъ Надѣ,—взялъ-ли онъ изъ гимназіи свои документы... Если взялъ, значитъ, уѣхалъ... Но на какія средства!.. Зуевъ... Гм... Да, я и забылъ, вы еще не знаете Зуева. Зуевъ видѣлъ его въ Демидовомъ саду съ какимъ-то франтомъ, и видѣлъ его въ партикулярномъ платьѣ... Откуда у него вдругъ взялось партикулярное платье?..

Надя думаетъ, должна-ли она выдать сестру свою... и говоритъ: у него не было денегъ, и я, насколько могла, помогла ему.

Вы? А кто просилъ васъ помогать ему?

— Если съ вами сдѣлается ударъ или хоть обморокъ, я не буду ни у кого справляться: помогать вамъ или не помогать—помогу, насколько буду въ силахъ...

Клинъ не безъ злости глядитъ на дѣвушку, которая, сложивъ на груди руки, неподвижно сидитъ въ уголкѣ террасы, опершись спиной въ наружную, сѣрой краской выкрашенную стѣну дачи, и, какъ кажется, нисколько не думаетъ о томъ, какое впечатлѣніе производятъ слова ея на вспыльчиваго Егора Антоновича.

Егоръ Антоновичъ допиваетъ послѣднюю кружку пива, и когда Надя выходитъ въ сад (гдѣ давно уже поджидаетъ ее Ксенія), закрываетъ глаза и думаетъ: «Петька, каковъ-бы онъ ни былъ, а все-таки онъ мнѣ дороже ихъ, дороже и этой шлюхи—жены моей. Дочь ушла... сынъ порѣшилъ съ собой... Но я-ли виноватъ?.. Я-ли виноватъ, что онъ не выдержалъ экзамена!.. А что если меня и въ самомъ дѣлѣ кондрашка хватитъ!.. Типунъ ей на языкъ—этой дѣвчонкѣ! Хоть-бы замужъ скорѣй выходила... Что Зуевъ, дуракъ, не женится!.. За женой моей ухаживаетъ, что-ли?.. А чортъ ихъ знаетъ... Никому я не вѣрю, никому!..»

На другой день въ Павловскъ, какъ-разъ послѣ обѣда, совершенно неожиданно явилась Анна Егоровна Духова. Не въ духѣ застала она своего родителя, который утромъ посылалъ въ гимназію и узналъ, что Петя не взялъ ни аттестата, ни бумагъ своихъ.

«Что-же это значитъ? думалъ онъ.—Что-же все это значитъ? Неужели удралъ за-границу съ чужимъ паспортомъ? Этого еще не доставало»!

Сначала онъ сухо принялъ Анну; но затѣмъ мысль, что она привезла съ собой извѣстіе о братѣ, заставила смягчиться и посадить ее.

— А гдѣ-же наша милая Мина Михайловна? спросила Анна.

— Ну, милая Мина Михайловна не пропадетъ; она сейчасъ выйдетъ и будетъ звать васъ на музыку. Безъ музыки мы не можемъ—ужь такая пасія у насъ... Ну, а куда пропалъ братъ твой Петька?

— Петя? Куда пропалъ? Какъ пропалъ? Развѣ онъ не при васъ, не съ вами? удивилась Анна.

— Такъ ты и этого не знаешь?

— Нѣтъ, папа, я этого не знала... это меня удивляетъ, папа...

— Сбѣжалъ! Знать ужь такая судьба моя!.. Дочь сбѣжала, сынъ...

— Папа, не напоминайте, я раскаиваюсь... Ахъ, если-бы вы знали, какъ я раскаиваюсь!.. Мой мужъ очень хорошій человѣкъ, смирный, умный; но думала-ли я, что всѣ хлопоты по устройству этого пансіона, всѣ заботы падутъ на меня, и что я должна, во что-бы то ни стало, выручить его. Ахъ, папа, какъ это тяжело... Здравствуйте, maman! и Анна бросилась цѣловать руки своей мачихи, которая, услыхавъ ея голосъ, вышла изъ своей комнаты.

— Ну, вотъ, Мина Михайловна, какъ вы говорили, такъ мы и поступили.

— Что такое?

— Наняли большую квартиру и открываемъ частный пансіонъ.

— Для дѣвочекъ?

Анна замялась—что сказать? Она очень хорошо помнила, что Мина Михайловна ей совѣтовала открыть пансіонъ для дѣвочекъ.

— Ну, да... и... для дѣвочекъ... пробормотала она и еще нагнулась, чтобы поцѣловать въ плечо свою милую maman, или мачиху.

— Напрасно для дѣвочекъ, мальчики лучше, замѣтила Мина, не думая въ эту минуту ни о мальчикахъ, ни о дѣвочкахъ.

— Все едино... отозвался Клинъ, — что дѣвчонки, что мальчишки, всѣ дрянь: никто теперь не уважаетъ и не боится своихъ родителей.

— Я всегда уважала, всегда боялась васъ, и теперь... даже теперь боюсь... не безъ чувства, искреннимъ голосомъ проговорила Анна.

— И все-таки пріѣхала съ тѣмъ, чтобы попытаться: дескать не дастъ-ли папенька денегъ.

— Какъ мнѣ ни тяжело, какъ ни трудно мнѣ думать, что

можетъ быть наше предпріятіе, такое выгодное, такое полезное во всѣхъ отношеніяхъ, кончится ничѣмъ, — что мы только войдемъ въ долги и окончательно раззоримся,— какъ это ни тяжело, но я не съ тѣмъ пріѣхала, чтобъ напоминать вамъ о деньгахъ: знаю, что вы не дадите... Зачѣмъ-же просить?

— А можетъ быть дамъ, сказалъ старикъ, какъ-бы себѣ подъ носъ.

Анна, не ожидая этихъ словъ, замѣтно дрогнула.

— Это воля ваша, но я просить не буду...

— А я не дамъ, коли не попросишь... Попросишь—дамъ, а не попросишь—значитъ, отъ убытка и Богъ избавилъ...

Анна даже поблѣднѣла, такъ стало ей страшно сказать что нибудь не впопадъ, какъ нибудь, неудачнымъ словцомъ разсердить своего мудренаго родителя.

— А если я за нее попрошу? сказала Мина Михайловна.

— Ты?.. Совѣтую тебѣ не вмѣшиваться... Помогай ты, если ты богата... Я тебѣ не мѣшаю...

— Ну, и мы тебѣ не мѣшаемъ, сказала Мина и, повернувшись къ мужу спиною, увела Анну въ свою комнату.

— Повѣрьте, Анна Егоровна, что я хорошо сдѣлала, что увела васъ. Одна минута, одно словцо, которое-бы ему не понравилось, и все кончено. Я и теперь еще не надѣюсь, чтобъ онъ что нибудь далъ вамъ... Я-бы съ особеннымъ удовольствіемъ помогла вамъ, душа моя, но скоро сама буду безъ копейки... и это меня ужасаетъ... Какъ я буду жить!.. Вѣдь я до сихъ поръ живу, т. е. обуваюсь и одѣваюсь, на свой счетъ, вѣрите-ли вы? Одна надежда на пріѣздъ моего стараго друга, Тютина: онъ имѣетъ на мужа моего огромное вліяніе, огромное! Вѣрите-ли вы этому, душа моя?.. Но, не хотите-ли черносливу? Отличный! Я его покупаю у грека... Ну, разсказывайте, что новаго? Да разскажите все, что знаете, про Петю... Правда-ли, что онъ ушелъ въ Сербію, турокъ бить?

— Въ Сербію... турокъ бить!?.. удивилась Анна.

— Ну, да... къ этому, какъ бишь его... ну да, къ этому Черняеву... знаете?

— Кто-же вамъ это сказалъ?

— Это предположеніе моей сестрицы, которой вы еще не знаете, душа моя. Моя Ксенія только и твердитъ объ этомъ... Одинъ папаша ничего не знаетъ... Да что ему говорить! — Еще, пожалуй, вообразитъ, что это мы его снарядили, да отправили...

А въ это время старый Клинъ ушелъ въ свою комнату, слушалъ какъ по кровлѣ барабанилъ дождикъ и думалъ:

«Дамъ ей на разживу двѣ тысячи и чортъ съ ней — пусть не поминаетъ лихомъ. Я не обязанъ... Ну, да ужь куда ни шло... Думаютъ, что я скупой. Вотъ и Петя воображалъ, что я трясусь, какъ скряга, надъ каждой копейкой. Дуракъ!»

И опять мысль о Петѣ засѣла у него въ головѣ.

Анна пробыла на дачѣ у отца до 10 часовъ вечера. Въ одинадцатомъ часу она послала за извощикомъ, надѣла шляпку и вошла къ своему родителю.

— Прощайте, папа, я ѣду.

— А деньги нужны? спросилъ онъ, сидя въ халатѣ и туфляхъ.

— Ахъ! Кому они не нужны! вздохнула Анна.

— А попросить—языкъ отсохъ.

— Не хочется безпокоить...

— А!.. Не хочется, прохрипѣлъ старикъ.—Не хочется!.. Дескать, отецъ скряга, надъ каждой копейкой трясется; хоть колъ у него на головѣ теши—не дастъ.. такой-сякой! А!.. Не такъ-ли, дочка?.. А?

— Вы подумаете, что я только для этого и пріѣхала... Это обидно! и Анна заплакала.

И, надо отдать ей справедливость, заплакала кстати.

— На, сколько могу—возьми, дома сосчитай... Прощай!..

Онъ сунулъ ей въ руку пачку депозитокъ и отвернулся.

Анна молча поцѣловала его въ голову... Сердце у ней билось, и рука, которая въ карманъ опустила деньги, трепетала. Она боялась, что у нее эти деньги отнимутъ. Она боялась, что это сонъ, что вотъ-вотъ она проснется и ничего не будетъ.

— Папа... спасибо вамъ. А знаете вы, гдѣ Петя?

— Петя... гдѣ?

— Я сейчасъ слышала отъ вашей жены, что онъ ушелъ въ Сербію—драться съ турками...

— Какъ?!

Но Анна уже выпорхнула въ другую комнату, со всѣми расцѣловалась и уѣхала.

Въ Петербургѣ, на царскосельской станціи, Володя Померанскій ждалъ Анну, и когда пришелъ длинный и многолюдный поѣздъ, онъ, въ толпѣ, у самыхъ дверей, поймалъ ее за руку.

— Ну, что? спросилъ онъ.

— Ничего! отвѣчала Анна.

— На что-же вы рѣшаетесь?

— Отдайте мнѣ вексель мужа, и я рѣшусь на рандеву, только не сегодня.

— Или сегодня, или никогда.

— Завтра, въ одиннадцать часовъ утра, я буду въ пассажѣ... Слышите... пролепетала Анна, слегка склонясь къ плечу долговязаго юноши.

— Я нанялъ карету, и въ каретѣ довезу васъ до дому.

— Ни за что въ каретѣ!

— Слышите, какой дождь, такъ и льетъ.

— Я не растаю—я желѣзная.

Послѣдними вышли они на ступеньки подъѣзда. Ночью и сыростью охватило ихъ. Володя крикнулъ: «Иванъ!» и карета подъѣхала.

«Что за бѣда, не съѣстъ, подумала Анна,—пусть довезетъ меня въ каретѣ».

Они сѣли въ четверомѣстную старую карету, и клячи медленно потащили ихъ.

На этотъ разъ кокетливая распущенность Анны не прошла ей даромъ: настойчивый молодой человѣкъ перехитрилъ ее. Она очнулась и вырвалась изъ его объятій только тогда, когда карета остановилась... Но выходя, какъ ни была она смущена и взволнована, она все-таки не забыла ощупать карманъ свой, чтобы убѣдиться, цѣлы-ли деньги...

ГЛАВА XXX.

— А что сталось съ Дуней... я и не понимаю... Намедни я вошла: «убирайтесь!» кричитъ,—«убирайтесь!» Букетъ, который былъ въ комнаткѣ, куда Петя долженъ былъ переѣхать, взяла при мнѣ и выбросила изъ окошка... Правда, букетъ былъ уже не новый, завялъ; но кому онъ мѣшалъ, этотъ букетъ несчастный? Расплескала всю воду и выбросила... «Ну, и чортъ съ нимъ! говоритъ, — ну, и чортъ съ нимъ!»... Ахъ, Надя! Какъ я была-бы рада, если-бъ онъ жилъ у насъ... Я такъ надѣялась!..

Такъ говорила Ксенія въ тотъ день, когда Надя въ послѣдній разъ была въ Павловскѣ.

— Надѣйся только на себя, отвѣчала Надя.—Кто знаетъ, можетъ быть, Петя и хорошо поступилъ...

— А что если онъ и въ самомъ дѣлѣ укатилъ въ Сербію и тамъ убьютъ его?

— Не дай Богъ. А впрочемъ, не все-ли равно—умереть отъ чахотки, или убитымъ быть...

— Неужели тебѣ не жаль его? Вѣдь онъ... Развѣ онъ уѣхалъ, не простясь съ тобою?

И Ксенія, быстрымъ, испуганнымъ взглядомъ поглядѣвъ въ глаза своей молоденькой тети, опустила рѣсницы...

— Не простясь...

— Это удивительно! скрестивъ пальчики, воскликнула Ксенія.—Любить и не проститься!

Надя не могла не замѣтить, какъ при этомъ вспыхнуло свѣженькое личико наивной дѣвочки или, лучше сказать, недоразвившейся, мечтательной дѣвушки.

— Ничего нѣтъ удивительнаго. Вотъ я люблю тебя, но мнѣ ни почемъ уѣхать и даже не предупредить тебя о своемъ исчезновеніи... Такое время... Каждый дѣлаетъ такъ, какъ ему кажется лучше, и каждый такъ самолюбивъ, что боится не столько препятствій, сколько ненужныхъ совѣтовъ... хотя-бы и дружескихъ, все-равно... Дружба и не цѣнится тамъ, гдѣ въ ней не нуждаются, а чѣмъ-же я и могу быть для Пети, какъ ни другомъ?

Ксенія при этомъ вспомнила свою дружбу съ гимназистками и рѣшила, что дружба—это дѣло извѣстное, ничего въ ней нѣтъ такого особеннаго... и что дорожить ею можно, но не особенно... Тогда какъ любовь... о, это дѣло другое! Для этого мало жизни, — можно и сто жизней за нее, за одну, пожертвовать.

Рано начитанная, Ксенія, какъ губка, изъ литературы вобрала въ себя все романически-идеальное, иначе сказать, все облагороженно-чувственное и самоотверженно-эгоистичное, словомъ—все, чѣмъ питается молодая фантазія, все, что манитъ на тотъ скользкій жизненный путь, на которомъ погибло не мало наивныхъ...

Надя поняла, что говоритъ съ ней не наивный ребенокъ, а наивная, еще не совсѣмъ оперившаяся ревнивица... Ксенія не разъ уже разными намеками давала ей знать, что она-то и есть та самая Надя, о которой Петя разсказывалъ ей, какъ о предметѣ любви своей... Ни откровенничать съ Ксеніей, ни разувѣрять ее въ справедливости ея догадокъ и предположеній Надя не хотѣла; но когда при словѣ *дружба*, Ксенія сдѣлала гримаску, Надѣ стало досадно, и ей вздумалось посмѣяться надъ своей племянницей.

— Можетъ быть, сказала она,—Петя, какъ герой новаго романа, пошелъ на поиски твоихъ родителей, такъ какъ далъ тебѣ слово отъискать ихъ. Кто знаетъ, можетъ быть, онъ услыхалъ, что за тридевять земель, въ тридесятомъ царствѣ живетъ какой-то Сергѣевъ и скучаетъ по своей пропавшей дочкѣ, и даже не знаетъ какъ зовутъ ее.

У Ксеніи, все время, пока говорила ей Надя, глаза дѣлались все шире и шире: казалось, она выслушиваетъ что-то такое необыкновенное и въ то-же время такое возможное, что надо только удивляться, какъ это все ей самой не приходило въ голову.

— Ты такъ думаешь? Ты это не шутя говоришь мнѣ, тетя?

— Не шутя фантазирую, серьезнымъ тономъ отвѣчала ей Баскова.—Довольна-ли ты моей фантазіей?

Ксенія потупилась.

— А можетъ быть, это и такъ?! задумавшись, проговорила дѣвочка.

— Нѣтъ, это не можетъ быть *такъ*, потому что это было-бы и глупо, и даже смѣшно... Петя самъ удивлялся, когда я напомнила ему его обѣщаніе... Онъ даже и забылъ о немъ и... хорошо сдѣлалъ. Ему надо еще учиться, надо добиваться самостоятельности, труда, который-бы его обезпечивалъ, давалъ-бы ему возможность существовать независимо, а стало быть, и любить независимо;—и вдругъ, онъ будетъ рыскать по свѣту, да разспрашивать — нѣтъ-ли такого Сергѣева, который оставилъ свою дочку на попеченіе его мачихи или ея матери. Сергѣевыхъ въ Россіи несчетное множество... Прошу покорно взять на себя трудъ со всѣми съ ними познакомиться! Какъ это полезно и какъ это благотворно отразится на всей будущей судьбѣ его! Да и стоитъ-ли человѣкъ того, чтобы о немъ думали, если онъ самъ покинулъ дитя свое или давнымъ-давно забылъ о его существованіи... Нѣтъ, милая моя, не въ такое время живемъ мы, чтобъ не

шутя фантазировать... Даже вотъ что я скажу тебѣ: надо работать, надо быть работницей... что нибудь знать и что нибудь умѣть, чтобъ любить; иначе, — любовь и пошлость, пошлость и любовь одно и тоже, или такъ одно отъ другого не далеко, такъ близко, что и не замѣтишь, какъ, полюбивъ кого-нибудь, превратишься въ тряпку, никому ненужную, иначе сказать, въ очень пустую женщину, которая сама не будетъ знать, что ей дѣлать: хныкать или напустить на себя видъ гордаго презрѣнія, или отдаться теченію обстоятельствъ и постепенно погрязать въ тинѣ всяческихъ житейскихъ мелочей, способныхъ убить всякую мысль, всякое стремленіе быть полезной, т е. нужной для блага общественнаго или хоть для самой малой капельки этого блага... Петя тоже еще не знаетъ, что съ собой дѣлать. Если-бы онъ зналъ, онъ не пришелъ-бы въ отчаяніе отъ того, что есть какой-то латинскій учитель, который почему-то не взлюбилъ его... Онъ понялъ-бы, что все это пусто и ничтожно, что сокрушаться не стоитъ, особливо при его способностяхъ, при его наклонности къ труду... Онъ-бы зналъ, если-бы не фантазировалъ, что, пожелай онъ, и тотъ-же самый учитель можетъ оказаться передъ нимъ пигмеемъ, будетъ передъ нимъ расшаркиваться и лебезить... а онъ умирать вздумалъ... дескать, такъ страдаетъ мое самолюбіе, что лучше не жить!.. Нѣтъ, до любви онъ еще не доросъ...

Никогда еще Ксенія не слыхала ничего подобнаго... Она была такъ огорчена, потрясена и удивлена, что долго еще сидѣла на одномъ мѣстѣ и старалась привести свои мысли въ порядокъ. А Надя, недождавшись отъ нея возраженій, встала и, не простясь ни съ ней, ни съ Миной Михайловной, ушла въ паркъ и затѣмъ уѣхала изъ Павловска.

ГЛАВА XXXI.

Оставимъ озадаченную Ксенію думать и передумывать, что значатъ и какой имѣютъ смыслъ тѣ рѣчи, которыя услыхала она изъ устъ своей молодой тети. Займемся другими лицами и затѣмъ пустимся въ догонку за нашимъ юношей.

Надя уже имѣла понятіе объ Ознобинѣ, такъ какъ Петя на дебаркадерѣ ей рекомендовалъ его. Затѣмъ, однажды, въ Павловскѣ встрѣтилась она съ Ерошиными,—встрѣтилась съ ними не одна, а въ сопровожденіи сестры своей, и по неволѣ познакомилась. Мина Михайловна очень была рада увидѣться съ своимъ единственнымъ другомъ—Александрой Александровной, хотя этотъ единственный другъ обошелся съ ней довольно сухо—не пригласилъ ее къ себѣ да дачу и только нѣсколькими словами перекинулся съ Надей.

Физіономія Ерошина (большая, волосастая голова, крупныя черты лица, выразительно-умные глаза и борода, какой любой деревенскій староста позавидуетъ) была не изъ числа тѣхъ физіономій, которыя такъ-же скоро забываются, какъ забываются тѣ красавцы, которыхъ лица то и дѣло встрѣчаешь на вывѣскахъ. И Надя тотчасъ-же узнала Ерошина, когда на возвратномъ пути изъ Павловска увидала его въ одномъ съ нею вагонѣ 3-го класса. И онъ тоже тотчасъ узналъ ее и сѣлъ съ ней рядомъ. Разговоръ зашелъ объ Ознобинѣ.

— Я долженъ сказать вамъ объ этомъ другѣ нашего дома, что онъ чудакъ преестественный, и вы, быть можетъ, не повѣрите, если я скажу вамъ, что онъ, который видѣлъ васъ разъ или два, уже успѣлъ составить объ васъ самое дурное понятіе, даже по-просту возненавидѣлъ васъ.

— Это за что? засмѣявшись, спросила Надя.

— Онъ почему-то ненавидитъ стараго Клина, и такъ какъ вы принадлежите, такъ сказать, къ семьѣ его,—заклю-

чаетъ, что и въ васъ нѣтъ ничего хорошаго, что вы кокетка, и что любимецъ его Петя непремѣнно пропадетъ, если попадется къ вамъ въ сѣти, такъ какъ, по его мнѣнію, вы принадлежите къ типу такихъ женщинъ, для которыхъ ничего святаго нѣтъ...

— Ничего святаго нѣтъ... Это забавно...

Надя смѣялась, и Ерошинъ, глядя на нее, улыбался и думалъ: «экая прелесть эта дѣвушка!»

— А я только-что собралась какъ-нибудь подойти къ нему и спросить: не знаетъ-ли онъ, куда дѣвался другъ его—Петя Клинъ.

— Не спрашивайте, онъ не знаетъ... и это тѣмъ болѣе его огорчаетъ, что онъ отъ Пети не ожидалъ такаго пасажа,—убѣжденъ былъ, что молодой человѣкъ откровененъ съ нимъ.

— Такъ онъ знаетъ, по крайней мѣрѣ, что Петя куда-то пропалъ...

— Это онъ знаетъ... Можетъ быть, даже отъ меня знаетъ, такъ какъ Мина Михайловна какъ-то говорила мнѣ объ этомъ обстоятельствѣ и даже просила совѣта—что дѣлать.

— Какой-же вы дали совѣтъ?

— Я ей далъ совѣтъ—ничего не дѣлать.

— А если я когда-нибудь попрошу у васъ совѣта—вы будете искренни?

— Не только совѣтомъ, всѣмъ чѣмъ могу, постараюсь быть полезенъ вамъ... Скажу вамъ про себя, что я человѣкъ, прошедшій сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы... Я сынъ крестьянина вологодской губерніи. Учился на мѣдныя деньги, самъ выбился на просторъ, т. е. изъ одной тѣсноты въ другую тѣсноту попалъ... Иногда пописываю:—два или три разсказа изъ деревенской жизни не прошли незамѣченными; но я никогда не имѣлъ обыкновенія подписывать свою фамилію: мой псевдонимъ «Понева». А подъ статьями политической окраски, въ газетахъ, я никакъ не подписывался—не стоитъ.

— Въ какомъ-же духѣ ваши статьи?

— Въ патріотическомъ и въ то-же время въ прогрессивномъ—я прогрессистъ.

— Что-же, какъ вы думаете, хорошо это, что наши молодые люди бѣгутъ въ Сербію и тамъ, на границѣ, дерутся съ турками?

— Не молодые люди, а всякій сбродъ... Но вы спрашиваете, хорошо-ли? отвѣчаю вамъ: хорошо. Это наши застрѣльщики, потому что, какъ-бы мы ни вертѣлись—войны намъ не миновать. Таковы обстоятельства, да и Бисмаркъ этого хочетъ, и даже Австрія. Всѣмъ имъ до такой степени нажужжали въ уши о нашей несостоятельности, объ упадкѣ дисциплины, о безпорядкахъ и шаткости умовъ, что, поглядѣть, какъ мы будемъ воевать—для нихъ зрѣлище интересное. Если мы побьемъ, они въ убыткѣ не останутся, особливо Австрія. А если насъ побьютъ, то кто-же въ Европѣ этого не желаетъ!

— А какъ вы думаете, насъ побьютъ или мы побьемъ?

— Непремѣнно мы побьемъ, потому что потасовка это-съ наша родная стихія и охулки мы на руку не положимъ. И знаете, отчего мы будемъ воевать такъ, какъ давно не воевали?—Отъ скуки. Мы до того исхандрились и такъ скучаемъ, не зная что съ собой дѣлать, такъ извѣрились, что войнѣ обрадуемся, какъ благодати Божіей... Не будь у меня семьи, я-бы и самъ теперь въ повстанцы пошелъ.

— А вы изъ числа скучающихъ?

— Признаться сказать, скучать мнѣ некогда—контора на рукахъ, дѣла, семья и проч. Ну, а въ минуты досуга, до такой степени тоска меня одолѣваетъ, что жизни не радъ... Мнѣ противно это филистерское, это буржуазное прозябанье до того, сударыня вы моя, противно, что хоть въ петлю!.. Если я когда-нибудь съума сойду, то начну съ того, что переколочу зеркала, расшибу рояль, а мебель и всѣ вещи изъ окна побросаю на улицу .. То-есть, поступлю такъ, какъ

я-бы и теперь поступилъ, если-бъ не удерживала меня любовь къ ближнимъ моимъ. . Что дѣлать, не люблю огорчать...

— И я понимаю васъ, съ живостью проговорила Надя.

— Вы меня понимаете?.. Этого я уже никакъ не ожидалъ, милое вы существо!

Фамильярничать было въ натурѣ Ерошина, но какъ человѣкъ, выкарабкавшійся изъ среды россійскихъ пролетаріевъ, онъ никогда не терялъ русской смекалки и зналъ съ кѣмъ нужно и съ кѣмъ не нужно церемониться. Иногда онъ былъ правдивъ до грубости, иногда правдивъ до нѣжности, особливо съ женщинами, которыя ему нравились, такъ какъ въ немъ, подъ маской самаго скромнаго семьянина, таилась порядочная доза донжуанства. Въ молодости-же онъ былъ великій ловецъ, хотя и не хвасталъ своими побѣдами.

Надѣ почему-то нравилась оригинальность его обращенія. Эта оригинальность не отталкивала, а сближала ихъ.

— Зачѣмъ вы ѣдете въ Петербургъ? спросила Надя.

— Ѣду побывать у одного пошляка и негодяя. Надо съ нимъ переговорить о дѣлѣ и помѣшать ему сдѣлать пакость— такъ какъ онъ человѣкъ не безъ власти и не безъ вліянія... Надо будетъ очень хитро мнѣ съ нимъ вести себя... и пригрозить, и помазать по губамъ, т. е. поподличать. Показать ему, насколько онъ свинья и человѣкъ вредный, и въ то-же время доказать, что онъ непремѣнно будетъ въ выгодѣ, если себя не впутаетъ и въ скверномъ дѣлѣ не приметъ никакого участія. Вѣдь я... что вы думаете, я человѣкъ практическій и давно-бы пропалъ, если-бы не былъ практическій... Я... Читали вы Помяловскаго?

— Читала, разумѣется.

— Очень мнѣ нравится ваше *разумѣется*. Точно вы обидѣлись, хоть въ сущности вы вовсе не обидѣлись... Разумѣется, всякая порядочная россійская дѣвица должна знать порядочныхъ россійскихъ писателей и умѣть различать ихъ отъ ерундистовъ и бонмотистовъ. Ну, такъ вы знаете, что

такое Молотовъ? Ну-съ, хорошо... Такъ вотъ я почти что такой-же Молотовъ. Слѣдовало-бы мнѣ всю жизнь свою въ смазныхъ сапожищахъ проходить, какъ и подобаетъ сыну земли, а я мѣщанствую и чувствую, что не могу иначе, и—никто не можетъ иначе, какъ онъ ни бейся... Слыхали вы про нашего народолюбца и врага всякихъ роскошей и всякаго барства—Чапскаго?

— Разумѣется...

— Опять «разумѣется»,—ну, хорошо-съ... Такъ я разъ засталъ его: торопится, обойщиковъ ищетъ, нужно драпри въ гостиной и спальной развѣшивать. Французскій, мохнатый коврикъ купилъ, чтобъ супруга, вставая съ постельки, да гуляя въ туфелькахъ, чувствовала «ковровъ роскошное прикосновенье»... Такъ жизнь сложилась.. Вѣдь и вы выйдете замужъ или за Молотова, или за такого пролетарія, который носитъ въ себѣ всѣ задатки быть Молотовымъ, то-есть подарить и себѣ, и вамъ, и вашимъ дѣтямъ хоть какое-нибудь, хоть самое крошечное, мѣщанское счастіе. Съ жизнью не скоро сладишь; у ней свои привычки есть и свои поползновенья. Претятъ мнѣ всѣ эти поползновенья, да что-же, голубушка вы моя, прикажете дѣлать? Такой климатъ. Неужели топиться или вѣшаться оттого, что нельзя въ одной рубахѣ по гостямъ ходить. Вотъ какъ мы съ вами заболтались, не замѣтно доѣхали... время-то значитъ, вещь условная... какъ вода течетъ... уравновѣсьте,—остановится... сдѣлайте наклонъ—побѣжитъ. А подъ-гору, такъ и того... не удержите... Спасибо вамъ... Ахъ, да... а какой-же совѣтъ-то вы хотѣли отъ меня потребовать?

— Послѣ, когда-нибудь...

— Осторожная вы барышня... Скажите, пожалуйста, вы какъ сродни Минѣ Михайловнѣ?

— Родная сестра ея.

— Такъ-таки родная, какъ есть родная? присталъ Ерошинъ, наклонивъ къ лицу Нади топорно-красивое, муже-

ственное лице свое и взглядывая ей въ глаза вопросительно и въ то-же время необыкновенно ласково.

Надя невольно отклонилась, покраснѣла и отвѣчала:

— Отчего-же вы мнѣ не вѣрите; вѣдь я-же сказала вамъ—родная, родная, родная...

— Значитъ, тѣми-же руками пирогъ испеченъ да изъ другого тѣста.—Ну, прощайте, Богъ съ вами, попросилъ-бы васъ навѣщать насъ, да вѣдь вы меня не послушаетесь...

— Прощайте.

ГЛАВА XXXII.

Еще одно событіе, нежданное-негаданное, потрясло душевный миръ и обычный покой почтеннаго Клина.

Событіе это не осталось безъ нѣкоторыхъ послѣдствій для лицъ, выведенныхъ нами на сцену, и мы должны упомянуть о немъ.

Кто-бы могъ ожидать, что Михѣй, лысый, глупый, безтолково-усердный и по временамъ отъ всей души искренно хихикающій, смѣшной Михѣй совершитъ уголовное преступленіе?!

Самъ онъ этого не ожидалъ и не повѣрилъ-бы, если-бы кто-нибудь утромъ того-же дня сказалъ ему, что въ сумерки, послѣ обѣда, онъ убьетъ Любовь Петровну.

Онъ мысленно давно уже желалъ ей всего нехорошаго. Онъ-бы обрадовался какъ глупый ребенокъ, если-бы кто-нибудь столкнулъ ее съ лѣстницы или если-бы она лбомъ ударилась о притолку, или если-бы она заболѣла и въ какой-нибудь больницѣ окочурилась. Онъ-бы непремѣнно захихикалъ, если-бы кто-нибудь при этомъ спросилъ его: правда-ли, что Любовь Петровна окочурилась?.. Но убить ее онъ никогда не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія.

Любовь Петровна для него была ехидная женщина, запирала буфетъ и ни разу не дала ему понюхать чѣмъ пах-

нетъ ромъ или барская водка («какъ собака на сѣнѣ», думалъ про нее Михѣй). Мало того, она безпрестанно осыпала его разными попреками и пророчила, что его непремѣнно выгонятъ.

И Михей все это выносилъ съ замѣчательнымъ наружнымъ спокойствіемъ: только пялилъ на нее глаза, моргалъ усами, такъ-что брови шевелились и на лбу его морщилась кожа... Или ворчалъ: «Ахъ-ма... не все святые... во гробъ вы меня вгоните... Ей Богу!.. Ну, выпилъ малую толику, а ужь вы и того... не пьяница-же я, хе, хе!»..

И самъ при этомъ не сознавалъ до какой степени онъ пьянствуетъ и ее ненавидитъ.

Въ сумерки того дня, когда въ Павловскѣ совершилось другое событіе (старый Клинъ далъ деньги своей дочери). Михѣй почувствовалъ страшную тоску и даже вышелъ за ворота—провѣтриться...

И нельзя ему было не страдать: утромъ, только-что уѣхалъ баринъ, который съ запискою посылалъ его въ гимназію, онъ случайно на улицѣ встрѣтилъ одного изъ своихъ однокашниковъ, тоже изъ отставныхъ, зашелъ съ нимъ въ распивочную, и тотъ угостилъ его. Михѣй далъ ему честное слово вечеромъ придти въ тотъ-же питейный домъ и, въ свою очередь, ублаготворить его. — «Приходи, голубь, утѣшу. Въ кои-то вѣки встрѣтились... Ради компаніи, жидъ, говорятъ, удавился. Стало-быть, намъ самъ Богъ велитъ... Хе-хе-хе! Приходи ради компаніи»...

Михѣй былъ не настолько пьянъ, чтобъ не помнить этого обѣщанія; чувствовалъ, что какой-то червь сосетъ его подъ ложечкой, что мутная голова похмѣлья проситъ и что въ карманѣ его такъ-же пусто, какъ въ водосточной трубѣ.

Поднявшись задней лѣстницей наверхъ, Михѣй вошелъ въ кухню.

Любовь Петровна имѣла обыкновеніе послѣ обѣда прилегать, и такъ-какъ ей нездоровилось, она заснула, лежа

въ платьѣ на своей кровати, и, хотя ея ситцевая занавѣска не была задернута, Михѣй ее не замѣтилъ. Къ несчастью, онъ подошелъ къ кухонному столу и увидалъ, что на самомъ краю его лежитъ какая-то смятая бумажка, сложенная въ четверо, и на ней куча мелочи — копѣекъ шестьдесятъ или семьдесятъ... Михѣй съ жадностью поглядѣлъ на эти деньги... Кровь прилила къ вискамъ его... Сердце забилось...

«Подтибрю»... подумалъ онъ, — «хе-хе!.. зачѣмъ плохо кладетъ»...

Въ это время сзади его скрипнула кровать. Сонная пошевелилась... Михѣй оглянулся; ему показалось, что Любовь Петровна не спитъ, притворяется спящей и однимъ глазкомъ подсматриваетъ, уличить его хочетъ въ воровствѣ... анафема...

И все, что таилось въ немъ, вспыхнуло какъ порохъ, съ неудержимою силою. Схватилъ онъ дровяное полѣно и хватилъ имъ по головѣ спящей, насколько было силы.

Спящая приподнялась, замахала руками и со стономъ повалилась навзничь.

Михѣю показалось, что онъ только ошеломилъ ее, какъ слѣдуетъ... Онъ схватилъ деньги и, не притворивши кухонной двери, спустился внизъ по лѣстницѣ.

Въ питейномъ домѣ онъ тотчасъ-же хватилъ стаканчикъ водки и, дождавшись однокашника, провелъ съ нимъ весь вечеръ въ компаніи... Сначала онъ еще припоминалъ, что сдѣлалъ что-то такое нехорошее... «Будетъ помнить!» еще ворчалъ онъ про себя, — еще образъ подскочившей и замахавшей руками Любовь Петровны смутно возникалъ въ его воображеніи. Потомъ все стушевалось въ головѣ,—онъ, пьяный, обнималъ пьянаго друга, или голубя, какъ онъ называлъ его. Хвастался, что онъ храбрецъ и что добрѣе его въ цѣломъ свѣтѣ человѣка нѣтъ.

Поздно вернулся онъ домой... Кое-какъ одолѣлъ парадную лѣстницу, позвонилъ въ передней, и такъ-какъ, разу-

мѣется, никто ему дверей въ переднюю не отперъ, повалился на полъ, у самаго порога, и заснулъ богатырскимъ сномъ, хотя и не былъ похожъ на богатыря — испитый и тщедушный...

На другой день, въ три часа и 40 минутъ по полудни, Мина Михайловна получила телеграмму; но такъ-какъ ее не было дома, Ксенія росписалась въ полученіи и положила ее на туалетъ своей матери.

Мина Михайловна вернулась къ обѣду и стала ожидать супруга... Было уже 6 часовъ, когда Ксенія вошла и сказала матери: Егоръ Антоновичъ вѣрно не пріѣдетъ. Не онъ-ли это телеграмму прислалъ... Ты читала?

— Подай, сказала Мина Михайловна и протянула руку.

Ксенія передала ей заклеенную по формѣ бумажку и вышла. Мина разобрала телеграмму, и вскочила испуганная. Мужъ ей телеграфировалъ: «Пріѣзжай немедленно—на квартирѣ несчастье».

— Несчастье! Что такое, Боже мой... Не погорѣли-ли мы?.. Какое несчастье!..

Торопливо съѣла она нѣсколько ложекъ супу, надѣла пальто и шляпу, сказала Ксеніи, что она ѣдетъ въ Петербургъ, и вышла, чтобъ на первомъ попавшемся извощикѣ, какъ можно скорѣй, до 7 часовъ, добраться до вокзала и застать отъѣзжающій поѣздъ.

Около 8 часовъ вечера, Мина Михайловна, взволнованная ожиданіемъ чего-то страшнаго или непріятнаго, торопливо взбѣгала по каменной лѣстницѣ своей петербургской квартиры, слегка задыхалась и принюхивалась, не пахнетъ-ли гарью, не сгорѣлъ-ли ея будуаръ и цѣлы-ли ея вещи.

Дверь въ переднюю отворилъ ей городовой — въ полицейской формѣ, съ серебряною цѣпочкой отъ часовъ, румяный, сѣроглазый и съ большими пушистыми баками. Любой исправникъ былъ-бы очень доволенъ, если-бы у него была такая благообразная и въ то-же время такая внушительная

физіономія. Только у с.-петербургскихъ околодочныхъ и бываютъ такія физіономіи... Но все-же Мина Михайловна оторопѣла, чего-то, испугалась и, блѣдная, молча вошла въ свою пасмурную переднюю...

— Гдѣ-же Михѣй? спросила она.

Но въ эту минуту изъ залы появилось другое лицо, и тоже ей совершенно незнакомое, лицо черноглазое, опушенное черною бородой, облеченное въ вицмундиръ съ золотыми пуговицами и съ золотой цѣпочкой отъ часовъ. Лицо изжелта-блѣдное, но не отъ испуга, а скорѣй отъ усталости...

— Мина Михайловна!? произнесъ вопросительно появившійся передъ ней чиновникъ и, такъ какъ онъ слегка улыбался, у Мины Михайловны отлегло отъ сердца... «Должно быть, подумала она,—ничего нѣтъ очень страшнаго. Ужь не ударъ-ли съ Егоръ Антоновичемъ? Вѣрно докторъ». И только тогда поняла, что онъ за человѣкъ, когда онъ отрекомендовался ей.

А отрекомендовался онъ ей развязно и любезно въ высшей степени.

— А гдѣ-же мужъ? задыхаясь спросила Мина Михайловна.

— Онъ у себя въ кабинетѣ и занятъ... Прикажете доложить ему?

— Не безпокойтесь... Только, ради Бога, скажите, что такое случилось?

Машинально играя цѣпочкой отъ часовъ, слѣдователь сообщилъ ей, что женщина, которая берегла ея квартиру, найдена на своей постели мертвой (Мина Михайловна ахнула и перекрестилась), что частный врачъ освидѣтельствовалъ трупъ ея и нашелъ, что женщина убита тупымъ орудіемъ—ударомъ молотка или обухомъ топора по головѣ, что вещи ея тоже освидѣтельствованы и имъ сдѣлана опись, что подозрѣніе падаетъ на Михѣя, что Михѣй арестованъ по приказанію г. прокурора, и что онъ, лично, весьма сомнѣвается, чтобъ это сдѣлалъ Михѣй, такъ-какъ на допросѣ онъ

оказался слишкомъ глупъ и сказалъ, что онъ ничего не помнитъ, что вернувшись ночью, онъ въ квартиру не попалъ, а ночевалъ въ корридорѣ на полу, такъ-какъ былъ сильно выпивши.

Мина Михайловна пришла въ ужасъ и застонала.

— Ахъ, Любовь Петровна, Любовь Петровна! Что такое... какъ это можетъ быть, голубушка моя! Ахъ, Боже мой! Боже мой!

Затѣмъ она узнала, что тѣло убитой уже на столѣ и, вѣроятно, на ночь будетъ вынесено, и затѣмъ, не рѣшаясь заглянуть въ кухню изъ страха упасть въ обморокъ, она прошла въ свою пустую спальню, сѣла на кушетку, на которой такъ много пріятныхъ часовъ провела она, приподняла свои плечики, точно озябла, вздрогнула и заплакала.

Но кто-же не знаетъ, кто-же сомнѣвается въ глубокой чувствительности и добротѣ Мины Михайловны!

Наплакавшись, она осмотрѣла свой туалетъ, нашла всѣ ящики запертыми и все въ порядкѣ, даже пыли нигдѣ не было. Это еще больше заставило ее пожалѣть объ утратѣ такой необыкновенно аккуратной и честной женщины.

— Мало повѣсить, мало разстрѣлять того, кто убилъ ее! воскликнула она въ полголоса, въ порывѣ негодованія.

И такъ-какъ всѣ мягкосердечныя, добрыя женщины въ минуту досады бываютъ иногда особенно злы и мстительны, Мина Михайловна непремѣнно-бы въ эту минуту казнила преступника самой страшной казнью, если-бы преступникъ этотъ былъ на лицо и если-бы она обладала властью или перунами.

Хорошо еще, что порывъ негодованія, какъ и всякій порывъ, бываетъ непродолжителенъ.

Заплаканная, вышла она въ залъ, гдѣ стоялъ раскрытый ломберный столикъ, на которомъ лежали бумаги, чья-то кожанная портфель съ стальнымъ замочкомъ и торчало перо изъ чернильницы. Ей хотѣлось пройти къ мужу въ кабинетъ

и уронить ему на грудь слезу печали и сожалѣнья; но въ залѣ опять встрѣтилъ ее тотъ-же самый судебный слѣдователь и сказалъ ей, что онъ очень радъ случаю, который далъ ему возможность ей отрекомендоваться.

«Хорошъ случай, нечего сказать!» грустно улыбнувшись, подумала Мина Михайловна.

Но судебный слѣдователь продолжалъ въ томъ-же любезномъ тонѣ, У него чуть было не сорвалось съ языка, что онъ знакомъ съ Зуевымъ и отъ Зуева много слыхалъ про ея добродѣтели; но онъ быстро что-то сообразилъ и—о Зуевѣ ни слова. Сказалъ только, что у него есть одинъ знакомый, который такъ много лестнаго ему говорилъ о ней, что онъ давно уже сгораетъ желаніемъ съ нею познакомиться. Однимъ словомъ, этотъ среднихъ лѣтъ блюститель правосудія говорилъ съ ней какъ съ женщиной, которая слишкомъ добра и мягка для того, чтобъ противиться кому-бы то ни было изъ числа претендующихъ на красоту ея, а онъ кое-что слыхалъ о ней и, какъ мы уже сказали, былъ развязенъ и любезенъ съ ней въ высшей степени.

«Ну, знаемъ, знаемъ, не распинайся!» подумала про себя Мина Михайловна, глядя на его бойкіе, черные глазки, бѣлыя, пухлыя руки и окладистую бороду.

Вдругъ судебный слѣдователь что-то какъ будто вспомнилъ, на бѣлый лобъ его быстро набѣжали и быстро исчезли небольшія морщинки, и вдругъ спросилъ онъ Мину Михайловну (тѣмъ-же любезнымъ тономъ), давно-ли пропалъ изъ дому ея пасынокъ?

Мина Михайловн никогда не помнила дней (для нея всѣ дни были одинаковы), но чтобъ что-нибудь сказать на это, она сказала: кажется дня три-четыре, а впрочемъ, не помню.

— А не знаете-ли вы, Мина Михайловна, были-ли деньги у вашей Любовь Петровны? Я это потому васъ спрашиваю, что сундукъ ея не былъ запертъ и были-ли тамъ деньги— неизвѣстно.

— И на это Мина Михайловна не знала, что отвѣчать. Можетъ быть были, а можетъ быть, и не были.

— А сколько денегъ было или могло быть у вашего пасынка въ день его исчезновенія?

— Я, помнится мнѣ, черезъ сестру послала ему сколько-то денегъ на партикулярное платье, такъ какъ онъ вышелъ изъ гимназіи, и такъ какъ я, хоть и мачиха, но все-же не хуже родной матери... Я думала, что заслужу его довѣріе, но видно, какъ волка не корми, онъ все-таки въ лѣсъ уйдетъ. Что прикажете дѣлать... Ахъ, Боже мой, Боже! Все непріятности, одни только непріятности!

— И вы не знаете, отецъ ничего не давалъ ему?

— Не знаю, онъ даже, кажется, и не видалъ его послѣ...

— Послѣ чего?

— Послѣ выхода его изъ гимназіи.

— А куда онъ ушелъ или уѣхалъ—это неизвѣстно вамъ?

— Говорятъ, что въ Сербію. А впрочемъ, почемъ я знаю... Но позвольте, я хочу къ мужу, что онъ тамъ дѣлаетъ?

Слѣдователь вѣжливо отступилъ и, глядя изподлобья, съ улыбающимися изъ-подъ усовъ губами, протянулъ руку по направленію къ кабинету. «Дескать, я нисколько не мѣшаю вамъ!»

Мина вошла къ мужу, но не удалось ей пролить слезу на грудь его: онъ встрѣтилъ ее бранью, зачѣмъ она такъ поздно явилась, лучше-бы и не являлась. Мина должна была оправдываться и, затѣмъ, чтобы отвлечь его мысли, спросила: кто этотъ слѣдователь?—Онъ все распрашиваетъ меня о Петѣ. Какое ему до него дѣло? Неужели въ этомъ злодѣяніи онъ хочетъ на него бросить тѣнь своего подозрѣнія!

— Смѣетъ онъ кого-нибудь подозрѣвать, когда это оче, видно, какъ дважды-два четыре... это — мерзавецъ, каналья пьяница, идіотъ. Это... котораго мнѣ рекомендовали, навязали на меня... это Михѣй; это его дѣло... Я видѣлъ, какъ его рожу коробило и какими лягушечьими глазами глядѣлъ онъ...

Тутъ Клинъ такъ энергически сталъ ругаться, что Мина положила ему на ротъ свои пальчики и, такимъ образомъ, сдѣлала какъ-бы плотину, чтобы хоть до слѣдователя не долетали тѣ неудобные для печати возгласы, которыми въ эту минуту наводненъ былъ раздраженный и занятый спѣшными дѣлами супругъ ея.

ГЛАВА XXXIII.

Вотъ уже слишкомъ двѣ недѣли, какъ Аполлонъ Карпычъ Орѣшинъ гоститъ у себя въ имѣніи (за 970 верстъ отъ Питера, въ 41 верстѣ отъ желѣзной дороги, на границахъ чернозема и глинистой почвы, между плодоноснѣйшими степями средней полосы Россіи и брянскими лѣсистыми болотами).

Что сказать про него? Чѣмъ ознаменовать намъ его пребываніе въ родномъ гнѣздѣ, въ тѣни тѣхъ самыхъ дубовъ и кленовъ, которые видѣли его и въ дѣтской курточкѣ, и въ юнкерскомъ мундирѣ, и въ домашнемъ, изъ бѣлаго холста кителѣ, съ молодой женой подъ-руку, съ дѣтьми на свободѣ...

Зачѣмъ пріѣхалъ онъ? Оттого-ли, что поселившись въ столицѣ около самаго кладбища, захотѣлось ему дохнуть инымъ, болѣе свѣжимъ и здоровымъ воздухомъ, или оттого, что почуялъ, что кулаки и арендаторы его такъ-же надуваютъ, какъ и его ключница... то и дѣло жалуются ему на неурожай и раззоренье, тогда какъ по газетамъ и слухамъ нельзя не предположить, что въ его уѣздѣ, слава Богу, уродилось достаточное количество ржи, ячменя и сѣна... Жалуются и не высылаютъ денегъ. Трудно сказать, что иногда руководило поступками нашего мистика. Чаще блажь (несмотря на то, что всю жизнь считался онъ образцовымъ практикомъ), чѣмъ здравый смыслъ, сдвинутый съ мѣста потрясающими потерями...

Поселился Орѣшинъ у себя въ небольшомъ флигелѣ, гдѣ

когда-то, въ старые крѣпостные годы, жилъ французъ гувернеръ его. Главный господскій домъ давно уже стоитъ съ забитыми окнами, съ прорѣхами въ кровлѣ и съ лѣстницами безъ ступенекъ. Въ этомъ громадномъ бревенчатомъ домѣ, гдѣ полъ-вѣка тому назадъ могла помѣщаться, гостить, ѣсть, пить, плясать и спать цѣлая орава гостей всякаго пола и всякаго возраста, осталось всего только двѣ обитаемыхъ горницы, только три окна со стеклами и только одна труба, каждое утро пропускающая струйки сѣраго дыма.

И эти горницы занимаетъ старый камердинеръ Орѣшина— Павелъ Константинычъ и семья его. Тамъ только у него и можно стряпать кушанье, такъ какъ во флигелѣ печки не годятся ни для стряпухи, ни для повара и, неизвѣстно даже, годятся-ли на то, чтобы зимой согрѣвать стараго барина, такъ какъ онъ и лѣтомъ въ деревнѣ зябнетъ, говоря, что въ старые годы солнце свѣтило и жарче, и ярче, не было такихъ холодныхъ вѣтровъ и погода была постояннѣе. Константинычъ говоритъ, что зимой нельзя жить во флигелѣ, что печи надо передѣлать и рамы въ окнахъ тоже передѣлать заново.

Орѣшинъ пріѣхалъ въ имѣніе свое самъ-другъ съ Сашей и помѣстилъ ее тоже во флигелѣ, такъ какъ въ немъ было цѣлыхъ четыре комнаты.

Саша тоже все это время не то что зябла, а какъ-то ежилась. Въ саду и въ полѣ ей было теплѣе, чѣмъ дома. Давно никѣмъ не посѣщаемыя комнаты дышали чѣмъ-то сырымъ и затхлымъ, а старые, столѣтніе вязы, которые окружали флигель, были вырублены по приказанію управляющаго и неизвѣстно на что пошли—на топку-ли печей или въ городъ, на столярныя издѣлія.

Надъ кроватью Саши, въ потолокъ было ввинчено желѣзное кольцо; должно быть гувернеръ Орѣшина спалъ здѣсь когда-то подъ пологомъ (гдѣ-то онъ теперь? Или на какомъ кладбищѣ покоится прахъ его?).

И теперь, несмотря на дождливое лѣто, не мѣшало-бы повѣсить пологъ, такъ какъ рано по утрамъ мухи не даютъ спать, путешествуя по носу, рукамъ и шеѣ, а по вечерамъ и ночамъ комары то спускаются, то поднимаются и поютъ и кусаютъ, кусаютъ и опять поютъ. Одна Феклуша, дочь Павла Константиныча, спитъ въ одной комнатѣ съ Сашей, какъ убитая. Хоть эта Феклуша и считаетъ себя барышней, дочерью мелкопомѣстнаго помѣщика, но, къ счастью, нисколько еще не смущается тѣмъ, что отецъ ея чиститъ сапоги Аполлону Карпычу и накрываетъ ему на столъ; но къ Сашѣ относится съ маленькимъ пренебреженіемъ, такъ какъ узнала, что Саша не барская дочь, а пріемышъ.

Во флигелѣ есть и піанино, семь или восемь лѣтъ тому назадъ выписанное Орѣшинымъ для дочерей. Но когда его раскрыли и Саша потрогала его клавиши, оно издало такія плаксивыя нотки, такими кислыми диссонансами поразило чуткое ухо, что Саша тотчасъ-же его закрыла и до тѣхъ поръ ни разу не подошла къ нему пока его не настроили.

Былъ вечеръ, одинъ изъ тѣхъ вечеровъ, когда и больное сердце не можетъ не помириться съ природой и деревенскимъ воздухомъ. Руина стараго дома, потонувшая въ зелени стараго сада, наполовину была освѣщена ярко закатывающимся пурпурно-золотистымъ солнцемъ. Серебристые тополи на самомъ дѣлѣ казались изъ серебра отчеканенными. Поздно зацвѣтшія липы, наполовину закрытыя тѣнью отъ дома, пахли медомъ... Бабы и дѣвки, половшія гряды, уходили домой и громогласно пѣли. Издали казалось, что мужскіе хриплые голоса примѣшиваются къ хору ихъ, но эти голоса принадлежали бабамъ...

Саша сидѣла на крылечкѣ и прислушивалась къ лошадиному топоту. За плетнемъ поднимались клубы пыли и въ этой пыли мелькали рубахи деревенскихъ мальчиковъ; размахивая локтями, они скакали и гнали табунъ... въ ночное.

— Аполлонъ Карпычъ!.. Батя!

— Что, дитя мое? отозвался Орѣшинъ, который, опершись на трость, сидѣлъ около крыльца на скамейкѣ, тоже прислушивался къ голосамъ и звукамъ деревенскаго, лѣтняго вечера и съ грустью думалъ: «какія тутъ были деревья, и зачѣмъ, для чего этотъ варваръ ихъ вырубилъ?»

— Батя!

— Ну, что?

— Скоро-ли пріѣдетъ Петя?

— Петя... Гм... да... не знаю... Я уже думалъ, что капутъ... и что мы его не увидимъ...

Орѣшину было не весело, хоть онъ чувствовалъ себя гораздо лучше, чѣмъ въ первые дни пріѣзда.

— Отчего-ты думалъ, что капутъ и что мы его не увидимъ?

— Да оттого, что я полюбилъ его. Какъ-то не живется тѣмъ на свѣтѣ, кого я люблю...

— А меня ты любишь?

Аполлонъ Карпычь только поглядѣлъ на нее и ничего не сказалъ.

— А отчего ты не взялъ сюда мою старую бабушку!

— Отчего я не взялъ бабушку — ну, да оттого и не взялъ... что стеречь квартиру осталась. Какъ-же я могъ взять ее?.. Да и куда-бы я ее посадилъ... въ моемъ тарантасѣ только и было два мѣста. Петя твой, и тотъ на козлахъ нашелъ себѣ помѣщеніе.

— И отчего-же это онъ вдругъ такъ заболѣлъ?.. Такъ вдругъ заболѣлъ?!

— А оттого и заболѣлъ, что... ходилъ по избамъ... тифъ схватилъ... Ты смотри у меня, несмѣй, ходя по деревнѣ, въ избы заглядывать. Слышишь?

Саша ничего на это не отвѣтила. Ей хотѣлось не отвѣчать, а спрашивать.

— А что за человѣкъ Аркадьевъ—хорошій онъ?

— Да вѣдь ты-же его знаешь, Саша: мы у него гостили.

— Гостили-то мы гостили, это да; но отчего-же онъ такъ струсилъ, когда сказали, что Петя боленъ и что у него горячка?

— Отчего?.. Оттого, что заразы струсилъ... умирать не хочется...

— А! нѣтъ...

— Что «нѣтъ?»

— Онъ умирать хочетъ... Помнишь, батя—онъ каждый день говорилъ: «охъ, охъ, не зачѣмъ жить—умирать пора!..»

— Да мало-ли что! Мы всегда умирать не прочь, пока думаемъ, что смерть еще за горами...

— За какими горами?

— Такъ говорится... Какая ты безтолковая... «За горами»—значитъ далеко...

И затѣмъ Орѣшинъ, минуты три спустя, спросилъ свою любимицу: писала-ли она къ бабушкѣ, такъ какъ Петя не даромъ-же писать ее выучилъ.

— Выучить-то выучилъ, да плохо еще, пожалуй я напишу, только плохо... А Петѣ я уже писала...

— Что-же ты писала?

— Что-бъ онъ скорѣй пріѣзжалъ.

— А отвѣтъ получила? минуты три спустя, спросилъ Орѣшинъ.

Ни... Батя, пошли завтра спросить, живъ-ли онъ легче-ли ему?

— Да я посылалъ уже, и письмо получилъ отъ Аркадьева. Пишетъ, что Петя всталъ съ постели. Я радъ, душа моя очень радъ... Хочешь, прочту тебѣ, что пишетъ Аркадьевъ?.. Поди принеси... У меня на столѣ подъ прессъ-папье сегодняшнее, утрешнее письмо найдешь въ конвертѣ—бумага такая атласистая, съ вензелемъ.

Саша принесла письмо съ вензелемъ. Орѣшинъ надѣлъ очки и сталъ читать:

«Сегодня, другъ мой, утромъ я засталъ Петра Егорыча

на балконѣ — вышелъ провѣтриться (Слышишь, Саша... на балконѣ... значитъ, силы возстановляются!).. Словный онъ, должно быть, малый, продолжалъ читать Орѣшинъ.—Я уже предчувствую, что мы будемъ друзьями... Разумѣется, онъ будетъ другъ въ глубинѣ души своей меня презирающій, а я буду другъ его, въ глубинѣ души своей его сожалѣющій... (Эдакій чудакъ!..). Докторъ изъ уѣзда, который не иначе входилъ къ нему, какъ предварительно снявши сюртукъ и брюки, не смѣлъ ко мнѣ и приближаться, прежде чѣмъ одеколономъ не вымывалъ себѣ руки и бороду. Разъ говорилъ онъ мнѣ, какъ твой юнецъ въ забытьи назвалъ его Надей и такъ глядѣлъ на него, точно онъ не обрубокъ мужскаго пола, а существо съ полной грудью и алыми губками».

— Ну, дальше не касающееся и не интересное... пробурчалъ Орѣшинъ, какъ-бы раскаяваясь, что прочелъ Сашѣ послѣднюю фразу.

Черными и большими, большими глазами, какъ-бы остановившимися на блѣдномъ, похудѣвшемъ личикѣ, смотрѣла дѣвочка на старика и думала: «Если такъ, то онъ скоро пріѣдетъ». Больше она ни о чемъ не подумала.

Орѣшинъ-же въ эту миниту не замѣчалъ ни Саши, ни черныхъ глазъ ея, съ рѣдко мигавшими рѣсницами,—онъ дочитывалъ письмо своего стараго друга или, лучше сказать, перечитывалъ.

«Что мы ни предпринимай, дружище Аполлонъ Карпычъ— писалъ къ нему Аркадьевъ, — ничего не будетъ: наша пѣсенка спѣта... ничего мы съ тобой не подѣлаемъ!.. Что значитъ какой-нибудь Петя Клинъ, бѣдный юнецъ, живущій уроками? Что онъ значитъ передъ нами, столбовыми дворянами и полуразорившимися, нѣкогда очень богатыми помѣщиками? Повидимому—ничего не значитъ; а между тѣмъ мы съ тобой никуда передъ нимъ не годимся: онъ не брезгливъ, а мы брезгливы; онъ не боится ходить по зараженнымъ избамъ— а мы биомся... Его поражаютъ соломенныя кровли, обдер-

ганныя вѣтрами и безкормицей, грязь, тѣснота и нищета крестьянскаго житья-бытья, — а мы ко всему этому приглядѣлись и принюхались... Живемъ по деревнямъ и будто-бы хозяйничаемъ, а въ сущности кое-какъ прозябаемъ; все идетъ мимо нашихъ рукъ, и даже доходы съ земли не всѣ попадаютъ къ намъ—не съ чѣмъ и за-границу ѣхать. Да, брать, наша пѣсенка спѣта... Затянулъ кто-то другую пѣсню, и мы, старики, хоть иногда и стараемся ей подтягивать — выходитъ фальшь... Голосу не хватаетъ, да и содержаніе пѣсенки-то этой намъ не по вкусу... Что будетъ? Аллахъ это вѣдаетъ... Много мы съ тобой спорили, ни до чего не доспорились, а юный Клинъ слушалъ, молчалъ, смекалъ и вывелъ изъ нашихъ споровъ свои собственныя заключенія, потому-что у него своя собственная, а не наша логика... Наша логика учила насъ свободолюбію, а его логика учитъ его народолюбію... Мы дошли до самобичеванія, а до чего дойдутъ они—не знаю... Да, больной твой,—малый, интересный для меня, по крайней мѣрѣ, занимаетъ стараго болтуна и наблюдателя. Но... довольно. Прощай».

ГЛАВА XXIV.

И такъ, напали мы, наконецъ, на слѣдъ нашего юноши... Онъ не на дачѣ у одного изъ своихъ товарищей, не въ лагерѣ повстанцевъ—на границахъ Сербіи... Онъ заболѣлъ и уже выздоравливаетъ въ усадьбѣ какого-то помѣщика, по фамиліи Аркадьева.

Какъ онъ попалъ туда—дѣло понятное. Онъ думалъ на нѣсколько дней спрятаться подъ крыло своей старой Мавры, въ пустой квартирѣ Орѣшина, и послать объявленіе объ урокахъ въ отъѣздъ; но генерала засталъ онъ наканунѣ выѣзда и на другой день вечеромъ уѣхалъ съ нимъ.

Глядя со стороны, съ точки зрѣнія разсудительнаго читателя, Петя былъ счастливецъ: и мачиха къ нему благо-

волила, и Ксенія и Дуня были влюблены въ него, и старая Мавра по немъ вздыхала, и Надя, и даже дѣвочка Саша были къ нему привязаны... Казалось, какъ-бы не жить, какъ бы не благословлять судьбы своей? Увы! Петя ничего этого не сознавалъ, ему было все равно... Убѣдившись, что Надя нисколько, ни на волосъ не влюблена въ него, онъ уже вообразилъ себѣ, что въ сущности онъ никому не нуженъ, что всѣ остальныя привязанности, такъ-же какъ и тѣ улыбки, тѣ глазки, какіе ему строили дѣвочки въ аллеяхъ Демидова сада, ничего, гроша мѣднаго не стоятъ.

По юношески претендующій на реализмъ и рано осмѣивающій романтиковъ, точно также по юношески жаждалъ онъ этого романтизма—любви великой, глубоко искренней и самоотверженной, и въ то-же время не считалъ себя достойнымъ даже дружбы... «Что я за человѣкъ!» думалъ онъ.— «Экзаменовъ, и тѣхъ не выдержалъ, цѣли, къ которой восемь лѣтъ стремился, и той достичь не могъ!.. Какъ дуракъ, попалъ въ число недоучекъ, никому ненужныхъ, ни на что не годныхъ!»..

Одинока, мрачна и безотрадна была душа его... Москва (гдѣ, впрочемъ, и однихъ сутокъ не пробылъ онъ) нисколько его не разсѣяла...

Очутившись въ усадьбѣ Аркадьева, онъ появлялся только къ обѣду и къ вечернему чаю. Остальное время пропадалъ, ходилъ по деревнѣ. Можетъ быть, неясная мечта сдѣлаться со временемъ писателемъ, заставила его наблюдать это новое, нищетой и грязью поразившее его, крестьянское житье-бытье... Аркадьевъ сначала не обращалъ на него никакого вниманія. Потомъ Петя, какъ бука, какъ нелюдимъ и молчальникъ, заинтересовалъ его. Аркадьевъ, Степанъ Матвѣевичъ *болтунъ и наблюдатель*, былъ въ своемъ родѣ замѣчательный человѣкъ. Въ юности подавалъ онъ большія надежды, ѣздилъ въ Берлинъ изучать политическую экономію и увлекся философіей... слылъ филологомъ и либераломъ, лично знакомъ былъ

и съ Гегелемъ, и съ Гейне. Затѣмъ полжизни прожилъ и три четверти своего состоянія истратилъ на женщинъ, пропутешествовалъ и не замѣтилъ, какъ подкралась старость и какъ очутился онъ на самомъ днѣ, т. е. въ родномъ своемъ помѣстьѣ Поярковѣ, среди запустѣлаго сада и запущеннаго, давно не ремонтированнаго господскаго дома.

Отъ скуки онъ принялся наблюдать и хозяйничать, наблюдать и отчаяваться, хозяйничать—и тоже отчаяваться.

«Жить не стоитъ», говорилъ онъ и—трусилъ смерти... безпрестанно наблюдалъ за своимъ здоровьемъ, за всѣми отправленіями своего рыхлаго организма. Довѣрчивый добрякъ, мало-по-малу, подпалъ подъ власть своего стараго слуги Ивана, паче всего боялся чѣмъ-нибудь не угодить ему; а этотъ черномазый, лоснящійся, точно масломъ вымазанный старикъ Иванъ, какъ на дурака, смотрѣлъ на этого ученаго, просвѣщеннаго и либеральнаго барина.

Орѣшинъ и Саша собрались уѣзжать... Петя слегъ въ постель съ отяжелѣвшей головой и обезпамятѣлъ... Послали за уѣзднымъ докторомъ. Докторъ его освидѣтельствовалъ и объявилъ, что и думать нельзя о томъ, чтобъ куда-нибудь везти его, что у Пети горячка тифознаго свойства. Аркадьевъ пришелъ въ ужасъ... Но и тутъ добрый, мягко-гуманный человѣкъ сказался въ немъ: онъ упросилъ Орѣшина оставить больнаго на его попеченіи, благо была лишняя комната, та самая, гдѣ и спалъ Петя,—съ лежанкой, съ окномъ на дворъ, столомъ и двумя стульями.

Петю обертывали въ холодныя простыни и сажали въ ванну, и только въ эти минуты онъ смутно сознавалъ, что боленъ и что его лечатъ.

Но не будемъ вдаваться въ подробности.

Петя очнулся и сталъ выздоравливать, и каждая мелочь, какъ ребенка, стала занимать его... Въ особенности старый, кое-гдѣ облупленный портретъ дамы прошлаго столѣтія, въ напудренныхъ волосахъ, робронахъ и фижмахъ, съ черными

приподнятыми бровками. обратилъ на себя его вниманіе. Портретъ безъ рамы, пыльный и засиженный мухами, висѣлъ на стѣнкѣ и, казалось, говорилъ ему: „какъ! неужели и ты забылъ меня? Ахъ, какъ это странно! Какъ это странно!»

На изразцевой лежанкѣ стояли чайникъ, грѣлка съ спиртовой лампочкой, какой-то кожанный футлярчикъ, столовые часики и бронзовый шандалъ въ видѣ коринфской колонны.

Окно было раскрыто настежь, половину двора освѣщало солнце, пестрѣло развѣшанное бѣлье и колыхалось на тепломъ вѣтрѣ.

Петя заглянулъ въ окно—изъ кухни вышелъ поваренокъ съ кострюлькой, пополоскалъ ее и вылилъ. Дворовый песъ у колодца стоялъ на заднихъ лапкахъ и, перегнувшись въ колодезь, доставалъ воду языкомъ и ляскалъ. Поваренокъ бросилъ въ него щепкой и, неуклюже повернувшись, опять ушелъ въ кухню. Собака, напившись. подбѣжала къ кухонной двери понюхала щель и, повертѣвшись на одномъ мѣстѣ, улеглась на крылечкѣ.

Но что всего комичнѣе казалось Петѣ, это—лицо загорѣлое, четвероугольное, съ отвислыми щеками и краснымъ носомъ, напоминавшимъ индѣйскаго пѣтуха,—лицо, испуганно заглядывавшее къ нему въ комнату, несомнѣнно принадлежавшее самому старику-хозяину. Петя видѣлъ его соболѣзнующее выраженіе, раскрытый ротъ и приподнятыя сѣдыя брови.

„Не надо-ли вамъ чего-нибудь? спрашивалъ его изъ двери Матвѣй Федоровичъ.—Не хотите-ли бульону?“ И черезъ часъ поваренокъ приносилъ выздоравливающему чашку бульону или стаканъ парного молока.

Только на тринадцатый день Петя почувствовалъ себя въ силахъ подняться, надѣть на себя, вмѣсто халата, старую гимназическую шинель и пробраться на балконъ, пользуясь тишиной и безлюдіемъ дома. Это было утромъ около восьми часовъ, послѣ проливного дождя, осушаемаго блескомъ уже

высоко стоявшаго солнца. Балконъ выходилъ на поляну, замыкаемую оврагомъ и перекрещенную двумя дорогами, изъ которыхъ одна шла въ лѣсъ, другая къ дому. Деревенскія избы толпились за оврагомъ, на днѣ котораго протекала обмелѣвшая рѣчка, полоскались утки и нѣжились свиньи.

Съ жадностью Петя вдыхалъ въ себя влажный утренній воздухъ... Все петербургское:—экзамены, мачиха, обманывающая мужа, отецъ, богатѣющій взятками, и даже образъ Нади,—какъ-бы выдохлось и уже не разъѣдало души его... Ему хотѣлось перейти поляну и тамъ, на краю обрыва, лечь на травѣ, глядѣть въ пространство и ни о чемъ не думать.

«Какая, однако, жалкая деревушка!» думалъ Петя, «хоть-бы скамеечки возлѣ избъ, хоть-бы палисадники, ничего!.. Даже подсолнечниковъ не видать!.. Вонъ опять потянулись куда-то бабы... поютъ... Подумаешь, веселятся... А во снѣ или на яву видѣлъ я эту большую дѣвочку, съ свинцовымъ лицемъ, съ запекшимися губами?.. Я стоялъ, смотрѣлъ... я даже забылъ, зачѣмъ я забрелъ въ эту клѣть. Отъ духоты и смрада у меня голова кружилась... «Чего пришелъ!» слышу я старушечій голосъ, «и безъ тебя помретъ!»... Глаза больной мутно и тревожно поглядѣли въ сторону, изъ груди вырвался подавленный стонъ... а куры ходили подъ лавкой и кудахтали... а широкія щели зіяли, и потолокъ былъ черный, и земляной полъ былъ изрытъ, и тараканы бѣгали по голымъ, окоченѣлымъ ногамъ умирающей, и старуха жевала какую-то корку, и никакой жалости не было на этомъ деревянномъ, коричневомъ лицѣ, съ отвислымъ подбородкомъ, въ видѣ мѣшечка, и провалами на щекахъ, сухихъ и скуластыхъ»..

«Скверный сонъ, подумалъ Петя... А что, если я пойду туда, и узнаю... Меня лечили, неужели-же ихъ никто не лечитъ и никто не помогъ этой крестьянской дѣвочкѣ?»...

Но обаятельная сила солнечнаго свѣта, тепла, зелени и простора опять затушевала въ памяти его этотъ скверный

сонъ или эту, впервые познаваемую имъ, дѣйствительность... Петя вспомнилъ добраго Орѣшина, маленькую Сашу, съ блѣдно-матовымъ личикомъ и черными, какъ бархатъ, вопрошающими глазами, и его потянуло къ нимъ...

Но вдругъ, сзади его послышался скрипучій и въ то-же время симпатическій голосъ стараго Аркадьева... Петя съ балюстрады поднялъ свою, подпертую локтями, косматую голову и оглянулся. Аркадьевъ стоялъ въ дверяхъ, въ теплой шерстяной фуфайкѣ сверхъ клѣтчатаго лѣтняго бѣлья, въ шотландской шапочкѣ, въ замшевыхъ сапогахъ и въ шароварахъ верблюжьяго цвѣта; въ рукахъ его была стклянночка со спиртомъ, которую онъ тотчасъ-же и поднесъ къ своему жирному носу, какъ только Петя обернулся на его привѣтливый голосъ: «Какъ вы себя чувствуете?».

— Сидите, сидите, не вставайте, что за церемоніи. А давно прошли у васъ эти пятна или сыпь?

Онъ подалъ Петѣ и тотчасъ какъ-то испуганно-нервно отнялъ у него свою мягкую, теплую руку, такъ что Петѣ не удалось и пожать ее.

— Я непростительно трусливъ и малодушенъ. Вы за это въ правѣ презирать меня... Но что дѣлать—жить тяжело, а умирать и скверно, и подло... И знаете, Петръ Егоровичъ, почему особенно я радъ, что вы не умерли? Васъ-бы не стали хоронить: никакого у васъ вида нѣтъ... и если есть, то, можетъ быть, его увезъ Орѣшинъ, и вышла-бы исторія. «Кто такой?» спросилъ-бы становой и тамъ... вся эта наша уѣздная полиція... И чтобы я тогда отвѣтилъ? Мы живемъ въ такое время, что скажи родной сынъ, что это родной отецъ его — безъ документовъ никто не повѣритъ. На эту мысль навелъ меня этотъ докторъ... Онъ очень боялся, что вы не выживете... Слава Богу, что такъ случилось, что вашъ организмъ устоялъ...

Петя извинился, что надѣлалъ такихъ тревогъ и признался, что аттестата своего онъ не захватилъ съ собой, но

что онъ напишетъ директору и попроситъ ему выслать все на имя Орѣшина.

— Такъ и сдѣлайте, сказалъ Аркадьевъ. — И если вы еще не пили чаю, пойдемте чай пить.

Мало-по-малу старикъ и юноша на столько сошлись, что могли откровенно другъ съ другомъ разговаривать. Знаменательное это было время для Пети. Онъ знакомился съ человѣкомъ, который въ Европѣ слылъ за образецъ воистину образованнаго русскаго, а на другой почвѣ былъ подчасъ хуже малаго ребенка, зналъ не только политическую экономію во всѣхъ ея фазисахъ, не только изучалъ всѣхъ современныхъ соціалистовъ, но и писалъ на нихъ статейки, по-французски и по-англійски, а хозяйство свое велъ до того плохо, что для всей окрестности сталъ какъ-бы нарицательнымъ именемъ плохого хозяина. Понималъ Фауста, понималъ направленіе современныхъ идей въ литературѣ и въ искусствахъ, а русскаго мужика никакъ понять не могъ. Россія для него была загадкой... Жизнь крестьянской семьи, безъ кухни и спальной, казалась ему абсурдомъ, какой-то дикой невозможностью, облеченной въ очевидность, самую несомнѣнную. Никакъ не могъ онъ понять, отчего чѣмъ плодороднѣе земля и чѣмъ больше даетъ она хлѣба, тѣмъ бѣднѣе русскіе мужики, и наоборотъ—чѣмъ хуже земля, тѣмъ они богаче. Явленіе совершенно чуждое, непонятное для европейскаго ума его. Несмотря на всю его щедрость и благорасположеніе къ крестьянамъ, онъ не пользовался ни ихъ любовью, ни ихъ довѣріемъ. И опять онъ никакъ понять не могъ, отчего мужикъ пойдетъ скорѣй къ кулаку за помощью, чѣмъ къ нему, русскому, великодушному барину...

Онъ жилъ какъ-бы въ царствѣ какихъ-то недоразумѣній, явныхъ противорѣчій и положительно не зналъ, какъ ему вести себя.

Онъ былъ не лѣнивъ, напротивъ, дѣятеленъ и даже неутомимъ, но никто его не слушался, и все, что ни затѣвалъ

онъ, оказывалось ему въ убытокъ, тогда-какъ по разсчету выходилъ барышъ. Онъ доходилъ до того, что хотѣлъ всё бросить и бѣжать куда глаза глядятъ, хваталъ себя за голову, бѣгалъ по комнатѣ и визжалъ: «Нѣтъ, нѣтъ, такъ жить нельзя! Нельзя такъ жить!..»

И все жилъ, все думалъ на столько поправиться въ денежномъ отношеніи, чтобъ уѣхать заграницу и тамъ вздохнуть свободнѣе...

Изъ школы, которую завелъ онъ, въ продолженіи послѣднихъ 6-ти лѣтъ вышло до тридцати грамотныхъ мальчиковъ; онъ объ нихъ заботился, даже снабжалъ ихъ книгами; но оттого-ли, что они начитались книгъ, которыя онъ давалъ имъ, или просто потому, что куда-то въ даль потянуло ихъ,— ни одинъ изъ грамотныхъ не остался при семьѣ, ни одинъ не взялся за полевыя работы, и всѣ ушли промышлять. Кто записался въ мѣщане, кто сталъ торговать пряниками; кто поступилъ въ трактиръ половымъ, и только одинъ изъ нихъ, самый негодный изъ всѣхъ и въ добавокъ пьяница, остался въ селѣ писаремъ при волостномъ правленіи.

Выписанныя имъ машины,—жатвенная, молотилка и сѣялка, — работали съ небольшимъ годъ, затѣмъ сломались, и некому было чинить ихъ. Тотъ, кто взялся чинить, лучше-бы и не брался. Пришлось выписывать мастеровъ изъ Тулы, и во-что все это обходилось Аркадьеву—Аллахъ вѣдаетъ...

То записывалъ онъ каждую копейку, то принимался за чтеніе или увлекался перепиской съ пріятелями и совершенно забывалъ всякіе счеты, такъ-что въ концѣ мѣсяца самъ иногда не зналъ куда ушли его деньги...

— Чортъ знаетъ, что это такое! говорилъ онъ однажды, разставивъ руки: — было пятьсотъ, остается 211; куда-же ушли 289 рублей? Пфу!

И почесавши затылокъ, призвалъ онъ своего тирана Ивана и спросилъ его, куда въ продолженіи одного мѣсяца ушли у него 289 рублей?..

— А почемъ я знаю! зарычалъ на него Иванъ.—Я не кралъ у васъ!..

— Знаю, что ты не кралъ, но куда-же ушли они? Пфу...

— А сколько вы въ Петровъ день бабамъ дали на водку?

— Бабамъ на водку... ну восемь, ну десять, наконецъ...

— Ну вотъ десять... А сколько вы дали повару на-провизію? А какъ пріѣзжалъ Офонкинъ съ женой, на сколько вина приказывали купить?.. Мало-ли у васъ всякихъ прихотей-то, да-съ. Вы тутъ швыряете... бабамъ на водку даете, а тутъ сами удивляетесь...

При этомъ Аркадьевъ вспомнилъ, что онъ выписалъ изъ Тулы самоваръ, на стеклянномъ заводѣ заказывалъ колпакъ для часовъ, купилъ коричневый пледъ съ красными разводами... и все-таки ворчалъ. «Пфу, ты пропасть!»...

— Пфу, сердито отозвался Иванъ.—Сами вы не знаете, что говорите... и ушелъ, шмыгая ногами въ смазныхъ сапогахъ и заложа руку за пазуху.

Вотъ какого рода былъ человѣкъ или помѣщикъ, къ которому судьба забросила Петю.

Орѣшинъ былъ нѣсколько въ томъ-же родѣ; но тотъ совершенно иначе надувалъ себя. По своей натурѣ, ограниченно дѣловой и аккуратный, онъ былъ созданъ для службы и кабинетныхъ занятій. Только потеря семьи сдѣлала его страннымъ, разсѣяннымъ, какимъ-то галлюцинатомъ и, такъ сказать, на свой образецъ религіознымъ. Онъ вѣрилъ въ загробную любовь жены, и что-же мудренаго, что позорище торжественно-пышныхъ и бѣдныхъ похоронныхъ процессій, панихиды и могилы нисколько не смущали Орѣшина. Онъ и самъ уже одной ногой стоялъ въ могилѣ. И если нигилисты, о которыхъ только изъ книгъ онъ имѣлъ понятіе, тревожили умъ его, но надо-же было чѣмъ-нибудь тревожиться... Живой человѣкъ и мертвый покой—двѣ вещи не совмѣстимыя.

Аркадьевъ Петя и потому, быть можетъ, и сошлись, что одинъ не понималъ народа, потому-что сквозь готовые, за-

падно-либеральные очки наблюдалъ его; а другой не понималъ его просто потому, что впервые отъ роду лицемъ къ лицу столкнулся съ нимъ. Но Аркадьевъ, какъ человѣкъ уже значительно пожилой, отчаялся и за себя, и за народъ, и за его будущность; а юный Клинъ, напротивъ, вѣрилъ, что все измѣнится къ лучшему, если только люди умные и честные во что-бы то ни стало пожелаютъ этого лучшаго. Онъ даже вдругъ, послѣ одного спора съ Аркадьевымъ, сказалъ ему: «Вы думаете только о томъ, чтобъ и имъ было хорошо и вамъ хорошо. Нѣтъ, вы думайте такъ: пусть мнѣ будетъ скверно, а имъ хорошо... Тогда весь этотъ хаосъ, быть можетъ, и придетъ въ равновѣсіе»...

Аркадьевъ поглядѣлъ на него и сказалъ:

— Дай вамъ Богъ! Только не попадите въ угарную комнату... Тамъ непремѣнно угорите; вамъ будетъ скверно, но зато и народу не будетъ легче...

Петя не вдругъ понялъ, что значитъ попасть въ угарную комнату. Наконецъ, понялъ и задумался.

ГЛАВА XXXV.

Пришли сказать Аркадьеву, что гречиху его градъ побилъ.

— Неужели всю?!..

— Почитай-что всю... какъ есть полегла, Матвѣй Ѳедоровичъ.

— Ну, что-же дѣлать!.. Чѣмъ я тутъ повиненъ есмь... Бога не переспоришь... Жаль, жаль пшеницы! походя, говорилъ Аркадьевъ, засунувъ руки въ карманы широкихъ и мягкихъ шароваръ своихъ и мягко ступая по ковру, разостланному во всю длину его кабинетика.

— Что ни день—то убытки!.. А деньги таютъ и таютъ... «Пусть будетъ намъ скверно, имъ будетъ хорошо»... да, какъ не такъ!..

И затѣмъ, усѣвшись за письменный столъ, чтобъ справиться, сколько десятинъ было засѣяно грѣчихи, онъ съ полчаса копался въ своихъ запискахъ, ничего не нашелъ, и сталъ думать все на ту-же тему, которая почему-то не давала ему покоя. Очевидно, что послѣдняя фраза Пети сильно его озадачила.

«Что это,—просто фраза или знаменье времени?—«Пусть будетъ намъ скверно....»—это значитъ, мы должны всѣми своими животами жертвовать... Да, кто знаетъ, быть можетъ, я-бы и жертвовалъ, если-бы вѣрилъ, что изъ этого выйдетъ какой-нибудь толкъ. Вотъ, онъ вѣритъ... вѣритъ, можетъ быть, и потому, что ему нечѣмъ и жертвовать-то; а я не вѣрю... Одна земля не дастъ намъ европейскихъ порядковъ и не повыситъ культуры.—Это дѣло вѣковъ... Вонъ, у насъ, одинъ чудакъ помѣщикъ каменные дома на свой счетъ построилъ мужикамъ со всѣми удобствами, и что-же?—Всѣ они перешли въ свои курныя избы и прозябаютъ по-своему, да еще говорятъ: баринъ нашъ дуритъ, балуется»... Вотъ ты тутъ и жертвуй, и раззоряйся... А вонъ, въ селѣ**, на большой брянской дорогѣ, у крестьянина Андронова капиталъ въ сотняхъ тысячъ: каждый годъ ѣздитъ въ Москву за процентами, а живетъ свинья свиньей, и точно также не на кровати, а на овчиномъ тулупѣ на палатяхъ спитъ... Говорятъ — жертвуй на школы, развивай грамотность... Хорошо... А какая отъ этого польза земледѣльческому, крестьянскому сословію, если грамотные покидаютъ землю, бросаютъ семьи и уходятъ, кто въ писаря, кто въ лакеи, кто въ конторщики?.. Что за польза, если идеалъ этого грамотнаго—кулакъ?.. Не бороться съ кулаками, а быть самому кулакомъ и міроѣдомъ—вотъ цѣль, вотъ о чемъ онъ грезитъ и о чемъ Господу Богу молится!.. Въ силахъ-ли я дать ему—этому мало-мальски смышленному парню другой идеалъ, если ему не даютъ его ни попы, ни чиновники. Можетъ быть, этотъ юнецъ, этотъ едва оперившійся Клинъ, дастъ имъ идеалъ и озаритъ ихъ темныя го-

ловы... Ну, дай Богъ!.. Пусть тогда будетъ имъ хорошо, а намъ скверно... Какъ-будто мыслящимъ людямъ и такъ не скверно!.. Какъ-будто мнѣ не жаль, что больные умираютъ безъ всякой помощи! Но развѣ я могу въ каждое село, въ каждую деревню посадить по доктору?. Что тутъ подѣлаетъ какой-нибудь уѣздный врачъ, одинъ врачъ на десятки тысячъ больныхъ, разбросанныхъ на сотни верстъ? Вотъ онъ заразился, вынесъ горячку, да еще какую-то сыпную... Ну хорошо, что молодъ—вынесъ, кривая вывезла,—а я?.. Въ нѣсколько дней отъ меня трупомъ вонять начнетъ... Брр!.. Сквернѣе этого я ничего себѣ представить не могу... Странный это мальчуганъ—этотъ Клинъ!.. Чувствую, что я за что-то могу полюбить его, т. е. не полюбить, а привыкнуть и даже находить нѣкоторое удовольствіе препираться съ нимъ... Онъ вѣритъ!.. Что-жъ, это хорошо... Въ девятнадцать или двадцать лѣтъ нельзя-же такъ извѣриться, какъ мы извѣрились... Только отчего онъ по временамъ такъ загадоченъ, точно хочетъ что-то сказать и молчитъ»?..

Петя дѣйствительно не вполнѣ высказывался, но не изъ скрытности и вовсе не изъ желанья казаться загадочнымъ: онъ просто-на-просто не довѣрялъ себѣ, какъ человѣкъ, еще не вполнѣ убѣжденный, какъ человѣкъ, еще жаждущій правды и попавшій въ среду, ему совершенно незнакомую. Между Орѣшинымъ и Аркадьевымъ ничего не было общаго, у каждаго изъ нихъ было свое міросозерцаніе, оба они были старые пріятели чуть-ли не съ дѣтства; сошлись послѣ долгихъ лѣтъ разлуки, заговорили и заспорили, и Петя былъ свидѣтелемъ ихъ споровъ, но ничего опредѣленнаго и яснаго не могъ вывести изъ ихъ рѣчей... Орѣшинъ все строилъ на своей душѣ,—человѣческая душа, и больше ничего... Погибай все, лишь-бы не гибло то, что всего дороже—собственная душа его, съ ея горькимъ прошлымъ и свѣтлымъ будущимъ. Аркадьевъ, напротивъ, ничего хорошаго не находилъ въ человѣческой личности и обрекалъ ее вѣчному, вполнѣ

заслуживаемому, забвенію и безсознательному сліянію съ природой. Орѣшинъ уѣхалъ отъ Аркадьева, по-прежнему любя его и въ то-же время мысленно отплевываясь и отворачиваясь отъ всего, что говорилъ онъ, какъ пессимистъ неисправимый и горькій...

Петя иногда не безъ удачи спорилъ съ своимъ пожилымъ и фантазирующимъ другомъ Ознобинымъ; здѣсь-же спорить не хотѣлъ, такъ-какъ, внимая имъ, проникался какимъ-то темнымъ или тайнымъ недовѣріемъ къ тѣмъ обобщеніямъ, до которыхъ оба старика были охотники.

«Намедни», продолжалъ думать Аркадьевъ... я его пощупалъ, поэкзаменовалъ въ латыни... сказалъ, что, когда онъ былъ боленъ, мнѣ приходили на умъ стихи римскаго императора Адріана:

Animula, vagula, blandula
Hospes comesque corporis
Quae nunc abibis in loca?

Тотчасъ-же понялъ и перевелъ. Да, онъ не безъ способностей... А вотъ онъ, вотъ онъ!.

— Подите-ка сюда, молодой человѣкъ!

Петя, проходя на балконъ, услыхалъ голосъ Аркадьева и вошелъ въ его комнату. Онъ былъ въ одномъ пальто безъ сюртука и на распашку. Жилетки и галстуха тоже не было, рубашка, съ плохо-накрахмаленной грудью, была смята и не отличалась свѣжестью, только волосы были причесаны, не всею пятерней, какъ это часто случалось, но несомнѣнно какимъ-нибудь гребнемъ...

Аркадьеву эта небрежность къ костюму давно уже не нравилась въ Петѣ. Онъ и не подозрѣвалъ, что Петя потому только и не надѣвалъ своего сюртука, что дорожилъ имъ и берегъ его, и что Петя совѣстился отдавать прачкѣ мыть бѣлье свое, такъ-какъ у него буквально не было ни копейки денегъ. Къ тому-же, пробираясь въ поле, Петя и не думалъ что Аркадьевъ до обѣда позоветъ его.

— А знаете, я давно хотѣлъ васъ спросить, началъ Аркадьевъ, добродушно улыбаясь и въ то-же время съ прищуренными глазами нагибаясь къ какой-то французской книжкѣ.—Да-съ... хотѣлъ спросить: что это за Надя, которой вы бредили... Были въ сорокаградусномъ жару и нашего врача, Карла Ивановича Баха, называли Надей... Что это значитъ, позвольте васъ спросить, если это не секретъ?..

Петя не покраснѣлъ, но смутился и вытаращилъ на Аркадьева выразительно черные глаза свои.

— Мало-ли о чемъ бредешь въ жару, проговорилъ онъ.— Развѣ я помню, о чемъ я бредилъ.

— Нѣтъ, вы не виляйте, прямо говорите—влюблены вы въ какую-нибудь Надю? Вѣдь, судя по всему, вы человѣкъ страстный, я это замѣтилъ...

Аркадьеву просто хотѣлось о чемъ-нибудь поговорить, чтобъ только не думать ни о побитой градомъ гречихѣ, ни о мужикахъ, ни о чемъ.

— Почему вы это замѣтили? спросилъ Петя.

— Да по всему. Темпераментъ у васъ такой нервно-холерическій; да и въ глазахъ есть, есть нѣчто затаенное. Я увѣренъ, что когда вы гуляете по лѣсу и слышите, какъ аукается дѣвка или молодая баба, — вы вздрагиваете, замираете и навостряете уши... А, не правъ-ли я, Петръ Егоровичъ?

— Не знаю, правы-ли вы... можетъ быть, я и страстенъ, какъ вы изволили наблюсти, только и самообладанья во мнѣ не мало...

— Ну да, есть въ васъ и самообладанье. Это правда, что есть. Но одно не исключаетъ другого... Эхъ, дайте мнѣ ваши годы!

— Что-бы вы сдѣлали?

— Беззавѣтно и безпардонно наслаждался-бы! тономъ ниже, не безъ сожалѣнія, произнесъ Аркадьевъ и, судя по голосу, было очевидно, на сколько глубоко и искренно было

это сожалѣніе. Впрочемъ, у всѣхъ стариковъ это сожалѣніе и глубоко, и искренно.

— Ну, мнѣ кажется, судя по вашимъ нѣкоторымъ разсказамъ, вы уже порядочно насладились... всѣ средства на это имѣли... замѣтилъ Петя, усаживаясь въ кресло и поглядывая то въ открытое окно, то на Аркадьева.

— Не скажу... Старость застигла меня неудовлетвореннымъ. Многаго я хотѣлъ отъ жизни и ничего не получилъ... Всѣ мои воспоминанія таковы, что ни одно изъ нихъ нельзя назвать ни сокровищемъ, ни святыней, «нечего сожигать и нечему поклоняться...» Вся моя жизнь— это рядъ порванныхъ повѣстей, съ вырванными подъ конецъ страницами... Кто ихъ вырвалъ—судьба или я самъ?.. Всего вѣроятнѣе, что я самъ, такъ какъ я былъ страшно себялюбивъ. Не будьте себялюбивы и не бойтесь концевъ, каковы-бы они ни были. Трусить женщинъ, напримѣръ... да вѣдь это тоже, что капитану корабля трусить моря. Не далеко уйдешь, если будешь бояться каждой тучи или безпрестанно справляться съ барометромъ. Помолодѣй я вновь и останься у меня въ памяти моя опытность—я поступалъ-бы иначе...

Петя улыбнулся.

— Можетъ быть, и было-бы скверно, если-бы я женился; но можетъ быть, за скверные дни, жизнь дала-бы мнѣ и хорошіе... Ну, что, Иванъ?

— Кушать готово. Пожалуйте.

Иванъ вышелъ.

— Ну, пойдемте насыщать себя, а не то Иванъ насъ выругаетъ... Что прикажете дѣлать—ругается, и—всегда правъ, замѣтьте, всегда правъ, и всегда я виноватъ...

«Не видалъ я еще такихъ»... подумалъ Петя и пошелъ къ обѣденному столу въ столовую, оклеенную старинными обоями, въ видѣ декорацій, изображающихъ лѣсъ, восточные храмы и женскія фигуры съ урнами на головахъ, спускающіяся по ступенькамъ къ синей водѣ съ бѣлыми лотосами въ

видѣ лилій, выглядывающихъ изъ-подъ какой-то золоченой облупленной каемки.

Аркадьевъ не даромъ держалъ повара — онъ любилъ хорошо и вкусно покушать. Петя-же послѣ болѣзни чувствовалъ такой аппетитъ, что ѣлъ все, что ему подавали, съ величайшимъ удовольствіемъ, даже съ нѣкоторою жадностью.

Аркадьевъ былъ очень доволенъ, что Петя обнаруживаетъ аппетитъ небывалый. Но едва-ли еще не раньше Аркадьева, замѣтилъ это Иванъ, который подавалъ блюда, и при этомъ глядѣлъ не столько на самого Петю, сколько на его вилку и на тѣ куски, которые валилъ онъ себѣ на тарелку.

«Ишь, проголодался!... думалъ про себя Иванъ — Не мало тутъ хлопотъ-то было, какъ тебя поднимали да ворочали».

— Теперь, вотъ что я хотѣлъ-бы спросить васъ, Петръ Егорычъ. Вы въ первый разъ, такъ сказать, окунулись въ нашу провинцію, понюхали чѣмъ она пахнетъ, и неужели вы думаете, что поняли мужика и его нужды?

— Нѣтъ, сказалъ Петя,—нужды его я вижу, а мужика вашего все-таки не понимаю. Да и вы его не понимаете, хоть и родились въ деревнѣ, хоть и живете здѣсь безвыѣздно.

— А почему вы думаете, что я его не понимаю?

— А вы думаете, мужикъ понялъ-бы насъ, если-бы сидѣлъ вотъ тутъ и слышалъ наши бесѣды объ искусствѣ, о греческихъ классикахъ, объ Адріанѣ, римскомъ императорѣ, объ идеалахъ и проч., и проч. Нѣтъ, не понялъ-бы, потому что никогда объ этомъ не слыхалъ, не читалъ, не знаетъ, да это ему и не нужно... Такъ и вы его не понимаете, потому что за сохой босикомъ не ходите, дымомъ всю зиму не дышете и хлѣба съ мякиной не вкушаете.

— То есть вы хотите сказать, что между нами бездна непроходимая?

— Да, почти что такъ, пожавъ плечами, сказалъ Петя, не ожидавшій такого вывода изъ его собственныхъ словъ и какъ-бы озадаченный.

— А если бездна, то...

— То надо, чтобы эта бездна какъ-нибудь засыпалась...

— А какъ она засыплется?..

Петя поглядѣлъ на него и медленно, какъ-бы раздумывая о чемъ-то, проговорилъ: — «Не знаю, какъ она засыплется».

— Ну, выпейте вина, и знайте, что если и есть бездна, то вовсе не потому, что мы другъ друга не понимаемъ... Есть вещи, всѣмъ одинаково понятныя, на всѣхъ ступенкахъ образованности... И аристократъ, и мужикъ, и даже краснокожій индѣецъ пойметъ, что для него зло, что добро... пойметъ, что справедливость лучше несправедливости, свобода лучше неволи, богатство лучше бѣдности. . Стало быть, такой нравственной бездны, о которой вы говорите, и быть не можетъ... Мужикъ не пойметъ, если мы заговоримъ съ нимъ о Бетховенѣ, но очень хорошо пойметъ, если мы его надуемъ, и, къ сожалѣнію, точно также отнесется къ этому надуванью, какъ и 99 русскихъ изъ цѣлой сотни нашей интеллигентной бюрократіи, т. е. или почесывая затылокъ, или даже съ нѣкоторымъ уваженіемъ къ ловкому надуванью. Надуй я казну и разбогатѣй, многіе изъ числа ревнителей этой казны скажутъ, что я молодецъ, и охотно простятъ мнѣ всякое воровство, если только нельзя придраться. Мошенниковъ мы любимъ, мы предпочитаемъ ихъ на выборахъ и нерѣдко на судахъ оправдываемъ. Они плоть отъ плоти нашей и кровь отъ крови нашей. Такой-же и мужикъ, и тутъ мы недалеки другъ отъ друга, и нечѣмъ намъ передъ нимъ хвастаться.

— Почему-же и не похвастаться? сказалъ Петя. — Мы его надуемъ— онъ почешетъ затылокъ и пойдетъ по-міру, холодный и голодный; а онъ насъ надуетъ, мы, можетъ быть, и выругаемся, но по-міру не пойдемъ. Много, много, что лишней тройки лошадей не купимъ или заграницу не поѣдемъ. Надуванье-то, значитъ, одно и то-же, да послѣдствія-то не тѣ-же...

— Это правда, согласился Аркадьевъ. — Однако-же, вы того... человѣкъ, какъ я вижу, сердитый...

— Сердитый!.. Почему сердитый? Я не сержусь на васъ.

— А все-таки были-бы рады, если-бы я разорился и пошелъ уроки давать на старости или веревки вить...

Петя вовсе объ этомъ не думалъ, но такъ какъ Аркадьевъ именно такого рода помыслы приписалъ ему, проговорилъ:

— А можетъ быть это и было-бы лучше.

— То-есть, лучше быть пролетаріемъ, чѣмъ помѣщикомъ? Эхъ! Ну, а кто-бы тогда угостилъ васъ порядочнымъ обѣдомъ?

— Ну, мы и простой-бы съѣли съ такимъ-же удовольствіемъ.

— Да и простого обѣда я-бы не далъ вамъ, — самъ-бы съѣлъ. Или, не найди мы съ вами работы — и никакого-бы не было...

— Никакого... Да, это было-бы скверно. Только мы тогда-бы и поняли, что значитъ жить безъ мяса и питаться сухимъ и черствымъ хлѣбомъ, запивая его не квасомъ (потому что у васъ въ деревнѣ и квасу нѣтъ), а водицей.

— Ну, поняли-бы; но чѣмъ-бы мы тогда помогли, если-бы и поняли?

— Умомъ.

— Да откуда-же былъ-бы и умъ, если-бы не было досуга развивать его!.. Вѣдь пахать, сѣять, жать, сѣно убирать и готовиться къ экзаменамъ зрѣлости—двѣ вещи несовмѣстимыя.

Петя даже поблѣднѣлъ,—такъ этотъ разговоръ всего пронималъ его; ему-же казалось, что Аркадьевъ не серьезно, а просто изъ какого-то любопытства щупаетъ его голову, и даже находитъ въ этомъ нѣкоторое удовольствіе.

— Что-же вы не возражаете? А возразить очень легко. Слыхали о раздѣленіи труда?.. Умственный трудъ и физическій...

На этомъ прекратился обѣдъ, но разговоръ все еще продолжался, хотя и принялъ нѣсколько иное направленіе.

Аркадьевъ спросилъ Петю, отчего онъ все время молчалъ, когда былъ Орѣшинъ, и ни разу не вмѣшался въ разговоры ихъ.

— Слушалъ, что вы говорили, и поучался. Къ тому-же вы тогда и не обращали на меня вниманія, смотрѣли на меня, какъ на мальчика.

— А можетъ быть, я и теперь смотрю на васъ, какъ на мальчика, сморщивъ носъ и насмѣшливо уставивъ на него продолговатые, съ отяжелѣвшими вѣками глаза свои, сказалъ Аркадьевъ.

— Мнѣ теперь все равно, какъ вы на меня смотрите.

— Гордый-же вы человѣкъ!

— Какъ-же я могу въ одно и тоже время быть и гордымъ человѣкомъ, и мальчикомъ?

— Ну, вы теперь еще безбородый гордецъ (такъ какъ пухъ на вашемъ подбородкѣ я не считаю за настоящую бороду), а отростетъ борода — будете гордецъ бородатый. Не хотите-ли папироску выкурить?

— Не курю, не привыкъ.

— У насъ въ деревнѣ всѣ, даже мальчишки, курятъ: изъ азбукъ вырываютъ листы и свертываютъ себѣ папироски.

— Не привыкъ я, потому что на табакъ у меня никогда денегъ не было.

— А вотъ у моихъ крестьянъ и на табакъ деньги есть.

— Завидую ихъ благополучію...

ГЛАВА XXXVI.

Послѣ обѣда, вставши изъ-за стола и потягиваясь, Аркадьевъ велѣлъ заложить шарабанъ, съ тѣмъ, чтобы поѣхать и самому осмотрѣть поля, побитыя градомъ.

Онъ былъ въ хорошемъ настроеніи духа и предложилъ Петѣ прокатиться съ нимъ. Петя-же былъ въ настроеніи духа самаго неопредѣленнаго свойства, что весьма часто

случается съ юношами его возраста. Онъ былъ и доволенъ собой, и недоволенъ, ему было хорошо и уютно (онъ сознавалъ, что хозяинъ нисколько не тяготится имъ), и его тянуло куда-то. Ему хотѣлось сѣсть верхомъ на бѣшеную лошадь и скакать, скакать куда глаза глядятъ, скакать во весь духъ, такъ, чтобы въ ушахъ воздухъ свистѣлъ какъ вѣтеръ, и думалъ: неужели нуженъ досугъ для того, чтобъ даже наслажденіе природой воспитать въ себѣ, или этой радости никто не лишенъ, даже та старуха, которая за два рубля въ лѣто ходитъ за свиньями.

— Поѣдемте, сказалъ онъ Аркадьеву.

Кругомъ ходили лохматыя тучи и гдѣ-то въ сторонѣ гудѣлъ громъ... А вечернее солнце било въ эти лохмотья плавающихъ паровъ и ярко золотило ихъ. Теплый вѣтеръ дулъ имъ въ лицо, и какъ волны въ морѣ, колыхалась нива, — рожь была высока и до жатвы оставалось не долго.

— Урожай будетъ не дуренъ, сказалъ Аркадьевъ, сидя въ старомъ шарабанѣ, лицомъ къ лицу съ своимъ юнымъ гостемъ, нахлобучивъ сѣрую шляпу и опершись на свою суковатую палку. Руки его были въ зеленыхъ перчаткахъ; сѣдиной тронутые волосы и часть старчески румянной щеки его золотило тоже солнце, тогда-какъ на другой сторонѣ лица его дрожали густыя тѣни и придавали всему лицу его нѣчто напоминающее портреты Рембрандта... Видно было, что онъ былъ когда-то очень не дуренъ, и если-бы носъ его не вытянулся, щеки не отвисли, при помощи вставныхъ зубовъ, онъ-бы и теперь казался моложе лѣтъ своихъ. Однимъ только годомъ былъ онъ старше отца Пети, но далеко не такъ бодръ и такъ мужественъ и плотенъ, какъ отецъ Пети, нашъ почтенный Егоръ Антоновичъ.

Петю мысленно приводили въ нѣмой восторгъ эти степныя покатости, эти недалекіе горизонты, кой-гдѣ окаймленные небольшими и невысокими рощами; эти темно-лиловыя черноземныя пашни и желтые параллелограмы и полосы за-

сѣянныхъ полей, съ темнымъ бурьяномъ вдоль межи и васильками, спрятанными и все-таки мелькающими сквозь тонкіе и высокіе стебли колосьевъ, изъ-за которыхъ то и дѣло взлетаютъ жаворонки и трепещутся въ воздухѣ, точно висятъ на невидимой нити, и поютъ, пока не оборвется эта воздушная нить и опять не упадутъ они туда-же, откуда подняла ихъ пѣсня и теплое солнце...

Въ бродъ переѣхали они рѣчку, кое-гдѣ заросшую камышами...

— Вотъ здѣсь весной и проѣзду нѣтъ, проговорилъ Аркадьевъ, — надо объѣзжать верстъ за десять, такъ-какъ моя земля, по большей части, лежитъ по ту сторону...

— А вы зачѣмъ моста не сдѣлаете?

— А затѣмъ, съ нѣкоторою горячностью отвѣчалъ Аркадьевъ, причемъ щеки его какъ-бы усиленно дрогнули, а затѣмъ, что въ полную воду всенепремѣннѣйше снесетъ его...

— Сдѣлайте такъ, чтобъ не снесло.

— То-есть, положите на это двѣ-три тысячи... выпишите инженера и стройте на удивленіе потомству... Гм... Какъ тутъ строить, когда строевые лѣса наши вырублены и годятся только на дрова, да на собираніе грибовъ и орѣховъ, а камня, даже щебня и въ заводѣ нѣтъ... а кирпичные заводы за тридевять земель, въ тридесятомъ царствѣ... Нѣтъ-съ, легче туннель продолбить сквозь скалы Монъ-Сениса, или черезъ кавказскій хребетъ желѣзную дорогу перекинуть, чѣмъ покрыть нашу губернію хорошими проселочными путями, съ такими мостами черезъ овраги и рѣчки, по которымъ было бы можно проѣзжать съ нѣкоторою безопасностью.

Наконецъ, кучеръ привезъ ихъ къ вожделѣнной цѣли. Направо и налѣво потянулись поля, побитыя градомъ. Отцвѣтающая и уже наливающаяся гречиха лежала смятая, перепутанная и по мѣстамъ какъ-бы вбитая въ землю. Точно цѣлые полки кавалеріи проскакали и тяжелые кони смяли и

притоптали эту несчастную, красноватую зелень своими копытами.

Аркадьевъ поглядѣлъ и только руками развелъ.

Не одну гречиху, но и овесъ — десятинъ около пятидесяти—градъ побилъ. Зрѣлище было для хозяина не совсѣмъ пріятное, даже для такого хозяина, который всего этого добра можетъ быть и не собралъ-бы, если-бы даже и не было града, такъ-какъ распорядительности, хозяйской смѣтки былъ лишенъ этотъ политико-экономъ и филологъ.

Аркадьевъ вышелъ изъ фаэтона и вмѣстѣ съ Петей пошелъ къ лѣску, который виднѣлся изъ-за бугра своими полуосвѣщенными верхушками.

— Что-же дѣлать! подтрунивалъ Аркадьевъ. — Ужь не посовѣтуете-ли вы, отъ града, всѣ поля покрыть парусинными навѣсами на шестахъ... или что нибудь подобное? Нѣтъ, милостивый государь мой, природа вовсе не нѣжная, заботящаяся о насъ мать; она ни о васъ, даже о самой себѣ не заботится. Для нея нѣтъ ни добра, ни зла... все это наше человѣческое,—мы жалѣемъ о потерянномъ трудѣ или ругаемъ погоду, а природѣ все равно: она живая безсознательность и безсознательное творчество,—вотъ она что, эта наша природа, которую вы готовы воспѣвать на тысячу ладовъ, какъ-будто ей нужны ваши гимны. Они вамъ нужны, потому-что они тѣшатъ васъ.

— О какихъ это гимнахъ вы говорите, Степанъ Матвѣичь, я право и не помню, чтобъ я читалъ какіе-нибудь гимны... Не такое время...

— Не лишайте меня удовольствія нападать на васъ... на время... на природу... на Бога... на все... Ну, гдѣ тутъ справедливость!? Окна и стекла въ парникахъ моихъ цѣлы, а хлѣбъ насущный, будущая каша гречневая—побита, лошадиный кормъ истребленъ... Придутъ нанятые мужики убирать овесъ, и убирать будетъ нечего..

Петя, по тону голоса, съ какимъ говорилъ Аркадьевъ,

понялъ, что онъ просто балагуритъ на тему: «овесъ и гречиха, побитые градомъ».

— Да-съ, продолжалъ Аркадьевъ,—

Всѣ говорятъ, нѣтъ правды на землѣ,
Но правды нѣтъ и выше.

А если нѣтъ ее выше, то по какому праву, вы съ меня будете требовать какой-то высшей справедливости, или—что еще несправедливѣе—моего самопожертвованія или самоотреченія. По какому праву, я васъ спрашиваю... Да отвѣчайте-же мнѣ что-нибудь! промолвилъ онъ, ущипнувъ за руку шедшаго передъ нимъ Петю.

— Что вамъ отвѣчать? Я и не слыхалъ, что вы говорили... задумался...

— Ну вотъ и роща. Но нечего намъ тутъ располагаться. Сыро, да ужь и вечеръ на закатѣ. Поѣдемте домой, несносный вы человѣкъ! Пощадите мои кости.

Они дошли до полянки, усѣянной орѣховыми кустами и мелкимъ березнякомъ. Постояли минутъ десять и вернулись къ своему экипажу.

На возвратномъ пути, Петя сталъ разспрашивать, какой дорогой и черезъ какія деревни нужно ѣхать въ имѣніе Орѣшина.

— А вамъ зачѣмъ это знать? возразилъ Аркадьевъ, которому вовсе не хотѣлось разставаться съ Петей.

— Погостите еще у меня. Некуда вамъ торопиться... пробурчалъ онъ, когда уже кровля его усадьбы стала мелькать изъ-за прогалинъ стараго сада, облѣпленнаго грачами и галками, то-есть ихъ гнѣздами, которыя, какъ пятна, чернѣли на фонѣ зари, вмѣстѣ съ черными силуэтами сухихъ вѣтвей и густой зелени.

— Нельзя, я вѣдь взялся давать уроки...

— Кому? Развѣ эта дѣвочка не можетъ подождать? И чему это вы будете учить ее?

— Грамматикѣ, ариѳметикѣ...

— И проч. и проч... Она и безъ васъ всему этому научится.

— Да вотъ еще... Обѣщалъ я ей показать первыя правила музыки—выучить нотамъ...

— Какъ, развѣ вы играете?!

— Играю, но не люблю музыки, можете себѣ представить?

— Не любите музыки, — не могу я себѣ этого представить... Да что вы? Да какъ-же это вы!.. Знаете музыку и терпѣть ее не можете... Чушь!.. Хотите я для васъ выпишу инструментъ?

— Спасибо... Не до музыки мнѣ: впереди, сами знаете, впереди еще—экзамены зрѣлости!

— Готовьтесь у меня; весь мой домъ и всѣ мои книги къ вашимъ услугамъ. А что, курили у васъ въ комнатѣ сѣрой?

— Нѣтъ.

— Не курили?! испугался Аркадьевъ.

— Не замѣчалъ, не помню...

— Да какъ-же это, развѣ можно жить въ комнатѣ, гдѣ лежалъ тифозный, развѣ эта комната можетъ быть обитаема?

— Конечно, можетъ.

— Ну, не думаю.. съ озабоченнымъ видомъ проговорилъ Аркадьевъ. — Я васъ попрошу перейти въ другую комнату.

— Да зачѣмъ-же, вѣдь я завтра ухожу отъ васъ.

— Какъ уходите!?. Если ужь на то пошло, я обязанъ вамъ дать лошадей и на своихъ лошадяхъ отправить васъ.

— Вовсе не обязаны.

— Что вы это говорите... Богъ съ вами! Точно я варваръ или готентотъ... Но неужели завтра?

— Я такъ рѣшилъ.

— Ну, поѣзжайте... Я люблю рѣшительныхъ, можетъ быть, потому, что самъ нерѣшителенъ.

На другой день, когда въ тройку запряженная рессор-

ная тележка должна была, тотчасъ-же послѣ завтрака, подъѣхать къ крыльцу и затѣмъ отвести Петю къ Орѣшину въ деревню, верстъ за 16, Петя не явился къ закускѣ, и Степанъ Матвѣевичъ тщетно ожидалъ его.

Оказалось по справкамъ, что Петя повѣсилъ себѣ на спину старую, гимназическую сумку, гдѣ лежало бѣлье его, тетради, мыло, завернутая въ бумагу чернильница и два московскихъ, страшно высохшихъ бублика, вышелъ со двора задними воротами и, встрѣтившись съ поваренкомъ, сказалъ «Я уже не вернусь. Пожалуйста, если меня спросятъ, скажи, чтобъ меня не ждали—я ухожу.

ГЛАВА XXXVII.

«Коли языкъ можетъ до Кіева довести, думалъ Петя,—то неужели-же языкъ этотъ до деревни Тальниковой, къ Орѣшину, не доведетъ меня?»...

Но вотъ уже слишкомъ часъ, какъ усадьба Аркадьева, его липы и тополи, вмѣстѣ съ вѣтряной мельницей, ушли отъ него назадъ и спрятались за холмистыми полями, — а Петя не встрѣтилъ еще ни единаго языка, такъ-какъ босоногая баба, на вопросъ его «куда идти?» только на ходу поклонилась и затѣмъ махнула рукой куда-то въ сторону. Мужикъ-же, ѣхавшій въ пустой телегѣ, спалъ и лошаденка шагомъ сама везла его.

Петя пошелъ по той-же дорогѣ, по которой пріѣхалъ вмѣстѣ съ Орѣшинымъ, ибо зналъ отъ кучера, что на шестой или седьмой верстѣ пойдетъ поперечная дорога и, коли повернешь налѣво—доѣдешь до станціи желѣзной дороги, а коли направо—то черезъ Кубарево, Стрижи и Самокатное, дойдешь до господъ Орѣшиныхъ. Но поперечныхъ дорогъ онъ уже встрѣчалъ не мало и на каждомъ перекресткѣ останавливался съ недоумѣніемъ. Шелъ-же онъ буквально обли-

ваясь потомъ, такъ-какъ день былъ тихій и знойный и такъ-какъ несъ онъ на себѣ и сумку, и свернутое валикомъ, перевязанное веревочкой, лѣтнее пальто свое... Рубашка его, застегнутая у шеи, прилипала къ тѣлу. Сапоги съ толстыми подошвами, купленные еще передъ свадьбой Егора Антоновича, были тяжелы и натирали мозоли... Петя пробовалъ-было босикомъ идти, но не смогъ; всего-же мучительнѣе было не знать куда идти, среди этого безбрежнаго моря полей и тихаго шелеста высокихъ, едва колыхающихся, колосьевъ.

«Добреду-же я, наконецъ, до какой-нибудь деревни, или хоть до какой-нибудь фермы... Вѣдь не пустыня-же», подумалъ Петя и пошелъ опять шагать съ тою-же бодростью, съ какою вышелъ. Только голова его слегка кружилась, но молодыя ноги, съ дѣтства привыкшія къ ходьбѣ, еще не чувствовали ни малѣйшей усталости...

Часа черезъ полтора, на горизонтѣ, изъ-за линіи съ блѣдносизыми отливами, на которой рябили и тѣснились слегка загнутыя верхушки безчисленныхъ, уходящихъ вдаль, изжелта-зеленоватыхъ колосиковъ, показались крестъ и черный куполокъ бѣлой каменной церкви.

«Вонъ тамъ я узнаю, куда идти», подумалъ Петя.

Вдругъ впереди себя, на проселкѣ, увидѣлъ онъ людей. Небольшой кучкой подвигались они ему на встрѣчу, и вдругъ свернули направо. Изъ-за ржи стали мелькать одни только головы. Наконецъ, головы эти сошлись въ кружокъ, разошлись и опять сошлись... и затѣмъ какой-то голубой дымокъ поднялся надъ нивами.

«Что-бы это значило?» подумалъ Петя. Онъ замедлилъ шаги и сталъ приближаться; наконецъ, подошелъ и увидѣлъ человѣкъ пять или шесть крестьянъ съ обнаженными головами и священника въ эпитрахилѣ, а въ рукахъ его раскрытую, церковную книгу; посреди-же небольшого, сжатаго пространства возвышалась какая-то соломенная кукла, похожая на снопъ, съуженный кверху, съ шишкой или головой, свер-

ченной изъ соломы. Шишка наклонилась на бокъ, и точно сама удивлялась тому, что вокругъ нея происходитъ.

Петю замѣтили, и одинъ изъ присутствующихъ—мужикъ съ рѣденькой, рыжей бородкой—показалъ на него пальцемъ, и не то писарь, не то дьячекъ, въ старомъ, коротенькомъ, холстинномъ сюртукѣ, похожемъ на грязный мучной мѣшокъ съ пуговицами, и въ такихъ-же штанахъ, поднялъ голову и, искоса поглядѣвъ на Петю, опять нагнулся и сталъ раздувать кадило...

Кромѣ любопытства, ни малѣйшаго тревожнаго или пугливаго чувства не возбудила эта сцена въ душѣ нашего путника.

— Что это такое? спросилъ онъ мужика, черноволосаго парня въ бѣлой рубахѣ, который стоялъ нѣсколько поодаль, съ блѣднымъ, испуганнымъ лицомъ.

— Аль не видишь? отозвался тотъ и перекрестился.

Петя, услыхавъ какую-то молитву, которую священникъ читалъ въ дрожью въ голосѣ и съ нѣкоторой торжественностью, снялъ свою фуражку и тоже перекрестился; замѣтивъ это, рыжій мужикъ, тотъ, который указывалъ на него пальцемъ, тотчасъ-же какъ-будто успокоился и пересталъ обращать на него вниманіе.

Затѣмъ священникъ сталъ лицомъ къ соломенной чучелѣ, окропилъ ее святой водой, взялъ въ руки крестъ и кадило и, одной рукой крестя воздухъ, а другой кадя ладономъ, сталъ произносить заклинанья...

Послѣ молитвы и заклинаній, священникъ, человѣкъ уже не первой молодости, широкоплечій, съ брюшкомъ, рябой и большеголовый, съ просѣдью въ окладистой бородѣ и съ маленькою плѣшью, которая сильно лоснилась на яркомъ солнцѣ, высыпалъ изъ кадила и затѣмъ изъ какого-то черепка горѣвшіе уголья къ корнямъ соломенной чучелы и тотчасъ-же отступилъ, размахнувъ рукавами рясы...

— Гдѣ поддувало? заторопился рыжій мужикъ.

— Не зѣвай, дуй въ него!..

— Что, аль тяжело? Дакося я въ него подую.

— Ну, дѣйствуй!.. Господи, благослови!

И долго, переходя изъ рукъ въ руки, пыхтѣлъ неуклюжій мѣхъ, прежде чѣмъ основаніе чучелы затрещало и слегка задымилось.

Петя надѣлъ фуражку и подошелъ еще ближе.

— Что это, братцы, молебенъ, что-ли? спросилъ онъ въ полголоса.

На вопросъ его никто не отвѣтилъ, только попъ повернулъ къ нему потное, красными пятнами покрытое, широкое лицо свое.

— Дуй шибче, ишь въ мѣху-то никакъ прорѣха есть, сказалъ человѣкъ въ холстинномъ мѣшкѣ съ пуговицами, съ гладко остриженной головой и тупымъ носомъ, парню, который держалъ тяжелый, закоптѣлый и грязный, очевидно кузнечный, подержанный мѣхъ и раздувалъ имъ уголья.

— Его и огонь не беретъ, проговорилъ священникъ, понуривъ голову, выпятивъ животъ и не спуская глазъ съ соломенной куклы.

«Спаси, Господи, и помилуй!» сокрушенно вздохнулъ старикъ, высокій ростомъ, съ лысиной въ тарелку и съ сѣдой бородой съ лопату,—мужикъ, очевидно, не бѣдный, въ сапогахъ, въ синей новой рубахѣ и съ ключемъ на поясѣ. Вытянувъ книзу руки, держалъ онъ икону Божіей Матери съ серебрянымъ вѣнчикомъ.

— Сгинь... наше мѣсто свято! съ яростью проговорилъ рыжій мужикъ и, стиснувъ зубы, выпучилъ глаза свои, сѣрые и какъ-бы испуганные, точно онъ видитъ нѣчто такое ужасное, чего никто не видитъ.

— Али ужь такъ мы согрѣшили, что и молитва не беретъ? проговорилъ старикъ съ образомъ, очевидно чѣмъ-то сконфуженный и не безъ укоризны поглядѣлъ на священника.

И точно, кукла была точно заколдована: уголья потрес-

кивали, брызгали искры, шелъ дымокъ, а солома не загоралась или загоралась съ такимъ трудомъ и трескомъ, что, казалось, не поддается пламени.

— А вы ее выдерните, да на огонь-то и разложите... сказалъ Петя, понимая, что *они* хотятъ сдѣлать, и не понимая, для чего они хотятъ это сдѣлать.

— Да, выдернешь ее, попробуй! сказалъ рыжій.

— А смрадъ-то какой!.. Господи! Господи! Господи! проговорилъ священникъ. Въ темной коричневой рясѣ стоялъ онъ неподвижно, подъ эпитрахиль спрятавъ свои руки и тяжело вздыхая.

— Можно мнѣ выдернуть или повалить ее? Я попробую, повторилъ Петя, замѣтивши, что всѣ поглядѣли на него съ недоумѣніемъ, даже парень, который дулъ въ мѣхъ—и тотъ опустилъ его на землю.

— Пробуй, пробуй, что-жъ, пробуй! проговорилъ мужичекъ въ картузѣ, очевидно, рабочій, съ городскими, не совсѣмъ деревенскими ухватками. Лицо у него было смышленное, маленькіе умные глазки не выражали испуга, и, что странно, несмотря на бородку, подъ носомъ у него не было волосъ: онъ былъ безусый...

Петя смѣло уцѣпился за чучело. При этомъ онъ не могъ не замѣтить, что всѣ верхушки ржаныхъ колосьевъ были загнуты внутрь, что снопъ былъ обмотанъ конскими, а можетъ быть, и женскими волосами, и что макушка его, спутанная и переплетенная, заключала въ себѣ что-то твердое,—не то кость, не то камень. Изо всей силы рванулъ онъ это соломенное хитросплетеніе, и часть колосьевъ, поджаренчыхъ угольями, оторвалась, а другая вылѣзла съ корнями изъ чернозема, вспаханнаго и рыхлаго.

Кукла повалилась, и такъ-какъ она показалась Петѣ сырой и, быть можетъ, даже политой чѣмъ-то вонючимъ, онъ догадался, что уголья могутъ угаснуть, если тотчасъ накрыть ихъ. И Петя, не жалѣя рукъ, растрепалъ основанье чучелы,

схватилъ мѣхъ и, такъ-какъ онъ былъ тяжелъ и неуклюжъ, подперъ его колѣномъ и, обливаясь потомъ, сталъ раздувать уголья.

Показалось пламя, поднялся трескъ и повалилъ дымъ.

Оглянувшись, Петя замѣтилъ, что всѣ лица блѣдны и вытянуты, что красныя пятна на лицѣ священника приняли какой-то свинцовый отливъ и что сѣдой старикъ, крестьянинъ, стоитъ уже съ поднятою вверхъ иконою.

— Глядите-ко, какая мразь, какой червь пошелъ! замѣтилъ священникъ.

Кукла горѣла и догорала.. дымъ валилъ... Солнце сіяло попрежнему съ невозмутимо-знойнаго неба, по-прежнему раздавались переливистыя трели жаворонковъ. Но никто изъ присутствующихъ уже не чувствовалъ жара и не слыхалъ какъ поетъ птица Божія, вольная, полевая птица...

— Ну, слава Тебѣ, Господи! воскликнулъ священникъ.— Ну, Миронъ, видно Богъ внялъ усердной молитвѣ твоей.

— Слава Тебѣ, Христосъ!.. Спасибо тебѣ, отецъ Самсонъ... выручилъ...

И снова къ себѣ на грудь опуская образъ, старикъ поклонился въ поясъ священнику и впереди всѣхъ пошелъ на дорогу. За нимъ пошелъ попъ, снявшій эпитрахиль, и человѣкъ въ парусинномъ, заплатанномъ сюртукѣ, съ завернутыми въ эпитрахиль крестомъ и требникомъ.

— О, чтобъ ему, окаянному! проворчалъ черноволосый парень, можетъ быть, родной сынъ старика Мирона.

— Кому ему? спросилъ Петя.

— Да этому самому... кто это сдѣлалъ.

— Окаянное это дѣло... замѣтилъ мужикъ съ рыжей бородкой и сталъ всѣхъ увѣрять, что изъ огня выскочила жаба и что не только въ огнѣ были черви, но и тараканы.

— Да что-же это такое? Объясните вы мнѣ, братцы! проговорилъ Петя, двинувшись вмѣстѣ съ ними по дорогѣ къ селу.

— Да вы откелева будете? спросилъ его черноволосый парень.

— Да я издалека, родомъ изъ Питера и впервые отъроду вижу такой обрядъ.

— *Заломъ*-то впервые видишь? проговорилъ испитой мужикъ съ рыжей бородкой. — То-то ты и храбръ, паренекъ. Смотри, какъ-бы съ тобой чего не случилось...

— «Заломъ» ты говоришь. Что это такое «заломъ?»

— Да это малые ребята знаютъ, а ты не знаешь; извѣстное дѣло—заломъ. Заломъ—заломъ и есть.

— Да кто это ихъ дѣлаетъ? Кто этими глупостями занимается?

— Кто?! Колдуны... Нечистой силой...

— Если вы этого не знаете еще, началъ жиденькимъ голоскомъ говоритъ ему безъусый, неся завязанныя въ клѣтчатый платокъ чашу и кропило, — то я вамъ скажу, что дѣло это извѣстное-съ, странное даже очень дѣло... Вотъ этотъ заломъ сдѣланъ на полосѣ Мирона,—тестемъ онъ мнѣ приходится,—а на кого онъ сдѣланъ—неизвѣстно. Коли на всю семью, то вся семья пропадетъ, коли на старика, такъ старикъ и году не проживетъ, а коли на скотину, то скотъ или зачумѣетъ, или такъ подохнетъ. Неизвѣстно-съ.

— И вы всѣ этому вѣрите?

— А ты, небось, не вѣришь? огрызнулся рыжій, оскаливъ рѣдкіе, кривые и узкіе зубы.

— Не вѣрю. Все это, братцы, суевѣріе!

— Сувѣріе! Како тако сувѣріе! Ишь како словцо приплелъ, замѣтилъ рыжій, шагая въ лаптяхъ около самого Пети и безпрестанно заглядывая ему въ лицо, какъ-бы недоумѣвая: откуда вдругъ взялся такой чудной, смѣшной человѣкъ, что колдунамъ не вѣритъ и «заломъ» за глупости почитаетъ.

— Аль ты невѣрный?

— Нѣтъ, я въ Бога вѣрю, но въ колдовство не вѣрю...

— А въ чорта вѣришь?

Петя понялъ, что его допрашиваютъ и понялъ, что ему слѣдуетъ быть какъ можно осторожнѣе... Но мысль, что онъ мало по-малу убѣдитъ ихъ въ томъ, что въ заломѣ этомъ не было и нѣтъ ничего необыкновеннаго, подстрекала его, и сталъ онъ говорить имъ:

— Ну станетъ-ли чортъ, если только онъ не глупъ, якшаться съ какими-то тамъ колдунами! И что въ этомъ «заломѣ» удивительнаго? Что онъ не скоро загорѣлся — такъ что-же мудренаго: очевидно, онъ былъ чѣмъ-нибудь облитъ и еще не успѣлъ просохнуть; что онъ вонялъ, такъ и тутъ ничего нѣтъ мудренаго: въ немъ была всякая дрянь—и мочала, и волосы, и какая-то кость, должно-быть собачья; а черви—эка невидаль!—можетъ быть, и черви были въ него заложены; а что они казались не простыми червями, такъ и это потому, что пухли и корчились на огнѣ... Словомъ—ничего волшебнаго или чудеснаго—все очень просто... и не вѣрьте вы никакому «залому»...

— Ну, ужь это ты, того... Это ты... не по-божески говоришь. Мало тѣ учили, во-отъ что. Самъ я, братцы, видѣлъ... эдакая зеленая, съ краснымъ носомъ лягушища выскочила... гадина! Какъ есть чортова гадина! утверждалъ рыжій мужикъ, размахивая руками.—Нѣтъ, братецъ ты мой... Ты вотъ лучше купи намъ полведра вина, да и угости для ради праздника.

Петя задыхался и отъ тяжелой, туго-набитой сумки, и отъ свернутаго пальто, которое парило ему спину, и отъ возни съ мѣхомъ, и отъ желанія убѣдить ихъ, спасти ихъ отъ обмана и суевѣрія. Долго онъ съ ними спорилъ, до самаго села провожая ихъ, и только проходя мимо церковнаго погоста, вспомнилъ, что ему слѣдуетъ распросить: что это за село и какъ пройти ему въ деревню Тальники. Но только-что сталъ онъ объ этомъ разспрашивать своихъ спутниковъ, какъ сами они закидали его своими разспросами: «не съ

чугунки-ли онъ? Зачѣмъ жилъ у Аркадьева? Зачѣмъ идетъ пѣхтурой—на своихъ на двоихъ, коли помѣщикъ ему лошадей давалъ, и коли отецъ его чиновникъ, такъ отчего-же онъ его на дорогу деньгами не благословилъ? И отчего онъ не пьетъ водки, тогда-какъ всѣ до единаго водку пьютъ, ибо нельзя водки не пить», и проч., и проч. Когда-же стали объяснять ему дорогу въ деревню Тальники, то одинъ ему совѣтовалъ идти все прямо, все прямо, на Кресты и Выселки, другой совѣтовалъ свернуть налѣво и лѣскомъ идти прямо до Орѣшина. Третій увѣрялъ, что до ночи онъ не дойдетъ, потому-что не той дорогой пошелъ, нужно-бы на Стрижи идти, а не на ихъ село Вавилово... Словомъ—Петя ничего толкомъ не узналъ, узналъ только гдѣ ему можно напиться молока и гдѣ въ селѣ хорошій колодецъ.

ГЛАВА XXXVIII.

Но молоко оказалось не по карману Петѣ. Баба спрашивала съ него за стаканъ пять копѣекъ... Онъ узналъ, что бѣдныя крестьянки, у которыхъ нѣтъ коровъ, а есть ребятишки, тоже платятъ по 3 и по 5 коп. за стаканъ. Коровъ стало мало, сѣно не уродилось, зимой корму не было. Кто свелъ на базаръ свою буренку, чтобы подати справить, да прокормиться до новаго хлѣба; а у кого и такъ, неизвѣстно отъ чего, скотина подохла.

Петя досталъ изъ сумки московскій бубликъ, изгрызъ его и водой запилъ.

«Съ голоду сегодня не помру, подумалъ онъ,—а завтра Орѣшинъ накормитъ».

Онъ помнилъ все, что говорили мужики про дорогу, и прилегъ у колодца подъ двумя ветлами, на траву, сухую и пыльную, какъ половая щетка. Дорогой образъ Нади мелькнулъ у него въ воображеніи, сердце заныло, да и въ головѣ его былъ какой-то сумбуръ. Онъ былъ радъ, что обогатился

новымъ опытомъ, узналъ, что такое «заломъ», и какъ трудно ладить съ народнымъ суевѣріемъ. Хотѣлъ научить уму-разуму и самъ попалъ въ какіе-то недоумки. Дороговизна молока въ селѣ тоже его озадачила и заставила думать.

Вдругъ подошли къ нему два мужика—одинъ съ рыжей бородкой, тотъ, который шелъ съ нимъ, и другой, ему неизвѣстный. Подошли и сказали: «*Священникъ* васъ приглашаетъ, говоритъ, чтобъ вы безпремѣнно зашли къ нему».

— Зачѣмъ я понадобился?

— А ужь мы не знаемъ этого...

Петя обратно черезъ все село пошелъ къ священнику. Ему не хотѣлось терять дорогого времени, но въ то-же время ему воображалось, что священникъ, по старому русскому обычаю, предложитъ ему что-нибудь закусить. Петя не мало читалъ о русскомъ хлѣбосольствѣ. Онъ, и по Тургеневу, и по Потѣхину, и по Успенскому, и по Мельникову, зналъ уже, что русскій человѣкъ радъ всякому прохожему, лишь-бы поболтать. Отецъ-же Самсоній послѣ обѣдни служилъ можебенъ, а затѣмъ съ молебна пошелъ въ поле «заломъ» отчитывать, стало-быть, только-что вернулся, пьетъ чай и закусываетъ.

«Ну, что-жъ, не буду церемониться», подумалъ Петя.

Священникъ жилъ за церковью, въ домикѣ съ тесовой кровлей. Возлѣ домика былъ огородъ, за огородомъ садикъ, въ садикѣ высокія груши и яблони.

У полянки, около телеги съ какимъ-то товаромъ, передъ поповскимъ домикомъ толпился народъ, были и пьяные...

Народъ галдѣлъ, отецъ Самсоній стоялъ на крылечкѣ подъ навѣсомъ, подбоченившись, и тотчасъ, прищуривъ лѣвый глазъ, повернулъ лицо свое въ ту сторону, откуда завидѣлъ Петю.

— А, пришли! Пожалуйте... пожалуйте-ка сюда!.. Пригласилъ я васъ... Но кто вы такой — не знаю-съ... Знаю только, что вы смутьянъ, смущаете народъ и учите его невѣрію...

Петя остолбенѣлъ... Не успѣлъ ни надѣть снятой имъ фуражки, ни поклониться. Слова отца Самсонія были и неожиданны, и оскорбительны.

«Такъ вотъ оно что!» подумалъ онъ.

— Не понимаю, что вы хотите сказать и зачѣмъ вы меня позвали, проговорилъ онъ, очнувшись.

— Вы еще слишкомъ молоды, еще и молоко, чай, на губахъ не обсохло, а ужь собираетесь поучать...

— Это не мое дѣло... это ваше дѣло—поучать...

— Суевѣріе!.. Знаемъ мы васъ;—у васъ все суевѣріе: и честные дары, и посты, и поминальные дни—все суевѣріе...

Священникъ распекалъ его, не церемонясь. Петя, сгорбленный подъ ношей, тоже не лѣзъ въ карманъ за словомъ. Выходила исторія. И вотъ, изъ сѣней высунулась попадья, хорошенькая поповна, работница съ мокрой тряпкой и босоногій мальчикъ, лѣтъ шести или семи, съ струпьями на пѣгой головѣ... И народъ, обступавшій телѣгу, сталъ оборачиваться и подходить къ крылечку.

Но, хотя по тону голоса и видно было, что отецъ Самсонъ раздраженъ и сердится, лицо его вовсе не казалось гнѣвнымъ; напротивъ, все оно было озарено чѣмъ-то въ родѣ насмѣшливаго простодушія. Казалось, распечь молодого человѣка, и распечь при всѣхъ, составляло для него какъ-бы нѣкоторое удовольствіе.

— Вѣра—вѣрой, а суевѣріе—суевѣріемъ, сказалъ Петя съ дрожью въ голосѣ.—И если я говорилъ, что я колдунамъ и колдовству не вѣрю, такъ, можетъ быть, и вы, какъ умный человѣкъ, не вѣрите, а если вѣрите, то очень жаль... На школьной скамьѣ ни мнѣ, ни вамъ никто не преподавалъ науки о вѣдьмахъ, домовыхъ, колдунахъ и тому подобномъ. Я не виноватъ, что такой науки нѣтъ.

— Какая тутъ наука! перебилъ его отецъ Самсонъ.— Кто вамъ говоритъ о наукѣ... Убирайтесь вы съ вашей наукой! У насъ требникъ есть, есть молитвы и противъ кол-

довства и противъ нечистой силы, и о «заломѣ», и о «заломѣ», и о «заломѣ».

— И все-таки вашему залому я не вѣрю... Просто какой-нибудь шутникъ надъ вами шутки шутитъ...

— Да, попробовалъ-бы ты, каковы эти самыя шутки! проговорилъ кто-то въ толпѣ.

Петя обернулся и узналъ выпученные глаза, рыжую бородку и бѣлые зубы, кривые и широко разставленные. Рядомъ съ рыжимъ стоялъ безъусый, отставивъ ногу и одну руку закинувъ за спину. Сплюснутый кожаный картузъ его слѣзъ на затылокъ, въ глазахъ его свѣтился умъ и равнодушное любопытство. Остальные мужики прислушивались и недовѣрчиво поглядывали на Петю. Одинъ былъ, очевидно, во хмѣлю и глаза его были мутны. Одинъ изъ нихъ курилъ доморощенную, изъ газетной бумаги, папиросу.

Петѣ стало жутко. Но это нисколько не помѣшало ему, обернувшись къ мужикамъ, сказать самоувѣреннымъ, хоть и не громкимъ голосомъ:

— Жаль, я не здѣшній, братцы! Будь я здѣшній, я-бы взялся каждый такой заломъ, какъ вы называете, каждую такую соломенную куклу вырывать или распутывать и всякую дрянь изъ нее выбрасывать... Я-бы вамъ доказалъ, что тутъ нѣтъ никакого колдовства и что всѣ ваши колдуны — плуты и надуватели.

Тутъ поднялся говоръ — говоръ толпы, очевидно, недовольной самохвальствомъ какого-то, Богъ его знаетъ, какого прохожаго.

— Ни въ Бога, ни въ чорта не вѣритъ... Ну, и ступай своей дорогой и не мути народъ!.. уже окончательно разсерженный проговорилъ отецъ Самсоній. — Только видъ свой покажи... Кто ты такой, отколѣ и куда... Еще, Богъ-знаетъ, что у тебя на умѣ... Въ сумкѣ-то, можетъ-быть, у тебя и не-вѣсть что понапихано... Тоже, слыхали мы... Не худо-бы и осмотрѣть тебя!..

Неопытный Петя тотчасъ-же хотѣлъ уйти. Онъ былъ блѣденъ, сердце его билось отъ прилива гнѣва, досады, смущенья и отчасти испуга. Но его окружили, и онъ почувствовалъ, что его гимназическую сумку тащутъ съ плечъ его.

Онъ понялъ всю невозможность и всю безполезность сопротивляться. Отдалъ сумку, проговорилъ: «объискивайте — у меня ничего нѣтъ»... и сѣлъ на землю. Руки его дрожали и холодный потъ прошибалъ его.

Въ сумкѣ и въ карманахъ его, конечно, ничего не нашли ни подозрительнаго, ни богопротивнаго, но зато не нашли и вида. Волостной старшина вмѣстѣ съ волостнымъ писаремъ рѣшили, что этого молодца слѣдуетъ попридержать, посадить и дать знать становому. Всего подозрительнѣе показалось имъ то обстоятельство, что онъ назвалъ себя Клиномъ (Клинъ, Клинъ! Что это за фамилія? Очевидно, выдумалъ), да еще то, что при немъ не нашли ни копейки денегъ... «Можетъ-ли это быть, чтобъ у дворянскаго сына да не было ни копѣйки!.. Просто, должно быть, шатунъ... Сбѣжалъ откуда-нибудь, не то рекрутъ... можетъ-быть, еще и такой человѣкъ, котораго, если поймаешь, начальство спасибо скажетъ».

Петя безпрекословно позволялъ имъ дѣлать съ собой все, что угодно, и къ ночи очутился запертымъ въ пустомъ сараѣ.

Сарай этотъ былъ бревенчатый, съ зіяющими со всѣхъ сторонъ щелями, крытый соломой, безъ потолка и съ голубями на жердяхъ и перекладинахъ. Это былъ не то сѣнникъ, не то старая рига. Петя нашелъ въ немъ много хворосту и нѣсколько охабокъ сѣна, прилегъ и сталъ думать. Но что онъ думалъ, и что чувствовалъ — трудно описать словами. Ему-же самому казалось, что онъ ни о чемъ не думаетъ и ничего не чувствуетъ.

«Что-же, все надо испытать, все надо вынести на плечахъ своихъ, чтобъ быть человѣкомъ. Не вѣчно-же они меня

здѣсь продержатъ... Только зачѣмъ-же сумки-то моей они мнѣ не отдали... Но вопросъ: по какому праву они смѣли засадить меня?.. Если завтра становой меня выпуститъ, я попрошу его проводить меня до генерала Орѣшина (наивное предположеніе!), займу у Орѣшина денегъ и пошлю телеграмму о высылкѣ мнѣ аттестата»...

Какъ ни было ему тяжело и обидно, какъ мысленно ни злился онъ и на себя, и на отца Самсона, и на волостного писаря, который гнусилъ и съ преважнымъ видомъ его допрашивалъ, (должно-быть, нахалъ и невѣжда первой степени), какъ ни злился Петя, но онъ далъ себѣ честное слово лечь спать и выспаться. «Утро вечера мудренѣе», утѣшалъ онъ себя.

Пришла ночь... Засвѣтился мѣсяцъ, голуби ворочались на своихъ гнѣздахъ и шуршали соломой; въ хворостѣ скрипѣли сверчки; за стѣнами слышно было какъ въ полѣ стрекочатъ кузнечики, какъ на деревнѣ лаетъ собака, какъ вдали, вдали гдѣ-то скрипитъ возъ немазанымъ колесомъ своимъ. Наконецъ, послышалось пѣніе пѣтуховъ, а Петя все еще не спалъ, несмотря на то, что безкрестанно смыкалъ глаза. Были минуты, когда безотчетный страхъ холодкомъ пробѣгалъ по спинѣ его. Казалось, что мракъ въ углахъ шевелится и что къ нему кто-то крадется, что сквозь щели смотрятъ чьи-то глазищи. Все, что ни читалъ онъ страшнаго, начиная съ «Вія» Гоголя, волей-не-волей приходило ему въ голову, хоть онъ и смѣялся надъ собой, хоть онъ и бодрилъ себя...

Все тише и тише становились ночные звуки... И вдругъ, что-то зашумѣло и загудѣло,—пронесся вѣтерокъ. Ему стало холодно. Лѣтнее пальто, то самое, въ которомъ щеголялъ онъ въ Демидовскомъ саду, было съ нимъ. Онъ развернулъ его и прикрылъ имъ ноги. Вдругъ онъ поднялъ голову, ему ясно послышалось, что кто-то прошелъ за стѣной и сталъ у широкой запертой двери.

«Убьютъ меня здѣсь, подумалъ Петя,—но за что?.. Что

польза убивать? А что, можетъ-быть, тотъ колдунъ, кото-го я уличилъ въ плутовствѣ, хочетъ учинить со мной ка-о—нибудь пакость!»

Наконецъ, онъ слышитъ, кто-то всовываетъ въ висячій мокъ ключъ, и дверь или, лучше сказать, ворота въ сарай тихоньку отворяются, задѣвая нижними концами досокъ за млю.

— Паренекъ, а паренекъ! слышитъ онъ голосъ.—Спишь , аль нѣтъ?

— Что вамъ надо? сжимая кулаки, вскрикиваетъ Петя пуганнымъ голосомъ.

— Подь-ко сюда... Не бойся! Пришли ослободить тебя. .

Петя вышелъ изъ сарая и въ синемъ полумракѣ ночи видѣлъ старика съ большой сѣдой бородой и еще какого-то ужика, лицо котораго трудно было разглядѣть, такъ-какъ всацъ стоялъ за тучками, какъ за ширмами.

— Уходи съ Богомъ, голубчикъ, сказалъ ему глухо-ба-стый, старческій голосъ.—Ка-бы не ты, плохо-бы мнѣ было... рѣшный онъ у насъ, попъ-то. Ничего-бы и молитвы его не омогли, кабы не ты... Я и старосту уговорилъ тебя выпу-тить. Ломался старый чортъ. А вотъ зятекъ мой и на до-ожку тебя выведетъ, куда тебѣ надобно. Иди съ Богомъ!.. Сема! Гдѣ-же сумка-то его? Кажется, все цѣло. Ну, а коли его не хватитъ, не взыщи... воръ народъ: въ семьѣ не безъ рода. Сеня, сумку-то подвяжь ему, да и проводи... Ну, Гос-подь съ тобой!

И старикъ сухой, широкой ладонью пожалъ ему руку.

Петя обнялъ его и поцѣловалъ въ бороду. Ему хотѣлось плакать,—странное чувство подступало къ сердцу.

Наконецъ, вздѣвъ въ рукава запыленное сѣномъ пальто свое и затѣмъ, встряхнувъ на спинѣ прихваченную ремнемъ сумку, пошелъ онъ, вмѣстѣ съ Сеней, по тропинкѣ изъ села, въ темное поле.

Оказалось, что этотъ Сеня былъ тотъ самый безъусый работникъ, который менѣе всѣхъ спорилъ съ нимъ.

Петя съ нимъ заговорилъ и на ходу разговорился. Оказалось, что Сеня грамотный, что онъ самъ плохо вѣритъ въ колдуновъ и что онъ раскольникъ.

— Наше мужичье—дурачье, пьяницы, говорилъ онъ, — съ ними только свяжись. Да и охота-же вамъ была съ ними балясы-то точить. А это вы правду сказали, что, коли-бы взаправду были вѣдьмы, объ нихъ-бы и въ учебникахъ было прописано... Колдуны эти точно что есть, порчу всякую напущаютъ. Ну, а кто-же знаетъ, какъ они эти дѣла дѣлаютъ. Слыхалъ я про нихъ не мало.

— То-то, что слыхалъ, а самъ-то видалъ-ли ты, чтобъ они чудо какое сдѣлали? А если что-нибудь и сдѣлаютъ, такъ вѣдь на все ловкость есть. Вонъ фокусники представляютъ... такъ просто удивительно какъ выходитъ.

И Петя, стараясь подражать мужицкому языку, принялся разсказывать Сенѣ, какія штуки выдѣлываютъ фокусники. (Онъ вспомнилъ одно изъ такихъ представленій въ домѣ Померанскихъ, въ имянины своей крестной матери).

— Ишь вѣдь какъ! Подишь ты. Этого и колдунъ не сможетъ, куда ему! перебивалъ Сеня рѣчь его и шагалъ, слегка переваливаясь, съ лѣнивой увѣренностью, что дорога ему извѣстна, какъ свои пять пальцевъ.

Онъ хотѣлъ проститься съ Петей передъ какимъ-то лѣскомъ, но Петя, боясь заблудиться или свернуть на другую дорогу, уговорилъ спутника въ лѣсу одного не покидать его.

Сеня сказалъ, что надо завтра рано сѣно перевозить, но не спорилъ съ нимъ.

Лѣсъ березовый оказался не маленькій — часа полтора шли они лѣсистой дорогой, разсуждая и мирно бесѣдуя.

Уже стало разсвѣтать, когда Петя простился съ Сеней. Простился такъ, какъ-бы онъ простился съ лучшимъ изъ друзей своихъ. При свѣтѣ утренней зари, онъ вглядѣлся и

замѣтилъ черты лица его. Въ нихъ было что-то напоминающее странствующаго художника, милаго гордеца и лѣниваго труженика. Сеня и былъ артистъ — онъ былъ маляръ, умѣлъ расписывать потолки и, какъ кажется, любилъ ремесло свое.

Пожимая руку Пети, онъ увѣрилъ его, что погони не будетъ, что завтра староста уговоритъ писаря не дурить, а становой, за которымъ еще и не думали посылать, не пріѣдетъ; да если-бы и послано было, тоже, можетъ-быть, не пріѣхалъ-бы, такъ-какъ слышно, уѣхалъ въ городъ провожать губернатора.

ГЛАВА XXXIX.

Безсонная ночь и душевныя тревоги настолько ослабили Петю, что въ шестомъ часу утра онъ уже чувствовалъ, что ноги его начинаютъ ныть отъ усталости. Отъ деревни Тальниковой или Тальники оставалось версты три. Утро было солнечное и росистое. Все сверкало и казалось праздничнымъ въ лучахъ его. Лошади и люди, работавшіе въ полѣ, издали поражали глазъ своими удлиненными, преувеличенными силуэтами, — казались ближе, чѣмъ они были на самомъ дѣлѣ. Далекая, дымчато-зеленая полоса рощи сквозила безъ корней вытянувшимся по горизонту облачкомъ и только зубчатыя верхушки ея были видны.

Петя узналъ уже, что вышка и трубы дома, выглядывавшаго изъ-за зелени сада, принадлежатъ помѣщику Орѣшину. Старый пастухъ, прогнавшій стадо, такъ-таки и сказалъ ему, что это усадьба Орѣшина.

«А вотъ кто-то ѣдетъ, подумалъ Петя, — спрошу еще, какъ ближе пройти, по этой или по той дорожкѣ».

Приближался тарантасъ, запряженный тройкой чалыхъ лошадей. Верхъ былъ откинутъ. Въ тарантасѣ сидѣла какая-то женщина въ красномъ, шелковомъ платочкѣ, завязанномъ у подбородка.

Петя не безъ любопытства поглядѣлъ на ѣдущую въ тарантасѣ, и лицо его показалось ему знакомымъ.

Лужа, какъ видно, еще не просохшая послѣ дождей, пріостановила побѣжку лошадокъ и дала возможность Петѣ, слегка забрызганному шлепающими по водѣ копытами пристяжной, спросить кучера: куда ближе пройти къ Орѣшину?

Старый кучеръ не отвѣтилъ или не разслушалъ его или былъ глухъ; но сидѣвшая въ экипажѣ барышня встрепенулась и крикнула: «Клинъ, Петръ Егоровичъ! Это вы?»

Оба были нѣсколько близоруки — и Петя, и Леонида Александровна Алаева, и только тогда вполнѣ убѣдились, что они другъ друга узнали и не ошибаются, когда Петя всталъ на скобку и попросилъ кучера пріостановиться.

— Какими судьбами!? воскликнулъ Петя.

— Я знала, что васъ ждутъ, но не подозрѣвала, что вы явитесь пѣшкомъ и въ такомъ видѣ.

И точно, что видъ Пети былъ самый неприличный: онъ былъ въ сѣнной трухѣ, приставшей къ его суконнымъ брюкамъ, загорѣлый, не мытый, не чесанный, безъ сюртука, въ одной смятой рубашкѣ, съ разстегнутымъ воротомъ.

И Петя узналъ, что Алаева ѣдетъ отъ Аполлона Марковича и сталъ ее распрашивать.

— Чортъ его возьми, вашего генерала! зарокоталъ голосокъ Леониды.—Да и вашего друга Ознобина! Вы, быть можетъ, знаете, что этотъ пентюхъ Ознобинъ, разыгрывая роль человѣка великодушнаго, далъ мнѣ знать, что г. Орѣшину нужна преподавательница музыки и пѣнія для его воспитанницы... Я къ нему поѣхала, къ чорту на кулички—къ Смоленскому кладбищу—ужь одно это мнѣ не очень понравилось... Переговоривши съ нимъ, я хотѣла отказаться, хотя онъ и согласенъ былъ на всѣ мои условія; но превосходительный уговорилъ меня, и я сказала ему:—дайте мнѣ вашъ деревенскій адресъ, мнѣ путешествія ни по чемъ, я привыкла шляться, и если вы согласны, что дорога на вашъ счетъ, то, можетъ

быть, лѣтомъ я и махну къ вамъ... Ну, вотъ, соскучилась я въ Питерѣ безъ всякаго дѣла, да и стеченіе обстоятельствъ было такое... Я вспомнила свое обѣщаніе и поѣхала... Пріѣзжаю,—вижу, что никто, ни Орѣшинъ, ни его Саша меня не ждали... и не думали ждать... Я имъ какъ снѣгъ на голову... Это одно уже меня покоробило. Не будь вы въ отсутствіи, у меня-бы и постели не было... Какъ вамъ это нравится? Я спала на вашей постели. Но что всего обиднѣе, зовутъ учить музыкѣ, а инструментъ такой, что къ нему прикоснуться нельзя... Мерзость! Жидокъ и такъ разстроенъ, что курамъ на смѣхъ, и настроить некому. Спрашивается — на кой чортъ я пріѣхала? Неужели для того, чтобъ грибы собирать, да землянику ѣсть? Вашъ-же Орѣшинъ, хоть онъ въ сущности и добрый человѣкъ,—идіотъ! Чортъ знаетъ, что у него въ головѣ: какая-то нравственно-мистическая каша или винегретъ подсахаренный и посоленный, съ уксусомъ и сметаной... Ну, думаю, надо и честь знать, надо уѣхать. Сегодня я хотѣла выѣхать нарочно пораньше... да какъ не такъ, и того не удалось! На зарѣ проснулись и чаемъ меня поили... Я не ропщу... Я отчасти сама виновата: «не суйся въ воду, не спросясь броду»... Теперь ѣду къ Аркадьеву. Оказывается, что онъ еще маленькую зналъ меня. Пробуду у него нѣсколько часовъ, возьму у него лошадей и опять поѣду.

— Куда?

— Куда глаза глядятъ, а можетъ быть, и обратно въ Питеръ.

— Поклонитесь отъ меня Ознобину.

— Ознобину! Ну ужь нѣтъ. Постараюсь не видѣться съ этимъ сокровищемъ.

— А онъ васъ такъ любитъ!

— Чортъ его возьми съ его любовью! Очень мнѣ нужна любовь его!

— Что-же вамъ нужно?

— Ищу человѣка, который-бы вполнѣ понималъ меня.

— И цѣнилъ?

— Ну да, и цѣнилъ, и далъ-бы мнѣ возможность вполнѣ проявить себя.

— То есть, деньги?

— Ну да, и деньги, и просторъ, и свободу, и все, что я цѣню, и чего никогда не продамъ ни за какія въ мірѣ сокровища. Садитесь со мной—мы поѣдемъ и наговоримся... Очень я рада, что съ вами встрѣтилась...

— Нѣтъ, ужь лучше я пойду, усталъ ужасно. Теперь не далеко, а вы меня еще версты на три отвезете... Мнѣ не разсчетъ... Да, постойте, есть-ли у васъ какой-нибудь видъ или паспортъ?

— Разумѣется, есть, что за вопросъ.

— Жаль, что есть, а то, можетъ быть, и васъ гдѣ-нибудь заперли бы въ сарай. Вотъ и было-бы приключеніе.

— Какъ въ сарай?

Петя въ краткихъ словахъ разсказалъ ей свое приключеніе.

— То-то вы такой, точно васъ изъ супа съ зеленью и вермишелью на ложкѣ вынули, засмѣялась Леконида.—А что, будете писать къ Аркадьеву? Что онъ за человѣкъ?

— Умный, но съ умомъ уже поношеннымъ, да и съ сердцемъ тоже поношеннымъ.

— Ну, а я... Я не стѣню его, если заѣду?

— Не знаю... Можетъ быть, онъ и будетъ радъ, потому-что скучаетъ: нѐ—передъ кѣмъ высказываться... Свѣдѣній запасъ не малый, но куда ихъ сунуть — не знаетъ, да и никогда не зналъ.

— Ну, коли вы не сядитесь и не поѣдете со мной — прощайте! Парфенъ, трогай! Кланяйтесь дикаркѣ Сашѣ и скажите, что ей еще рано учиться музыкѣ — глупа еще... Прощайте.

Парфенъ, не разгибая горба (совершеннымъ горбомъ ка-

залась согнутая спина его) и не опуская высоко поднятыхъ плечъ, тронулъ возжами и что-то промычалъ. Леконида уѣхала.

Петя поглядѣлъ ей въ слѣдъ. Эта дѣвушка поразила его своимъ щегольскимъ пестрымъ туалетомъ даже въ дорогѣ, среди пустыхъ полей и нищенскихъ деревень,—своимъ грубымъ умомъ и своей странной жизнью... Не слыхать, чтобъ она кутила или распутничала, но, очевидно, не думаетъ о своей репутаціи любитъ добровольно подвергать себя всяческимъ искушеніямъ бравировать, имѣетъ талантъ, т. е. страстный, увлекательный голосъ, и отличается какою-то разсчетливою безстрастностью.

Петя мысленно сравнивалъ ее съ Надей. Та—тоже гордая, свободолюбивая и неглупая дѣвушка; но какая разница! Какая въ той женственность и какая грація!

О Надѣ онъ старался не думать, но образъ ея еще несъ въ душѣ своей, и онъ безпрестанно выплывалъ и дразнилъ его юношеское воображеніе. Грустно и тяжело ему было сознавать, что не къ нему, не къ этому свѣтлому для него образу, а отъ него уходитъ онъ и, быть можетъ, никогда въ дѣйствительности его не встрѣтитъ.

ГЛАВА XL.

А петербургская жизнь текла, уподобляясь климату, безъ урагановъ и безъ ясно-лазурно-солнечныхъ дней. Лѣто-же приближалось къ концу, такъ какъ на сѣверѣ конецъ лѣта, это—начало августа.

Съ тѣхъ поръ, какъ Петя уѣхалъ въ Питеръ, прошелъ мѣсяцъ, и въ этотъ мѣсяцъ совершилось слѣдующее. Ознобинъ переѣхалъ въ Павловскъ, гдѣ нашелъ два урока, и занялся воспитаніемъ дѣтей г-жи Ерошиной, то есть такъ-же привязался къ Манѣ и Васѣ, какъ когда-то былъ привязанъ

къ Анютѣ и Петѣ Клинамъ. Человѣкъ этотъ, рѣшительно не способный свить собственное гнѣздо, привязывался какою-то исключительною, почти-что страстною привязанностію къ какой-нибудь чужой семьѣ и, такъ сказать, водворялся въ ней, становился ежедневнымъ гостемъ и вмѣшивался во всѣ дѣла ея.

Александра Александровна Ерошина очень ему была благодарна,—онъ сталъ человѣкомъ нужнымъ, ея покорнымъ рабомъ и совѣтникомъ. Александра Александровна очень жалѣла, что сестра ея, Леконида, обошлась съ нимъ такъ жестоко и немилосердно; но прямо и откровенно говорила ему, что пока онъ не найдетъ средствъ для жизни и не обезпечитъ своей будущности, нетолько ея сестра,—никто не пойдетъ за него замужъ; а что если-бы и нашлась такая, то онъ не долженъ жениться. Словомъ—подтвердила слова ея мужа, сказанныя имъ въ вагонѣ 3-го класса, что каждая дѣвушка, такъ или иначе, не обойдется безъ того, что называетъ Помяловскій «мѣщанскимъ счастьемъ», и какъ-бы ни была она либеральна, прежде всего потребуетъ себѣ отъ мужа именно этого счастья, такъ-какъ нѣтъ такой либеральной женщины, которая могла-бы обходиться безъ кухни, безъ спальной, безъ дѣтской и безъ зеркала. Конечно, Ерошинъ всего этого не досказалъ, разсуждая съ Надей по поводу Молотова, да и мы не досказываемъ, такъ-какъ мало-ли чего нужно женщинѣ развитой, семейной и нуждающейся въ обществѣ.

Иначе разсуждалъ, или фантазировалъ Ознобинъ, но мы уже знаемъ, какъ онъ на этотъ счетъ фантазировалъ.

Александра Александровна знала, что сестра ея уѣхала въ провинцію къ генералу Орѣшину, но дала ей слово никому объ этомъ не говорить. Повидимому, эта мать семейства была очень счастлива; но всѣ эгоисты никогда вполнѣ не бываютъ счастливы: Надежда Михайловна Баскова, т. е. Надя, два раза заходившая къ мужу ея и ей вторично имъ отрекомендованная, поселила въ глубинѣ души ея нѣчто въ родѣ ревности. «Зачѣмъ, думала она,—намедни цѣлыхъ два

часа сидѣла эта Надя въ кабинетѣ мужа и о чемъ они тамъ спорили? Что между ними общаго? Зачѣмъ онъ такъ любезенъ съ нею и такъ предупредителенъ: ходитъ ее провожать на станцію желѣзной дороги и даже разъ до самаго Петербурга проводилъ ее?» Задавшись такими вопросами, она задумалась. Неужели мужъ ея, такой солидный, дѣловой человѣкъ, еще способенъ влюбляться или строить куры? И неужели хорошенькіе глазки Нади такъ неотразимо хороши, что, чего добраго, мужъ ея увлекается этими самыми глазками?

— Какъ вы думаете, Иванъ Несторовичъ, спрашивала она Ознобина, — какъ вы думаете, эта Надя — кокетка? Не пойдетъ-ли она по слѣдамъ сестры своей?

Ознобинъ отвѣчалъ, что непремѣнно кокетка, такъ-какъ дѣвица безъ кокетства, это тоже — что солдатъ безъ ружья или птица безъ клюва.

Ознобинъ тоже имѣлъ случай познакомиться съ Надей, но чуждался ея только потому, что она сестра Мины Михайловны.

Разъ она говорила съ нимъ о Петѣ и очень тужила, что нѣтъ о немъ ни слуху, ни духу, и затѣмъ очень тонко намекнула ему, что онъ, Ознобинъ, не расположенъ смотрѣть на нее добрыми глазами или видѣть въ ней что-нибудь хорошее...

«Какъ это она догадалась? Проницательность непостижимая!» подумалъ Ознобинъ. И эта проницательность отчасти примирила его съ этой дѣвушкой.

«Это хорошо, думалъ чудакъ,—что она проникла. Надо поддержать ее въ этомъ мнѣніи. Я дѣйствительно не жду отъ нея ничего хорошаго. А впрочемъ, чѣмъ чортъ не шутитъ!» И затѣмъ думалъ о Леконидѣ:

«Вотъ дѣвушка, такъ дѣвушка! Хоть и груба, и сварлива, а все-таки чистое золото. Нѣтъ такой другой! И за одинъ ея палецъ я отдалъ-бы такихъ, какъ Надя, цѣлую дюжину».

Что касается до самаго Ерошина, то я долженъ сказать правду, опасенія жены его были основательны. Женскій инстинктъ подсказалъ ей то, что, можетъ быть, и самъ Ерошинъ еще не вполнѣ сознавалъ въ себѣ. Надя сильно ему нравилась, такъ нравилась, что онъ начиналъ скучать, когда долго не встрѣчалъ ее. Когда она уходила къ сестрѣ или уѣзжала въ городъ, онъ чувствовалъ, что день становится какъ-то не такъ свѣтелъ и веселъ, и люди какъ-то скучны. Словомъ—чего-то недостаетъ... Жизнь становится буднями; исчезаетъ праздничное настроеніе духа... Нѣтъ интереса, нѣтъ тепла... даже у него самого ума нѣтъ... словомъ—чего-то нѣтъ...

Онъ поглаживалъ бороду, опять принимался за дѣла и опять ласкалъ дѣтей своихъ. Повидимому, ничто не нарушало обычнаго теченія его дѣловой и семейной жизни. Такъ-же онъ былъ дѣятеленъ и нѣженъ по отношенію къ женѣ своей, и даже подарки привозилъ ей изъ города... Но подозрительная ревность Александры Александровны все росла и росла...

— Что-же это такъ давно не заходила къ тебѣ эта Надя Баскова?

— А зачѣмъ она будетъ къ намъ ходить, когда ты ее и не зовешь и не приглашаешь.

— А тебѣ это очень хочется?

— Чего?

— Чтобъ я ее звала и приглашала.

— Да, это очень пріятная и милая собесѣдница... и серьезная, съ ней пріятно говорить и весело спорить.

— Поздравляю тебя съ такой находкой!

Ерошинъ поглядѣлъ на жену и догадался, что она ревнуетъ.

— Не рано-ли ты меня поздравляешь? Кажется, не съ чѣмъ.

Жена поглядѣла на него искоса и тоже догадалась, что онъ обидѣлся.

— Что-же ты нахмурился? Или правда глаза колетъ?

— Если ты хочешь, чтобъ я говорилъ съ тобой,—не говори со мной намеками, прямо скажи мнѣ, что я влюбленъ и что ты ревнуешь—тогда я пойму въ чемъ дѣло.

Александра Александровна поняла, что мужъ ея вспыхнулъ и изволитъ гнѣваться.

— Не извольте гнѣваться! сказала она.—Я не виновата, что у меня нѣтъ такихъ совершенствъ, какія видите вы въ этой дѣвицѣ. Любуйтесь ею сколько душѣ вашей угодно, только я вовсе не желаю ее видѣть и надѣюсь, вы меня отъ этого избавите.

— Отчего-же вы видались и до сихъ поръ видаетесь съ сестрой ея, Миной Михайловной, даже когда-то были дружны съ ней? Неужели такъ именно нужно вести себя, какъ ведетъ себя эта Мина, чтобъ заслужить ваше расположеніе?

— Никого мнѣ не нужно! отозвалась Александра Александровна и съ разгорѣвшимися щеками ушла въ другую комнату.

— Чего она отъ меня хочетъ? почти вслухъ сказалъ Ерошинъ и долго сидѣлъ мрачный и какъ-бы въ воду опущенный, прежде чѣмъ принялся за перо и за счеты.

А Надя вдругъ получила письмо отъ Пети. Вотъ это письмо:

«Милая Надежда Михайловна!

«Если въ комъ-нибудь мое отсутствіе возбудило безпокойство, то я очень жалѣю и прошу извинить меня. Я заходилъ съ вами проститься, заходилъ и днемъ и ночью: днемъ не заставалъ, ночью-же являлся къ вамъ не впопадъ и, быть можетъ, огорчилъ васъ своимъ поведеніемъ. Не прощайте меня, если я виноватъ, только позвольте мнѣ хоть изрѣдка писать къ вамъ. Я нахожусь въ настоящую минуту въ ** губерніи, въ ** уѣздѣ, въ деревнѣ Тальники и даю уроки маленькой 10-ти-лѣтней дѣвочкѣ, Сашѣ, воспитанницѣ помѣщика и отставного генерала Орѣшина. Время провожу такъ,

какъ никогда во всю мою жизнь не проводилъ: впервые отъ роду попалъ, такъ-сказать, на лоно природы и чувствую, что никого не сержу и никто меня не сердитъ... Но я попалъ сюда не безъ приключеній на дорогѣ»...

Тутъ Петя описалъ Надѣ, какъ, проѣздомъ въ Тальники, онъ гостилъ у Аркадьева, какъ заболѣлъ и какъ потомъ, пѣшкомъ уходя къ Орѣшину, попалъ не на ту дорогу, и вмѣсто 16 верстъ прошелъ около тридцати; какъ сжегъ соломенную куклу и какъ провелъ ночь въ сараѣ. Словомъ—все, что извѣстно уже нашимъ читателямъ, и затѣмъ продолжалъ:

«Орѣшинъ, старикъ лѣтъ шестидесяти слишкомъ, былъ когда-то воспитанникомъ въ горномъ корпусѣ, слылъ математикомъ, много служилъ, много читалъ и много занимался разными проектами. Но, потерявши жену и затѣмъ двухъ взрослыхъ дочерей, вышелъ въ отставку и поселился въ Петербургѣ, на Васильевскомъ островѣ, около дорогихъ для него могилъ. Тяжело терять все, что любишь—живыхъ или мертвыхъ, все равно... Могила любви такъ-же страшна подчасъ, какъ и могила смерти... Кто пережилъ свои страданья, тотъ тасновится апатичнымъ и равнодушнымъ ко всѣму на свѣтѣ, и затѣмъ, чтобъ хоть чѣмъ-нибудь себя утѣшить или наполнить жизнь свою, привязывается кто къ кошкѣ, кто къ собакѣ, кто къ ребенку. И вотъ два равнодушныхъ сошлись подъ одной и той-же кровлей: я и старикъ-Орѣшинъ; оба привязаны къ одному и тому-же, очень милому ребенку, и этомъ ребенокъ моя ученица—Саша. Она одна развлекаетъ насъ и миритъ съ жизнью. Но я предчувствую, что для меня есть еще иное примиренье, иная забота въ жизни и, сталобыть, я во сто разъ счастливѣе Орѣшина. Я стараюсь узнавать народъ, и среди невѣждъ, пьяницъ и суевѣровъ встрѣчаю иногда такія личности, дружбы которыхъ я не достоинъ; но постараюсь безъ всякихъ утопій и радикальныхъ помысловъ когда-нибудь оправдать въ ихъ глазахъ и мой досугъ и мои труды, и тотъ комфортъ, какимъ я пользуюсь и о ко-

торомъ они не имѣютъ никакого понятія. По вечерамъ и ненастнымъ ночамъ я повторяю все то, въ чемъ чувствую себя слабѣе, т. е. алгебру и тригонометрію. Читаю латинскихъ классиковъ и перечитываю нашихъ старыхъ писателей, такъ-какъ въ старомъ домѣ, въ коробахъ, нашелъ цѣлую библіотеку. Въ домѣ есть піанино, которое засталъ я въ ужасномъ видѣ и которое благословляю... Оно избавило насъ отъ присутствія одной учительницы — Леониды Алаевой, которая была здѣсь, повертѣлась, пришла въ негодованіе и уѣхала... (Алаева—это, между нами будь сказано,—та самая, въ которую влюбленъ Ознобинъ и на которой онъ хотѣлъ жениться). Піанино я настроилъ, и теперь оно хоть-куда. Саша уже разбираетъ ноты и подпѣваетъ. У ней большія способности къ музыкѣ, и, чего добраго, черезъ два-три года она будетъ играть лучше, чѣмъ я, несмотря на всѣ эксперименты, которые продѣлывалъ надо мной родитель мой. И, знаете, здѣсь я кое-что припоминаю и даже поигрываю, такъ-какъ здѣсь неискусная игра моя доставляетъ самое искреннее удовольствіе и никто не бѣсится на меня за то, что я съиграю не по всѣмъ строгимъ правиламъ искусства или сфальшивлю,— все сходитъ съ рукъ, и слава Богу! Намедни я давалъ концертъ крестьянскимъ бабамъ и дѣвкамъ, — игралъ имъ русскія пѣсни и видѣлъ, какъ онѣ плясали, иначе сказать, очень живописно и даже выразительно толклись на одномъ и томъже мѣстѣ. Орѣшинъ — человѣкъ странный: на все глядитъ какъ-бы съ того свѣта, страшно разсѣянъ, и жалуется, что тѣни или галлюцинаціи перестали посѣщать его. Онъ разсказываетъ чудеса объ этихъ явленіяхъ, онъ вѣритъ имъ и безъ нихъ скучаетъ... Люди при немъ дѣлаютъ что хотятъ,— ни чьей свободы онъ не стѣсняетъ и до тѣхъ поръ позволяетъ себя обманывать, пока кто-нибудь не задѣнетъ его за живое. Тогда онъ просыпается, вдругъ становится подозрителенъ, разсудителенъ и распорядителенъ. Меня онъ любитъ, и хотя между нами ничего нѣтъ общаго, я никогда себѣ не

позволю обмануть его... Написалъ-бы вамъ кое-что и объ Аркадьевѣ, у котораго я лежалъ больной, но до другого времени: и такъ письмо мое вышло до безобразія велико—чего добраго, вамъ некогда будетъ и прочитать его. Если-же вы его дочли, то прошу васъ, исполните мою просьбу: поклонитесь отцу, моей мачихѣ и Ксеніи; сходите въ гимназію, вытребуйте мой аттестатъ и пришлите мнѣ. А затѣмъ, если будетъ у васъ время, навѣстите Мавру—мою бывшую няню и стряпуху въ домѣ моего папа, когда онъ жилъ на Васильевскомъ островѣ. Это чуть-ли не единственный, самый вѣрный другъ мой, оставленный мною въ Питерѣ. Жива-ли она, бѣдная?»

Затѣмъ Петя написалъ ей адресъ квартиры Орѣшина и подписалъ:

Вашъ преданный Петръ Клинъ».

Надю письмо это и обрадовало, и успокоило. Но ей было не совсѣмъ пріятно, что онъ пишетъ ей «вы», ни разу не называетъ ее своимъ другомъ и о чувствахъ своихъ ни слова. Только какой-то романтическій таинственный намекъ о какой-то могилѣ любви, затѣмъ ничего, кромѣ равнодушія.

«Я знала, подумала она,—что эти страсти—тѣ-же грозы: погремятъ, посверкаютъ... и успокоятся... Привязанность, привычка сильнѣе страсти; но у меня нѣтъ ни этихъ привязанностей, ни этой милой привычки... Неужели такъ и пройдетъ моя молодость?»...

ГЛАВА XLI.

Швейцаръ гимназіи сказалъ Надѣ Басковой, что никого нѣтъ и что директоръ живетъ въ Царскомъ селѣ на дачѣ.

Надя дала ему двугривенный, получила адресъ и рѣшилась по дорогѣ въ Павловскъ заѣхать къ директору.

— Жаль, хорошій былъ ученикъ, способный и недурно велъ себя, сообщилъ ей директоръ, выходя къ ней въ каби-

нетъ свой прямо отъ завтрака, даже съ салфеткой въ рукахъ, которою онъ тотчасъ-же проворно вытеръ ротъ и бросилъ на стулъ у двери.

Надя передала ему просьбу Пети и просила его распорядиться о выдачѣ аттестата или сказать ей, въ какое время въ канцеляріи она можетъ получить его.

— Гм... Хорошій былъ ученикъ. Гм... да, заговорилъ директоръ. — Но развѣ онъ еще не одумался? Посовѣтуйте ему еще годикъ остаться... Право, это будетъ полезно... Онъ малый не безъ способностей, но самонадѣянъ... и... еще не установился.

— И никогда не установится, съ улыбкой отвѣчала Надя,—всегда будетъ порываться и жаждать правды...

Директоръ поглядѣлъ на нее сверху внизъ, и, казалось, тотчасъ-же въ мозгу его сложилось о ней самое невыгодное мнѣніе. «Или она шутитъ? подумалъ онъ.—Про какую такую правду говоритъ она?»

— Если у васъ есть довѣренность отъ Петра Клина, то аттестатъ вамъ будетъ выданъ на дняхъ... Можете послать ему.

— Довѣренность? изумилась Надя.—У меня нѣтъ довѣренности... Но я могу вамъ показать письмо его... и онъ мнѣ родственникъ...

— Напишите, чтобы онъ выслалъ довѣренность, засвидѣтельствованную мѣстною полиціей.

— Но почему-же будетъ знать полиція, что это Петръ Клинъ, если у него нѣтъ ни аттестата, ни бумагъ его.

— Ну, нѣтъ аттестата, есть какое-нибудь другое свидѣтельство... Какъ-же иначе... Нельзя-съ... Ни въ одномъ уѣздномъ городишкѣ безъ вида не будутъ держать его... строгости пошли... такое время.

— А если онъ самъ пришлетъ къ вамъ просьбу о высылкѣ ему аттестата?

— Ну да... если пришлетъ... Но кто-же у меня въ кан-

целяріи распишется въ полученіи?.. Скажите, что онъ можетъ и самъ пріѣхать за своими бумагами.

— А если отецъ его за него распишется?

— А кто его отецъ?

Надя сказала.

— Ахъ да, знаю, онъ писалъ мнѣ... Кажется, сбѣжалъ онъ... сынъ-то его... Что-то я такое слышалъ... Ну, можетъ быть, отцу и можно будетъ выдать, нерѣшительно отвѣтилъ директоръ.—Словомъ, все будетъ сдѣлано какъ слѣдуетъ, на точномъ основаніи закона. Аттестатъ готовъ... пусть является и получаетъ...

— Стало-быть, я никакъ не могу получить его?

— Я не имѣю чести знать васъ, стало-быть...

Надя подумала и простилась съ нимъ.

Директоръ, который не посадилъ ее и разговаривалъ съ ней стоя, все-таки былъ такъ вѣжливъ, что до самой передней проводилъ ее, самъ заперъ за ней дверь и, вернувшись въ кабинетъ, увидѣлъ на стулѣ салфетку... Поморщившись, онъ взялъ ее въ руки и затѣмъ отправился въ столовую кофе пить.

Надя съ первымъ отходящимъ поѣздомъ поѣхала въ Павловскъ.

«Надо будетъ подбить Егора Антоновича, чтобъ онъ какъ-нибудь получилъ аттестатъ и выслалъ его сыну» думала Надя.

День былъ воскресный, и Егоръ Антоновичъ былъ дома. Выслушавъ ее, онъ, очевидно, обрадовался, что сынъ его не бѣжалъ заграницу и не въ Сербіи; но хлопотать за него не захотѣлъ.

— За непокорнаго и за самодура я хлопотать не стану, сказалъ онъ. — Пусть, калмыцкая рожа, самъ за себя хлопочетъ.

И съ этого пункта уже нельзя было его сдвинуть ни коимъ образомъ. Онъ былъ изъ числа тѣхъ упрямцевъ, про

которыхъ говорятъ: хоть колъ на головѣ теши — ничего не подѣлаешь.

Надя передала Ксеніи поклонъ Пети, сказала ей, что онъ здоровъ и готовится къ экзаменамъ. Но Ксенія, если только не притворилась равнодушной, къ удивленію Нади, выслушала эту новость безъ малѣйшихъ признаковъ радости.

Задумавшись и не зная, что ей дѣлать, она послѣ обѣда пошла на дачу къ Ерошинымъ.

Несмотря на хмурую, вѣтреную погоду, Ерошинъ, съ открытой грудью, сидѣлъ у себя на балкончикѣ, на тѣхъ-же самыхъ качающихся, гнутыхъ креслахъ вѣнской работы, на которыхъ, мѣсяцъ тому назадъ, сидѣлъ Ознобинъ и неожиданно, «какъ мимолетное видѣніе», увидѣлъ предметъ любви своей—Леониду Алаеву и не съумѣлъ помириться съ ней.

Ерошинъ читалъ «Новое Время» и курилъ дешевую сигарку. Услыхавъ шорохъ въ палисадникѣ, онъ выглянулъ изъ за парусины. Это былъ не вѣтеръ, это были шаги приближающейся дѣвушки. И онъ тотчасъ-же узналъ ее, вскочилъ и пошелъ ей на встрѣчу.

— Я къ вамъ за дѣломъ, посовѣтоваться пришла, остановившись у ступенекъ и протягивая руку, проговорила Надя.

— Голубушка! Да какъ-же я вамъ радъ! И суровое лицо его доказывало истину его привѣта,—оно сіяло...

— Посовѣтуйте, какъ мнѣ выручить изъ гимназіи аттестатъ Пети.

— Какого Пети? Ахъ да, Клина! Что такое? Аттестатъ!.. Ничего не понимаю... Входите, входите! и онъ за руку потянулъ ее на балконъ. Зачѣмъ вамъ на вѣтру стоять... ишь вѣдь какъ кудри-то ваши золотыя раздуваетъ!..

Надя взошла на балконъ и разсказала ему про письмо Пети и о своихъ неудачныхъ хлопотахъ по поводу аттестата.

Ерошинъ тотчасъ-же отказался отъ всякихъ хлопотъ, сказавъ, что директора онъ не знаетъ—въ глаза не видалъ, и

что этотъ формалистъ будетъ непремѣнно отвѣчать ему то же самое, требовать довѣренности и проч. и проч.

— Жаль... мнѣ казалось, что вы мнѣ поможете.

— Садитесь и будемте разговаривать... Садитесь... Я давно не слыхалъ вашего голоса... Если-бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что бываетъ такой женскій голосъ, что слаще всякой музыки,—я бы не повѣрилъ... а теперь повѣрю.

— Что это? Комплиментъ? Вотъ ужъ чего я отъ васъ не ожидала, Николай Николаевичъ! слегка обиженнымъ тономъ, протяжно проговорила Надя, и тонкій румянецъ заигралъ на ея бѣломъ личикѣ.

— А гдѣ Александра Александровна?

— Сейчасъ была здѣсь, и — куда ушла — не знаю, холодно проговорилъ Ерошинъ, поглядѣвъ на пепелъ своей потухшей сигары.

— Итакъ, я должна написать ему, что онъ самъ долженъ явиться за своими бумагами?

— Напишите, что онъ самъ долженъ явиться за своими бумагами... Да на что онѣ ему нужны? Вѣдь, вѣроятно-же, къ осени онъ вернется... а тогда... получитъ...

Надя разсказала ему анекдотъ, какъ Петя просидѣлъ всю ночь запертый въ сараѣ, потому-что у него не было никакого вида...

— Чортъ знаетъ, что такое! А здѣсь, въ Петербургѣ, не могу я добиться, чтобъ дворникъ взялъ паспортъ отъ моей кухарки... А пріѣзжіе изъ провинціи гостятъ здѣсь по цѣлымъ недѣлямъ у своихъ товарищей, и никто не спрашиваетъ вида ихъ.—Но довольно намъ говорить о такихъ пустякахъ! Разскажите-ка лучше что-нибудь про себя. Такъ вы не отмѣнили еще вашего намѣренія поступить на медицинскіе курсы?

— Нѣтъ.

— Ну, и дай вамъ Богъ успѣха... А замужъ не собираетесь? Надя поглядѣла на него и отвѣчала:

— А зачѣмъ вамъ это знать?

— Зачѣмъ? Зачѣмъ?.. Какой нескромный вопросъ... Зачѣмъ?—ну хоть затѣмъ, чтобъ позавидовать тому, кто «милой дѣвѣ дастъ названіе супруги».

— Вамъ нѐчего завидывать, съ запинкой проговорила Надя.

Въ это время отворилась стеклянная дверь, и на балконѣ появилась Александра Александровна.

На дачѣ она пополнѣла, но круглое лицо ея съ высокимъ лбомъ и съ маленькой складочкой, идущей вверхъ отъ тоненькой брови, не было отъ того ни веселѣе, ни привѣтливѣе. Какая-то торопливая забота лежала на этомъ лицѣ, да и не на одномъ лицѣ, на всемъ ея обликѣ, на ея прическѣ съ шпильками изъ наколотаго шиньона и даже на пуговкахъ ея лифа, которыя не всѣ были застегнуты. Явно, она торопилась выйти, но спокойно поздоровалась съ Надей и спросила ее о здоровьѣ Мины Михайловны.

— Сестра здорова.

— Не хотите-ли кофе? Мы только-что пили.

— И я только-что пила, только-что отобѣдала у сестры и зашла къ вашему мужу посовѣтываться...

— Вы-бы лучше совѣтывались съ Егоромъ Антоновичемъ: говорятъ, онъ человѣкъ практическій.

— Я не называю такихъ людей практическими. Для него существуютъ люди, которымъ онъ служитъ изъ-за денегъ — къ этимъ онъ съумѣлъ приноровить себя, и—люди, которыхъ онъ не понимаетъ, т. е. всѣ тѣ, которымъ онъ не служитъ.— Я рѣдко встрѣчала такихъ слѣпыхъ людей, какъ этотъ мужъ моей сестры. Ему кажется, что онъ какой-то идолъ, и сердится на тѣхъ, кто ему не поклоняется; а такъ-какъ ему никто не поклоняется—онъ сердится на весь свѣтъ, и бываетъ уменъ только тогда, когда пишетъ оффиціальныя бумаги и ведетъ свои счеты... Тутъ онъ, какъ говорятъ, собаку съѣлъ. Снестись съ подрядчикомъ или государственнымъ казначей-

ствомъ умѣетъ, а какъ отнестись съ людямъ ему близкимъ, даже къ родному сыну—не имѣетъ ни малѣйшаго понятія. Ничего не понимаетъ и думаетъ, что онъ все и всѣхъ видитъ насквозь... Жалкій человѣкъ! Нѣтъ, я никогда не пойду къ нему ни за какимъ совѣтомъ — онъ грубъ и циниченъ... Я не люблю его...

— Хорошо-же вы его отдѣлали, замѣтила Александра Александровна.

Затѣмъ разговоръ сталъ вращаться около такихъ предметовъ, которые, очевидно, не очень интересовали ихъ: объ оранжереяхъ великаго князя, о томъ, что барометръ поднимается и что, можетъ быть, въ августѣ будетъ хорошая погода, о клубничномъ и земляничномъ вареньѣ, и проч. и проч.

Такимъ образомъ, поговоривши съ Александрой Александровной, Надя встала, простилась и ушла.

Ерошинъ, молча пожавшій ей руку, остался на балконѣ. Онъ ни единымъ словомъ не вмѣшивался въ разговоръ Нади съ женой и только поглядывалъ то на ту, то на другую, приподнимая то правую бровь, то лѣвую, и суровой покой лежалъ на бородатомъ лицѣ его.

— Ну зачѣмъ она приходила? сказала Александра Александровна.—Язычекъ почесать?..

Ерошинъ, усѣвшись на прежнее мѣсто, молчалъ и гладилъ свою бороду.

— Что-же ты молчишь?.. Милый мой, дорогой мой, золотой мой!.. Неужели ты разлюбилъ меня?..

Ерошинъ сидѣлъ неподвижно, молчалъ, и упавшая газета лежала у ногъ его.

Жена подошла, крѣпко обняла его и стала цѣловать его въ голову, въ високъ и въ щеки, поросшія густыми баками. Никогда еще, въ такое время дня, Александра Александровна не позволяла себѣ такихъ нѣжностей. Но ей хотѣлось вѣрить, что мужъ ея и не всталъ и не проводилъ своей гостьи

только потому, что боялся огорчить жену, хотѣлъ показать Надѣ полнѣйшее свое равнодушіе.

О добрый, добрый, несравненный мужъ!

— Ну говори-же, неужели ты такъ остылъ ко мнѣ... Ты?!. Можетъ-ли это быть?..

— Не будь сухой эгоисткой, и я никогда не перестану любить тебя... Если хочешь, чтобъ я былъ въ духѣ — не ревнуй и не требуй отъ меня невозможнаго. Любоваться чьей-бы то ни было красотой и даже удивляться ей—еще не значитъ быть преступникомъ, точно также и ласкаться такъ, какъ ты ласкаешься, еще не значитъ—любить...

Александра Александровна отступила отъ него и была такъ красна, какъ будто только что вернулась изъ кухни, гдѣ стояла передъ очагомъ и жарилась... Кровь прилила ей не только къ щекамъ, — выступила на лбу и даже на подбородкѣ.

— Я еще не измѣнилъ тебѣ, а ты уже меня ревнуешь! Что-же было бы, если-бы я на самомъ дѣлѣ измѣнилъ тебѣ? Я тебя понимаю, и—это меня мучитъ, я чувствую, что это мнѣ мѣшаетъ говорить и въ твоемъ присутствіи,—быть любезнымъ съ особой, которой я симпатизирую и которой вся вина въ томъ, что она хороша, умна, проста и мила. Неужели бракъ до такой степени обязанъ заглушать въ насъ все человѣческое? Неужели, въ угоду женѣ, я долженъ лишать себя женскаго общества? Если это такъ, то это не бракъ, а какое-то монашество, въ родѣ аѳонскаго... Нѣтъ, такъ исказить души моей я не хочу... Иначе—съ ума сойду...

— Да ты, кажется, и такъ уже съ ума сошелъ, подавленно-спокойнымъ тономъ проговорила Александра Александровна и, вздыхая, отняла отъ него свои мягкія руки.

— А если такъ, то свези меня въ желтый домъ и посади на цѣпь... или смотри на меня, какъ на невмѣняемаго, такъ-какъ сумасшедшимъ все простительно... Но я пойду провѣтриться, у меня голова болитъ.

«Не сидится ему дома... въ паркъ пойдетъ, на станцію пойдетъ провожать ее», подумала Александра Александровна.

Мужъ пошелъ за шляпой и палкой.

Жена осталась на балконѣ и безсмысленно тупо глядѣла въ садикъ, на листочки молодыхъ березокъ, колеблемыхъ порывами вѣтра. Не даромъ она боялась и страдала прежде времени... Для нея, внѣ семьи, мужа и дѣтей, не существовало ничего достойнаго ея любви или хоть малѣйшаго, искренняго вниманія. Поневолѣ она должна была, всѣми силами души своей, беречь тотъ маленькій мірокъ, въ которомъ замыкалось все ея земное благополучіе. А что если вдругъ этотъ мірокъ окажется хрупкимъ? Что если вдругъ все это какъ-нибудь рухнетъ или хоть покачнется?..

ГЛАВА XLII.

Если-бы Надя отдала себѣ отчетъ, отчего она въ послѣднее время стала чаще ѣздить къ сестрѣ своей и отчего, по случаю невыданнаго ей аттестата Пети, отправилась къ Ерошинымъ,—она-бы смутилась. Она-бы поняла, что ей почему-то хочется, хоть на нѣсколько минутъ, увидать Николая Николаевича и услыхать его привѣтливый голосъ.

Одно сознавала она, и то смутно сознавала, что всякій разъ, когда она на станціи или въ паркѣ видѣла фигуру подходящаго къ ней Ерошина, или подходила къ палисаднику его дачи,—какое-то безпокойное, глухо-тревожное чувство проникало въ грудь ея. Такъ иногда подчиненные трусятъ своихъ начальниковъ...

Что Ерошинъ ей нравился, какъ человѣкъ честный и весьма неглупый, это она могла-бы всякому и вслухъ сказать, но что она можетъ страстно полюбить его—это даже и не приходило ей въ голову... Только въ послѣдній разъ, когда она уходила отъ Ерошиныхъ, появилась и глубоко засѣла въ ней мысль, что Ерошинъ, этотъ дѣлецъ и примѣрный семьянинъ, неравнодушенъ къ ней. Его радость при ея появленіи, его холодная молчаливость при женѣ, его нервное пожатіе руки, когда она прощалась съ нимъ, все это

вдругъ получило какой-то смыслъ, подсказало ей что-то такое, что въ иныхъ житейскихъ формахъ и не смѣло бы проявить себя.

Тому назадъ года два или три, догадка, что такой-то А или Б, словомъ, такой-то мужчина влюбленъ въ нее, заставила бы ее улыбнуться, и не разъ ухаживанье молодыхъ людей мысленно тѣшило ея молодое самолюбіе; но не улыбалась она, уходя отъ Ерошиныхъ, и мечта, что Ерошинъ не шутя неравнодушенъ къ ней, до того ее встревожила, что она рѣшилась какъ можно дольше не видаться и не встрѣчаться съ нимъ.

«Слава Богу, думала Надя,—Петя разлюбилъ меня; можетъ быть, даже скоро забудетъ о моемъ существованіи... И прекрасно!.. И ничего я не хочу... ничего я не желаю!»

И съ этой мыслью принималась она писать къ нему, и написала письмо такое теплое, полное такого участія и дружбы, чуть не любви, что если-бы она сама перечла его, онабы задумалась—посылать-ли?.. Вѣдь написать такое письмо, не значитъ-ли подать ему какую-то смутную надежду на взаимность? Но такое предположеніе даже и не пришло ей въ голову; напротивъ, упомянувъ въ письмѣ своемъ о Ксеніи, о ея красотѣ и ея наивности, Надя воображала, что она заставитъ Петю думать не столько о себѣ, сколько о Ксеніи. Нечего и прибавлять, что она разсказала ему о тѣхъ неудачахъ, которыми ознаменовались ея хлопоты получить его документы изъ гимназіи, и покаялась, что не имѣла времени навѣстить его стараго друга и ея *соперницу* Мавру. О томъже трагическомъ происшествіи, которое случилось въ казенной квартирѣ отца его, написать позабыла.

Письмо полетѣло по почтѣ, но мы предупредимъ его и поговоримъ о Петѣ.

Ему, не избалованному жизнью и рано измятому неосторожными прикосновеніями грубыхъ рукъ ея, казалось, что никогда еще онъ не былъ такъ спокоенъ и счастливъ... Въ полномъ смыслѣ слова отдыхалъ онъ и душой, и тѣломъ. Деревенская жизнь, не лишая свободы, заставляла его и мы-

слить, и работать, и шляться, и знакомиться съ крестьянскимъ бытомъ, и лежать въ травѣ на солнечномъ припекѣ, и уходить въ тѣнь съ книгою въ рукахъ, и даже вмѣстѣ съ Сашей ловить кузнечиковъ и бабочекъ... Иногда онъ готовъ былъ бѣситься и прыгать, какъ жеребенокъ, изъ темной конюшни выпущенный на подножный кормъ, въ ясное, лѣтнее утро.

Даже критическое отношеніе къ судьбѣ было для него довольно утѣшительно.

«Выдержи я экзаменъ, думалъ онъ,—я бы не упрямился и жилъ бы въ Павловскѣ, т. е., не видалъ-бы деревни, какъ ушей своихъ, и не жилъ-бы на свободѣ... А останься я въ Павловскѣ—о, милліонъ терзаній! Я тамъ встрѣчалъ-бы тѣхъ, которыхъ я не люблю и которые меня любятъ, и ту, которую я люблю, и которая меня не любитъ, и передъ всѣми выслушивалъ-бы упреки моего родителя, а самъ долженъ былъ бы скрывать отъ него продѣлки моей милой мачихи!»

Было для Пети и еще одно утѣшеніе: когда на другой или на третій день своего прибытія въ домъ Орѣшина, онъ разстегнулъ свою сумку, чтобъ вынуть оттуда и отдать прачкѣ бѣлье свое, онъ нашелъ въ ней тщательно завернутую въ синюю сахарную бумагу рублевую депозитку.

Откуда она появилась, онъ понять не могъ, и предположеніе, что рубль этотъ сунулъ ему въ сумку старый Миронъ, тотъ крестьянинъ, который изъ бѣды его выручилъ, т. е., выпустилъ изъ-подъ замка на волю,—и умилило его, и потрясло, и обидѣло, и обрадовало...

«Что если это Миронъ? думалъ сконфуженный Петя.—Что мнѣ дѣлать? Какъ мнѣ отдать ему этотъ рубль, или чѣмъ мнѣ за это отблагодарить его?.. И за что, за что такое приношенье?.. За то-ли, что, разрушивъ колдовское дѣйствіе «залома», я, по его мнѣнію, спасъ его и семью его отъ какого-то угрожавшаго имъ несчастія, или просто оттого, что, обыскивая меня и мою сумку, не нашли ни одной копѣйки, и старикъ, вообразивъ себѣ, что я нуждающійся,—подалъ мнѣ милостыню. Но что-бы то ни было, сохраню

этотъ рубль... Ишь вѣдь какой измятый и старенькій, еле-еле держится, точно паутинка, видно, что перебывалъ въ сотнѣ мужицкихъ, рабочихъ рукъ!»...

Спустя недѣлю, Петя получилъ отъ Аркадьева письмо слѣдующаго содержанія:

«Кой чортъ заставилъ васъ отъ меня бѣжать, какъ отъ людоѣда! Уйти пѣшкомъ въ то время, когда даже и лошади были для васъ запряжены и завтракъ на столѣ, и даже бутылка великолѣпнаго сотерна, которую я готовился распить съ вами за ваше здоровье! Что можетъ быть обиднѣе?! Злился я на васъ ужаснѣйшимъ образомъ. Нелѣпый вы юноша! Ну вотъ и нарвались, и посидѣли въ сараѣ; и будь у васъ деньги, сидѣли-бы вы до тѣхъ поръ, пока не выдали-бы этихъ денегъ на нѣсколько ведеръ водки... Безденежье-то и спасло васъ, милостивый государь!.. Увидѣли наши сельскіе мудрецы, что съ васъ взятки гладки, да и пустили васъ на всѣ четыре стороны. Очень я удивился и сильно возмутился духомъ, когда Леканида Александровна привезла мнѣ эту новость. Она еще до сихъ поръ у меня. Славный у ней голосъ: поетъ, какъ сирена... Хочу въ Тулѣ взять для нея на прокатъ піанино... Она, по моему, не хороша собой, но въ ней что-то есть... есть какая-то живая струнка, и, несмотря на это, эта дѣвица по натурѣ своей далеко не горячаго темперамента. Сцена или успѣхъ на эстрадѣ могли-бы до восторга или до энтузіазма разогрѣть ее. Впрочемъ, я еще не совсѣмъ ее понимаю... Если вздумается вамъ посѣтить меня, пишите, я пришлю за вами лошадей... Дернула-же васъ нелегкая идти на Вавилово, тогда какъ есть дорога короче... Но прощайте. Богъ съ вами».

Прочитавъ это письмо, Петя тотчасъ-же принялся за перо, чтобъ отвѣчать ему:

«Экая бѣда, что я пострадалъ! Да и не самъ-ли я виноватъ? Вздумалъ разубѣждать народъ въ томъ, во что онъ вѣритъ въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій, тогда-какъ всѣ мы знаемъ по опыту, что разубѣждать—это не шутка. Какъ я разувѣрю образованнаго Аполлона Карповича, что духи не

стучатъ и не шелестятъ одеждою? Какъ я разувѣрю васъ, что народъ не весь плутъ, негодяй и пьяница, и—какъ вы увѣрите меня, что наше столичное общество интереснѣе, честнѣе или добрѣе мужицкаго! Другъ друга мы не умѣемъ въ чемъ-нибудь убѣдить или переувѣрить, а я въ одинъ часъ хотѣлъ похѣрить всѣхъ этихъ тысячелѣтнихъ вѣдьмъ и колдуновъ, и даже воображалъ, что я дѣло дѣлаю... Научите народъ чему-нибудь, и тогда онъ и самъ додумается, что колдуны—плуты и что бояться лѣшихъ не слѣдуетъ... Впрочемъ, я думаю, вы и сами въ полночь не пойдете на кладбище и не захотите переночевать въ лѣсу... Вотъ и мнѣ въ сараѣ, когда я запертъ былъ, ночью вдругъ сдѣлалось такъ жутко, что вы и представить себѣ не можете... Богъ знаетъ, какія нелѣпости вдругъ полѣзли въ голову!.. А что я пѣшкомъ ушелъ отъ васъ, я не раскаяваюсь. Виноватъ, что огорчилъ васъ. Но, какъ мнѣ кажется, я имѣлъ честь предупреждать васъ, что я пѣшкомъ уйду. Зачѣмъ-же вы приказали лошадей закладывать? Нѣтъ-ли у васъ послѣднихъ томовъ «Исторіи Соловьева» и вообще нѣтъ-ли чего-нибудь новаго по части Русской Исторіи?.. Если есть, много обяжете, если пришлете».

Это письмо, очевидно, было писано подъ непростывшимъ еще обаяніемъ того таинственнаго рубля, который былъ найденъ Петей въ его гимназической сумкѣ... Все письмо дышало и благодушіемъ, и любовью къ простому суевѣрному народу... Невольно припоминалось Петѣ, какъ онъ приходилъ къ отцу своему за деньгами, и невольно рисовалось ему то чувство,—почти родительское чувство, которое подсунуло бѣдному и незнакомому парню рублевую бумажку... Онъ краснѣлъ за себя, и будь у него въ эту минуту тысячи, онъ всѣ-бы ихъ отвезъ въ село Вавилово и роздалъ-бы эти тысячи бѣднѣйшимъ изъ его обитателей.

Петя былъ въ саду и читалъ одну изъ книгъ, присланныхъ ему Аркадьевымъ. Но великолѣпный полдень, съ его голубымъ зноемъ и золотымъ трепетомъ въ зелени листьевъ и утомлялъ, и развлекалъ его... Онъ сидѣлъ, полулежа, на

старой скамьѣ, въ тридцати шагахъ отъ стараго господскаго дома. Мимо дома этого шли тропинки. Густая крапива, съ выглядывающими изъ-за нихъ темнолиловыми цвѣтками аконита, росла подъ окнами, съ гнилыми, частью разбитыми рамами, безъ стеколъ и даже безъ досокъ, которыми на зиму онѣ были заколочены. Въ нихъ что-то смутно пестрѣло:—это были узоры старыхъ обоевъ и когда-то расписанныхъ по трафарету потолковъ. У наружной стѣны этой опустѣлой руины, изъ-за крапивы, виднѣлись Петѣ, приставленныя къ кирпичному фундаменту, старыя, изъ краснаго дерева ширмы, съ прорваннымъ подбоемъ изъ какой-то, должно-быть шелковой, зеленоватой матеріи. Эти ширмы велѣлъ вытащить на свѣтъ Божій самъ Орѣшинъ, увѣряя Петю, что онъ родился за этими ширмами, и послалъ за столяромъ, чтобъ починить ихъ.

«Какъ-то протекала здѣсь жизнь, привольно-шумная, помѣщичья жизнь! думалъ Петя».—«А вонъ, прошла Маша... Ишь, нарвала липовыхъ листьевъ, прикладываетъ ко рту и щелкаетъ... Вотъ, увидала меня, выпрямилась и точно грязь или лужу встрѣтила,—приподняла край юбки и, смотритъ себѣ подъ ноги... новые башмаки... значитъ, кокетничаетъ... Чай, такая-же Дуня... Дай только поводъ... А почему-жъ-бы мнѣ и не дать этого повода!.. «Жизнью пользуйся живущій»!.. Нѣтъ, ужь больно глупа и манерна, считаетъ себя барышней, говоритъ, что отецъ ея, бывшій лакей, тоже помѣщикъ: сколько-то десятинъ дареныхъ имѣетъ въ своемъ обладаніи... Что это я до сихъ поръ не могу узнать, какая это птица щелкаетъ?.. Уговорю Аполлона Карповича остаться здѣсь до октября, пока морозить не начнетъ... Никогда не слыхалъ я такой стрекотни кузнечиковъ... А что старикъ Савелій:—выздоровѣлъ, или еще не выздоровѣлъ?—принялъ хининъ, который я далъ ему, или выкинулъ?.. А что, если я пѣшкомъ изъ конца въ конецъ пройду всю Россію?»...

Такіе-то мысли и образы, цѣпляясь другъ за друга, безъ

всякой логической связи, пробѣгали въ мозгу его, когда онъ, опуская книгу, предавался воистину деревенской лѣни.

И въ этотъ-то самый благодатный полдень, Саша, которая замѣтно стала полнѣть отъ молока и воздуха, принесла ему письмо отъ Нади и, пока бѣжала къ нему въ перевалку, кричала: «Вамъ, вамъ, письмецо!.. Гдѣ вы? Куда пропали? Я вездѣ искала васъ».

Петя распечаталъ письмо, увидѣлъ подпись, и всѣ эти мысли и образы, которые скользили по немъ, какъ лучи солнца, процѣженные сквозь густую листву, въ одинъ мигъ стушевались, и точно вихрь перенесъ его въ иной міръ, за тридевять земель, въ тридесятое царство...

— Ну, Саша, душа моя, теперь не мѣшай мнѣ... Ступай, я сейчасъ приду... Сію минуту.

— Приходите скорѣй.

Затѣмъ она постояла, молча, поглядѣла на него, повернулась и убѣжала...

ГЛАВА XLIII.

«Ну, не бѣда! Мнѣ и не нужно ни аттестата, ни этихъ бумагъ... Никто и не спроситъ... Вернусь,—самъ получу и распишусь въ полученіи», подумалъ Петя, прочитавъ посланіе Нади.

Неумышленно-подзадоривающее посланіе, не распаляя въ немъ ни страсти, ни надеждъ, ни желаній, было писано въ такомъ любовномъ настроеніи духа, что затронуло и страсть, и надежду, и желаніе, иначе сказать, растравило въ немъ ту сердечную рану, которая начинала подживать и затягиваться.

И, положа въ боковой карманъ это письмо, которое дышало такой нѣжной дружбой, что казалось на половину изліяніемъ неравнодушной къ нему дѣвушки,—Петя всталъ, поднялъ книгу и по дорожкѣ, заросшей травой, обойдя руину барскаго дома, направился къ флигелю.

Подходя къ крыльцу, онъ увидѣлъ старика Орѣшина, на своемъ любимомъ мѣстечкѣ, протянувшаго на солнце свои ноги и въ тѣнь отъ навѣса откинувшаго свою обнаженную голову, съ торчащими вверхъ и въ бокъ сѣдыми, давно не стриженными волосами, и услыхалъ, сквозь раскрытое окно, монотонные звуки фортепіанныхъ клавишей.

Орѣшинъ былъ не одинъ: онъ разговаривалъ со своимъ арендаторомъ, которому вынесенъ былъ стулъ, но который предпочелъ сѣсть на верхнюю ступеньку крыльца и свѣсить свои ноги, облеченныя въ сапоги съ такими гвоздями, что они издали казались узенькими подковами.

Арендаторъ этотъ былъ купецъ Тихонинъ, мужичина съ угреватымъ багровымъ носомъ и настолько-же мясистый и плотный, насколько хитрый и на слова жалостливый. За нимъ была недоимка въ восемьсотъ рублей, и онъ два года уже не платилъ ея, ссылаясь на неурожаи, тогда какъ, по мнѣнію сосѣдей, имѣнье Тальники давало ему до 12,000 рублей чистаго дохода.

Орѣшину не нравилась его физіономія, а потому онъ и былъ угрюмъ и несговорчивъ.

Петя прошелъ мимо и вошелъ въ комнаты.

Саша играла свои первоначальныя гаммы, и, казалось, самой природой пальчики ея были приноровлены къ клавишамъ или клавиши созданы для ея пальчиковъ,—такъ быстро усвоивали они легкость и чистоту игры.

Петя прошелъ мимо и вошелъ въ свою комнату, гдѣ спала Леканида и въ наслѣдство ему оставила пустую склянку одеколона, какую-то ленточку и письмо отъ Бекова, очевидно невзначай выпавшее изъ ея сака или изъ-подъ подушки, такъ-какъ Петя нашелъ его около ночного столика.

«Лучше не думать, про себя говорилъ Петя.—Ахъ, лучше не думать! Къ чему? Если я и поѣду въ Петербургъ осенью, то для того только, чтобъ отправиться въ Москву и тамъ готовиться къ экзаменамъ.

Петѣ хотѣлось тотчасъ-же отвѣчать Надѣ. Онъ остановился у своего письменнаго столика, но не притрогивался

ни къ перу, ни къ почтовой бумагѣ, точно невидимый образъ Нади держалъ его за руки...

Въ это время до ушей его долетѣлъ голосъ Орѣшина. Петя очнулся, сѣлъ на подоконникъ и изъ окна высунулъ голову. Онъ понялъ, что Аполлонъ Марковичъ сердится.

— Какое мнѣ дѣло, кричалъ Орѣшинъ,—какое мнѣ дѣло до росписки господина Спичевскаго! Съ чего вы взяли, что я возьму ее вмѣсто денегъ? Пусть онъ съ вами и расплачивается, знать я его не хочу! Негодяй онъ! На наслѣдство разсчитываетъ... Ничего отъ меня онъ не получитъ: съ тѣмъ и пріѣхалъ, чтобъ все продать...

— Ну, какъ будетъ вамъ угодно-съ, ваше превосходительство...

— А на васъ я подамъ жалобу въ судъ, и пусть судъ разсудитъ насъ... Но когда-же это мой племянникъ успѣлъ занять у васъ 500 рублей?

— Еще прошлаго года-съ, въ іюнѣ мѣсяцѣ, заѣзжали ко мнѣ на хуторъ.

— И вы ему дали, высчитавъ проценты, разумѣется?

— Я думалъ-съ, они съ вашего позволенія берутъ у меня, ваше превосходительство.

— Никогда не давалъ я ему этого позволенья, даже не зналъ, гдѣ онъ шлялся въ прошломъ году... Говоритъ, что жилъ у матери въ Бѣлевѣ, сказалъ, что банку варенья привезъ отъ нея, и никакой банки я не видалъ... Онъ вретъ на каждомъ шагу... И вы жалуетесь еще на безденежье, а даете шалопаю пятьсотъ рублей подъ росписку... Что за пустяки!...

— Я думалъ—все равно, ему или вамъ.

— Нѣтъ, это не все равно...

И Аполлонъ Марковичъ сильно раскашлялся.

Толстый арендаторъ за козырекъ приподнялъ свой картузъ, поклонился и не спѣша, съ недовольнымъ лицомъ, отошелъ къ своей телѣжкѣ, гдѣ на облучкѣ сидѣлъ и поджидалъ его парень длинный, какъ жердь, съ длиннымъ лицомъ, бѣлобрысый и тоже въ картузѣ...

Орѣшинъ приложилъ руку ко лбу и проговорилъ себѣ подъ носъ:

— Ничего я тутъ не подѣлаю... ничего... Знаетъ негодяй, что не пойду я тягаться съ нимъ... Дождусь конца аренды и... чортъ его возьми!.. Не уговоритъ онъ меня... не умаслитъ... не свяжусь я съ нимъ... Спаси меня Богъ отъ такихъ людей!.. Петя, ну, что новаго пишутъ изъ Питера?

— Ничего, отвѣчалъ Петя, сидя на подоконникѣ.—Аттестата не высылаютъ безъ довѣренности.

— Очень онъ нуженъ здѣсь, твой аттестатъ! А еще ничего нѣтъ новаго?

— Да вѣдь у васъ газеты...

— Принеси мнѣ ихъ... Странное это дѣло,—чѣмъ лучше погода, тѣмъ я хуже себя чувствую.

Петя принесъ ему газеты. Въ это время по щебню послышался стукъ уѣзжающей телѣги. Петя видѣлъ, какъ арендаторъ выѣхалъ за ворота, повернулъ за плетень и какъ двигалась длинная фигура его возницы, мелькая между ветелъ, посаженныхъ вдоль плетня и уже выше кольевъ распустившихъ свою серебристо-мягкую зелень.

Къ Орѣшину подошелъ старый слуга его Константинычъ.

— Столяръ пришелъ.

— А? столяръ! Зачѣмъ столяръ? Меня, что-ли, чинить?.. Меня, братъ, никакой столяръ не починитъ...

— Приказывали за столяромъ послать.

— Сегодня утромъ просыпаюсь и—точно въ Петербургѣ, на Васильевскомъ,—слышу, мимо оконъ покойника везутъ, «со святыми упокой» поютъ... Продралъ глаза, подошелъ къ окну и... ничего... чудесное утро: солнце свѣтитъ, сороки пляшутъ.

— Обманъ воображенья, проговорилъ Петя.—А вотъ столяръ—это не обманъ воображенья, вы при мнѣ приказывали позвать его.

— Приказывалъ... можетъ быть... Только зачѣмъ-же?

— А ширмы-то забыли?

— А... да, да... ширмы... Пожалуйста, Константинычъ, тѣ ширмы, что я нашелъ въ старой библіотекѣ, поправить, отполировать и обить.

А Петя уже читалъ газеты, и сердце его сжималось... Сербамъ и русскимъ добровольцамъ приходилось плохо: турки одержали побѣду, и дорога къ Бѣлграду уже была открыта имъ. Журналы и газеты, съ самаго выхода Пети изъ гимназіи, стали для него потребностью. Съ жаднымъ нетерпѣніемъ дожидался онъ дня, когда, по обыкновенію, посланный, вмѣстѣ съ письмами, привозилъ ихъ изъ уѣзднаго почтамта. Орѣшинъ читалъ ихъ равнодушно и по большей части не вѣрилъ имъ. Петя многому вѣрилъ, а потому и неравнодушно относился къ нимъ. Журнальный міръ для него былъ terra incognita—міръ, ему еще совершенно невѣдомый. У него-же были всѣ задатки для того, чтобъ съ вѣрой въ правду вступить въ него и послужить ему.

Вечеромъ того-же дня, послѣ чаю, Петя написалъ Надѣ:

«Благодарю васъ, виноватъ, благодарю *тебя*, милая Надя, за хлопоты. Не хлопочи и не безпокойся, мнѣ здѣсь не нужно никакого вида; а если и въ Москвѣ я не остановлюсь, то и въ Москвѣ его не будетъ нужно. Не суди по письмамъ о томъ, что происходитъ въ душѣ моей. Высказываться—это участь людей наивныхъ или нравственно-изнѣженныхъ, или *пьяныхъ* (Петя самъ подчеркнулъ это слово). Дружба хороша, потому что она одна имѣетъ право упрекать и наставлять, словомъ—ворчать сколько ей угодно. Мавра «твоя *соперница*», такъ и поступала, когда жила со мной, и за то я люблю ее. Ты-же ни въ чемъ меня не упрекаешь, ну и Богъ съ тобой! И дай мнѣ Богъ когда-нибудь равнодушно выслушать, что ты въ кого-нибудь влюбилась или вышла замужъ... Ничего, ничего я такъ не желаю, какъ этого равнодушія! Какой я женихъ! Стоитъ-ли взрослой дѣвушкѣ обращать на меня вниманіе! До сихъ поръ я считалъ себя несчастнѣйшимъ въ мірѣ человѣкомъ, но, посреди бѣднаго народа русскаго,—я счастливецъ, я избранный. Читаю, пишу,

ѣмъ, пью, сплю и наслаждаюсь природой. Скажи Ознобину, что Леканида поселилась въ нашемъ уѣздѣ, у стараго помѣщика Аркадьева; онъ-же выписываетъ для нея инструментъ и называетъ ее сиреной... Я сплетничаю, но вѣдь и про меня здѣсь сплетничаютъ. Самъ я слышалъ разсказъ одной старой бабы о мальчуганѣ, который весь почернѣлъ за то, что не умѣючи, не перекрестясь, отнесся къ «залому» и самъ превратился въ чорта, за то, что не повѣрилъ чорту. Я дѣйствительно почернѣлъ отъ загара и боюсь, что кому-нибудь вздумается меня освидѣтельствовать—дѣйствительно ли я съ хвостомъ или безъ хвоста. Опытные люди (а опытныхъ людей здѣсь не мало) совѣтуютъ мнѣ не разговаривать съ мужиками и ни о чемъ ихъ не разспрашивать, иначе того гляди, что прослывешь нигилистомъ и человѣкомъ вреднымъ, и тогда поневолѣ совершишь какое-нибудь путешествіе, для пущаго ознакомленія съ нашимъ необъятнымъ отечествомъ, что̀, конечно, принесетъ не малую дозу пользы, такъ-какъ отрицать этой необъятности не рѣшится никакой, самый изъ самыхъ ярыхъ отрицателей. У насъ то ведро, то дождь. Вотъ и теперь утро было райское, а въ эту минуту съ крыши вода течетъ. Жатва была не изъ удачныхъ. Орѣшинъ говоритъ, что въ концѣ іюля и въ началѣ августа каждый ненастный день приноситъ Россіи милліонные убытки. А какъ сдѣлать такъ, чтобъ не было въ это время года ненастныхъ дней? Но прежде чѣмъ умудряться перемѣнять климатъ, не лучше-ли умудриться приноровить къ нему милліоны человѣческихъ существъ, т. е., и одѣть, и накормить ихъ досыта? Задача трудная. Гордіевъ узелъ, не развязанный мудрецами, а разсѣченный мечемъ Александра Македонскаго, никуда уже не годится, и разрубленная мечемъ дорогая веревка вѣроятно попала въ какую-нибудь мусорную яму, какъ вещь никому не нужная—только Александръ Македонскій и прославился. Я этой славы не хочу, стало-быть, я человѣкъ вполнѣ благонамѣренный, и мои экзаменаторы напрасно хотѣли меня оставить на цѣлый годъ въ 8-мъ классѣ—ради обузданія.

«Бѣдный генералъ Орѣшинъ, у котораго я гощу, полюбилъ меня, какъ родного, и я люблю его, люблю даже бредъ его, такъ-какъ и этимъ бредомъ можно будетъ воспользоваться будущему литератору... Знаю, что Ксенія хороша, какъ ангелъ, и знаю, что она расположена ко мнѣ; но развѣ она пойметъ меня, какъ ты, къ великому моему горю, поняла меня и, къ великому моему благополучію, простила.

«Прощай. Цѣлую твои руки и молю тебя не забывать тебя любящаго Пети Клина. Прощай, прощай!»

ГЛАВА XLIV.

Время шло незамѣтно: улетѣли птицы, березовые листья засверкали желтизной, и покраснѣли широколиственные клены. Мухъ стало меньше, но кусаться стали онѣ больнѣе. Въ комнатѣ, занимаемой Орѣшинымъ, появились и такія черныя, тусклыя мухи, которыя то разсаживались по угламъ и сидѣли неподвижно, то кружились въ воздухѣ, то лѣзли въ глаза или садились на губы. Бѣлыхъ грибовъ и подберезовиковъ стало такъ много, что дѣвки и бабы продавали ихъ за безцѣнокъ, и не только Петя и Саша, но и старикъ Орѣшинъ соблазнялся, когда ихъ подавали за столъ. Но не долго Орѣшинъ наслаждался дарами наступившей осени: онъ вдругъ захирѣлъ и слегъ въ постель. Ноги его похолодѣли, такъ что согрѣть ихъ не было возможности. Онъ поблѣднѣлъ и осунулся. Но разстройство печени или желудка было тому причиной—неизвѣстно, такъ-какъ Орѣшинъ медлилъ и не посылалъ за докторомъ.

Разъ, въ дождливый, поздній вечеръ, около 12-ти часовъ, Петя раздѣлся, чтобъ лечь спать, и потушилъ свѣчу. Испуганныя темнотой мухи зажужжали и, ударяясь въ старые обои старыхъ стѣнъ, постепенно разсаживались и затихали... У Константиныча въ кухнѣ еще свѣтилъ огонекъ и отражался въ лужахъ. Въ кустахъ, гдѣ все лѣто вѣшали бѣлье, сторожъ раза два или три стукнулъ въ доску и затихъ. Собаки перестали лаять.

Вдругъ, кто-то постучался.

— Кто тамъ? спросилъ Петя.

— Вы уже спите? спросила Маша и пріотворила дверь.

Петя увидѣлъ полосу свѣта отъ свѣчи въ сосѣдней комнатѣ.

— Баринъ проситъ, не можете-ли вы къ нему пожаловать.

— Кто? Аполлонъ Марковичъ? Скажите, что сію минуту одѣнусь и приду.

Петя напялилъ на себя пальто, надѣлъ на ноги сырые сапоги и вышелъ. Маша, полусонная, щурясь, передала ему свѣчку и босикомъ ушла въ комнату къ Сашѣ.

Аполлонъ Марковичъ, въ одномъ бѣльѣ, прикрытый байковымъ одѣяломъ, сидѣлъ у себя на постели и машинально мялъ въ обѣихъ рукахъ носовой платокъ. Пальцы его были худы, блѣдны и судорожно двигались. Черные, ввалившіеся глаза горѣли и съ какой-то нетерпѣливой жадностью были устремлены на входящаго Петю, точно онъ, Богъ знаетъ сколько времени, ждалъ его.

— Что съ вами? спросилъ его Петя.

— Очень мнѣ дурно... отозвался больной, уронилъ платокъ, сложилъ пальцы и поглядѣлъ себѣ въ ноги.

— Какъ вамъ угодно, а я завтра поѣду за докторомъ.

— Все равно... Видишь ты эти ширмы?

— Вижу.

— За ними я родился, за ними и умру... Странно это... но... это... это... такъ.

Старикъ замѣтилъ въ эту минуту, что Петя глядитъ на него какъ-бы испуганными глазами, и проговорилъ:

— Не въ эту ночь... не въ эту... Она еще не пришла за мной.

— Кто?

Старикъ не отвѣчалъ—только поглядѣлъ въ темный уголъ комнаты, гдѣ висѣло его полотенце.

— Одни глаза... я видѣлъ... глаза, чистые, свѣтлые, какъ кристаллъ. Они глядѣли на меня... они одни, изъ тем-

ноты, окруженные словно туманомъ... глядѣли... Но это были ея глаза...

«Онъ бредитъ», подумалъ Петя.

— Вы очень страдаете?

— Все тѣло мое... страданіе... Однѣхъ ногъ я не слышу... онѣ уже умерли... Слышишь... завыла собака...

Петѣ дѣйствительно послышалось, что гдѣ-то, что-то завыло; но былъ-ли это вѣтеръ въ трубѣ или собака выла,— нельзя было понять, такъ-какъ это продолжалось одну секунду.

— Ничего я не слышу, проговорилъ Петя, взялъ больного за руку и сѣлъ въ ногахъ его.

Петя смутно понялъ, что въ душѣ этого отживающаго человѣка совершается нѣчто такое, чего ему ни увидать, ни понять нѣтъ ни физической, ни нравственной возможности; что тотъ мистическій или фантастическій міръ, который окружалъ его, есть нѣчто такое личное, такое субъективное, никакому анализу не поддающееся, что было-бы верхомъ невѣжества и дерзости въ эти минуты спорить съ нимъ.

Прошло минутъ пять обоюднаго молчанія. Въ стѣнѣ, какъ маятникъ карманныхъ часовъ, стучалъ невидимый червячекъ, обнаруживая всю глубину той ночной тишины, которая въ эти пять минутъ царствовала въ комнатѣ.

Орѣшинъ былъ погруженъ въ задумчивость и сидѣлъ, свѣсивъ голову... И вдругъ, онъ точно чего-то испугался...

— А я и забылъ было, зачѣмъ я тебя позвалъ...

— Зачѣмъ, Аполлонъ Марковичъ?

У Пети ныло на сердцѣ, при мысли, что будетъ съ Сашей, если этотъ старикъ умретъ не сегодня, такъ завтра.

— Я о Сашѣ хотѣлъ говорить съ тобой, какъ-бы очнувшись заговорилъ больной.—Все серебро моей покойной жены положено на имя ея въ сохранное отдѣленіе банка... квитанція у Аркадьева... Денегъ всего только пять тысячъ, они у того... не помню... въ духовномъ завѣщаніи... въ городѣ, въ письменномъ столѣ, направо... или... Продать

Продать имѣнье... надо-бы... не успѣю... Оно родовое... родовое... Слышишь?

На этотъ разъ Петя явственно услышалъ вой собаки или, лучше сказать, щенка, и подумалъ: «мокнетъ подъ дождемъ и, вѣроятно, просится въ сѣни». Впрочемъ, мысли его были заняты иными, болѣе практическими соображеніями. Онъ чувствовалъ себя какъ-бы повѣреннымъ этого добраго старика и мысленно повторилъ слова его: «серебро, сохранное отдѣленіе банка... пять тысячъ, завѣщаніе... письменный столъ въ городѣ»...

— Когда родится человѣкъ на свѣтъ, помолчавъ, опять заговорилъ Орѣшинъ,—его окружаютъ люди... родные, докторъ, повитуха, прислуга... И чѣмъ богаче новорожденный, тѣмъ больше и людей при его первомъ появленіи на свѣтъ... Когда умираетъ человѣкъ—совершается то же самое: къ нему стекаются духи, ему родные, близкіе, ему нужные, и ждутъ его появленія въ средѣ своей. То, что для насъ покойникъ,—для нихъ новорожденный... Собаки чуютъ ихъ... чутье!..

Все это старикъ проговорилъ хоть и слабымъ голосомъ, но не выпуская словъ и не путаясь; если же онъ путался, говоря о чемъ-нибудь иномъ, то путали его именно эти мысли, которыя стали на первый планъ и всецѣло поглотили и его умъ, и его воображеніе.

Петя просидѣлъ съ нимъ до 3-хъ часовъ ночи, былъ свидѣтелемъ страшнаго безпокойства и удивительнаго покоя или, лучше сказать, апатическаго отношенія ко всему окружающему. Ни ухаживать за нимъ, какъ за больнымъ, ни утѣшать его не было никакой возможности. Петя сидѣлъ у ногъ его, какъ-бы окруженный тою фантастическою атмосферой, которая какъ-бы лучилась вокругъ разлагающагося старика, и молодой человѣкъ самъ такъ былъ настроенъ или наэлектризованъ этой лучистой атмосферой, что готовъ былъ повѣрить всему, о чемъ лепеталъ Аполлонъ Марковичъ: повѣрить и его ожиданіямъ, и его галлюцинаціямъ... Не даромъ черные сонные глаза Пети, широко раскрытые, бродили и останавливались по всѣмъ угламъ тускло освѣщенной комнаты, и

все лицо его было блѣдно и скорбно; онъ какъ-бы думалъ: «и тутъ ничего, и тамъ ничего.., Вотъ онъ видитъ чье-то лицо, а я ничего не вижу... Онъ, очевидно, къ чему-то прислушивается, а я ничего не слышу»...

Въ 3 часа Орѣшинъ забылся. Затѣмъ, очнувшись, махнулъ Петѣ рукой, какъ-бы отпуская его, и опять забылся.

Петя прикрылъ его ноги, поцѣловалъ въ голову и вышелъ. И, ложась спать, съ лихорадкой въ душѣ, подумалъ:

«Господи Боже мой! Посидѣть этакъ двѣ-три ночи—немудрено съума сойти».

ГЛАВА XLV.

Несмотря на безсонную ночь и дурную погоду, Петя, по обыкновенію, проснулся рано, умылся, одѣлся и вышелъ къ чаю... Онъ выучилъ Сашу заваривать чай, и такъ-какъ она уже сидѣла передъ самоваромъ и ждала его, онъ поцѣловалъ ее и прошелъ заглянуть въ комнату старика Орѣшина.

Орѣшинъ былъ не одинъ: тамъ, у самой ширмы, стоялъ Константиныч и о чемъ-то толковалъ съ бариномъ. Баринъ, увидѣвъ Петю, позвалъ его и сказалъ:

— Петя, спроси его, чего онъ отъ меня хочетъ.

— Но прежде всего, какъ вы себя чувствуете?

— Ничего, мнѣ легче... Но чего онъ отъ меня хочетъ?

Константиныч, который такъ испугался было пріѣзда стараго помѣщика, давно уже понялъ, что баринъ все такой же, какъ и былъ, и совершенно успокоился. Только на этотъ разъ лицо его было безпокойно.

— Слухи есть... такіе есть слухи... началъ онъ, потряхивая головой и обратившись къ Петѣ.

— Какіе слухи?

— Что старые барскіе хоромы на сломъ, а ежели на сломъ, то надобно мнѣ это знать, у меня семейство... куда-же теперича вдругъ я дѣнусь?..

— Да кто-же тебѣ это сказалъ? Ужь я говорилъ ему, что

я ломать старые хоромы еще погожу, можетъ быть, самому еще пригодятся...

Петѣ было странно слышать эти рѣчи изъ устъ человѣка, который ночью собирался умирать и говорилъ о духахъ, окружающихъ постель его.

— Конечно, пригодятся, отозвался Константинычъ, однимъ глазомъ поглядывая на барина, другой устремляя на Петю— (онъ былъ косъ)... Конечно, ежели теперь сломать, то все къ чорту пойдетъ! Все... и бревна, и кирпичъ, и камень, и доски, и все пойдетъ къ арендатору на хуторъ... А куда я зимой дѣнусь? Тамъ хоть мало-мальски, какая ни на есть, да печь...

— Вѣдь уже Аполлонъ Марковичъ сказалъ тебѣ, что на сломъ онъ дома этого не продаетъ, чего-же еще тебѣ?

— А слухи такіе, значитъ, что на сломъ...

Въ эту минуту къ крыльцу подкатила тройка съ бубенчиками и на крыльцѣ послышались шаги вылѣзавшаго изъ кибитки пріѣзжаго...

— Никого... никого не принимаю, проговорилъ Орѣшинъ.

Константинычъ суетливо бросился встрѣчать пріѣзжаго.

— Петя, поди, другъ, узнай кто это, напои чаемъ и скажи, что я въ постели...

Орѣшинъ откинулъ на подушки свою голову и, казалось, успокоился. Разговоръ съ Константинычемъ растревожилъ его.

Петя вышелъ и лицомъ къ лицу встрѣтился съ человѣкомъ, хоть и безъ эполетъ, но въ военной формѣ, даже съ шашкой, пристегнутой къ боку.

— Позвольте узнать, спросилъ онъ Петю, вглядываясь въ него своими небольшими, сѣрыми глазками,— здѣсь живетъ одинъ молодой человѣкъ, по имени Петръ, по фамиліи Клинъ?

— Это я, къ вашимъ услугамъ, отвѣчалъ нѣсколько удивленный Петя.—Не угодно-ли чашку чаю?... Холодно...

— Да-съ, нѣсколько свѣжевато... Только, извините меня, молодой человѣкъ,—я за вами...

— За мной?.. Какъ за мной!

— Мнѣ предписано... Я здѣшній становой-съ, такъ мнѣ предписано проводить васъ до станціи желѣзной дороги...

Петя остолбенѣлъ и поблѣднѣлъ, онъ понялъ, что его арестуютъ.

— Вы, можетъ быть, оттого, что я... не получилъ еще своего аттестата...

— Это мнѣ уже извѣстно, что у васъ никакого вида нѣтъ.

А въ это время Саша учила урокъ свой на піанино и слышно было, какъ жалобно звучатъ струны отъ ея прикосновенія къ клавишамъ.

Константинычъ, заложа руку за пазуху, стоялъ въ дверяхъ и, кажется, ничего не понималъ и ждалъ только приказанія: накормить тройку или подогрѣть самоваръ.

Становой вовсе не былъ похожъ на становыхъ стараго времени; онъ былъ мужчина лѣтъ 40, очевидно побывавшій въ свѣтѣ, и по виду смахивалъ на отставного армейскаго офицера. Высоколобый, съ пушистыми длинными усами и баками, съ выбритымъ подбородкомъ и вообще съ суровобродушной физіономіей, не злой и не доброй... Одни глаза его, сѣрые, какъ надломленный свинецъ, и зоркіе, имѣли, какъ-бы это сказать — имѣли какое-то слишкомъ ужь оффиціальное выраженіе. Непреклонность служебнаго долга такъ и выглядывала изъ этихъ зрачковъ съ черными точками и ничего, кромѣ предписаннаго, не выражающихъ. Можетъ быть, и дома, среди семьи за чайнымъ столомъ, при женѣ и дѣтяхъ, у него были точно такіе-же глаза; но тамъ уже знали, что онъ человѣкъ не злой и такъ къ нимъ привыкли, что и не видѣли въ нихъ того, что сразу бросилось въ глаза Петѣ и сильно его озадачило.

Ничего невѣжливаго не сказалъ ему этотъ становой, но его уже коробило такъ, какъ-будто онъ слышитъ, какъ его ругаютъ, и ждетъ, что вотъ-вотъ сейчасъ начнутъ бить его.

— За что-же вы меня хотите взять?

— Не знаю-съ... Велѣно отыскать васъ и немедленно съ жандармомъ препроводить васъ въ С.-Петербургъ.

— Постойте... неужели-же... Я рѣшительно не понимаю, за что... Ни въ чемъ я не виноватъ... Клянусь вамъ!..

— И этого я не знаю-съ, виноваты вы или не виноваты... Мнѣ не слѣдствіе приказано произвести, а просто выслать васъ...

— И это сегодня?

— Да вотъ... становой поглядѣлъ на часы свои, — надо поспѣть къ 4 часамъ на станцію; до станціи 40 верстъ, теперь 10-й часъ, можно немного повременить и вы еще успѣете собраться... Собирайтесь... Гдѣ ваша комната?..

Но Петя, блѣдный, влетѣлъ въ комнату больного старика и остановился—ему вдругъ пришла мысль, что эта новость такъ поразитъ Аполлона Марковича, что онъ опять впадетъ въ галлюцинаціи и опять почувствуетъ себя хуже.

— Кто тамъ? спросилъ старикъ, слегка поднимая голову. Онъ лежалъ за ширмой, при спущенныхъ сторахъ, и тусклая тѣнь лежала на лицѣ его.

— Становой проситъ... Мнѣ, можетъ быть, нужно будетъ... выѣхать... Не знаю, что случилось...

— Что случилось? испуганнымъ голосомъ спросилъ старикъ и еще выше приподнялъ свою голову.

Но Петя не въ силахъ былъ пояснить ему, что случилось, и съ сильно замирающимъ сердцемъ вышелъ изъ комнаты.

Проворно, мимо станового, скользнулъ онъ въ спальную Саши, гдѣ стояло піанино, судорожно, сзади, обнялъ ее, поцѣловалъ и прежде, чѣмъ та успѣла заглянуть въ лицо его, ушелъ собирать свою сумку, и точно во время пожара пихалъ въ нее все, что ни попадалось ему подъ руку. Засунулъ было въ нее и книги, присланныя Аркадьевымъ, но тотчасъ-же ихъ вынулъ... Вошелъ становой, сѣлъ на стулъ, нагнулся, опершись на одно изъ колѣнъ своихъ, и сталъ о чемъ-то думать.

— Генералъ очень боленъ, я ничего не сказалъ ему, по-

жалуйста, утѣшьте его, скажите, что я ни чемъ не виноватъ и что я скоро вернусь къ нему...

— Я не имѣю чести знать его, отозвался становой.

— Все, что я здѣсь дѣлалъ, это готовился иногда къ экзаменамъ...

— И въ народъ не ходили?

— Какъ въ народъ?

— Да такъ... обыкновенно какъ...

— Вы-бы лучше меня обыскали...

— Это зачѣмъ? какъ-бы обидѣлся становой. — Съ какой стати я стану васъ обыскивать! Этого мнѣ не предписано-съ. Мнѣ что велѣно, то я и дѣлаю... Хочу или не хочу — это начальству все равно; ну и мнѣ все равно, потому что—сожалѣй я васъ или не сожалѣй—результатъ одинъ. Сядемъ мы съ вами въ кибитку и поѣдемъ... Что-же тутъ размышлять!.. Я и вамъ размышлять не совѣтую: не виноваты вы—выпустятъ, виноваты—засадятъ, судить будутъ... Вотъ и все...

— Пусть прежде судятъ, потомъ и засаживаютъ, со злобой произнесъ Петя.

Но Петя торопился. . онъ боялся, что если узнаютъ и начнутъ провожать его, онъ, чего добраго, заплачетъ. Не хотѣлось ему, чтобъ кто-нибудь видѣлъ его въ слезахъ. Онъ слышалъ, что Саша опять принялась играть, и это его мучило.

Одинъ Константинычъ стоялъ на сыромъ крыльцѣ и какъ будто что-то соображалъ:—то глазѣлъ на ямщика съ мѣдною бляхой на шляпѣ, осматривающаго колеса, то на лошадей, тоже съ бляхами на ребрахъ и съ подвязанными мѣшками на мордахъ: онѣ жевали овесъ — овесъ, къ удивленію Константиныча, не барскій, а свой собственный, высыпанный ямщикомъ изъ мѣшка, вынутаго изъ-подъ козелъ.

«Это, вѣрно, насчетъ чего-нибудь этого, какъ бишь?.. Недоимку собирать... Али насчетъ того, что баринъ хины давалъ мужикамъ, такъ я говорилъ:—не давайте».

— Эй ты, любезный!

И Константинычъ вздрогнулъ: его кто-то ударилъ по плечу.

— Помоги барину пальто надѣть; да нѣтъ-ли водочки на дорогу выпить?

— Есть водка.

— А! Ну такъ попотчуй, братецъ.

Петя, въ пальто и шапкѣ, безсмысленно разглядывалъ бричку, ямщика и тройку. Его била лихорадка и ему думалось, что онъ бредитъ, что невозможно, никоимъ образомъ невозможно ему уѣхать отъ больного стараго человѣка и покинуть Сашу, его ученицу... тогда какъ Орѣшинъ за каждый мѣсяцъ по 15 руб. платилъ ему.

— Господинъ Клинъ! Вы пьете? Выпейте-ка и вы на дорогу.

И становой, въ сѣрой шинели на распашку и въ фуражкѣ съ кокардой на околышѣ, самъ поднесъ ему налитую рюмочку.

Петя машинально взялъ рюмку и машинально выпилъ.

— Скажи, Константинычъ, барину, что меня куда-то увезли и что я буду писать къ нему.

Константинычъ, съ подносомъ въ рукахъ, глядѣлъ на него безсмысленно. Сѣрое лицо его, при сѣрыхъ облакахъ, казалось какимъ-то землистымъ; и глаза его косили больше обыкновеннаго.

— Ну, теперь поѣдемте.

Петя первымъ взлѣзъ на сѣно, покрытое старымъ лохматымъ коврикомъ. Ямщикъ тронулъ возжи, звякнули бубенчики, и кибитка тронулась.

Выбѣжавшая на крыльцо Саша равнодушно спросила стараго лакея:

— Куда они поѣхали—за докторомъ?

— Не знаю, куда, махнувъ рукой и мотнувъ головой, отвѣчалъ старый камердинеръ стараго барина.

ГЛАВА XLVI.

До самаго поворота, т. е., до того самаго проселка, который велъ къ усадьбѣ Аркадьева, Петя былъ точно въ туманѣ. Мысли его вертѣлись, какъ-бы въ колесѣ, вокругъ одного и того-же стержня. «Это быть не можетъ,—это недоразумѣніе. Я взятъ по ошибкѣ... Это быть не можетъ... Это непостижимо... только по ошибкѣ и могли взять меня». Дальше не шла его мысль. Очень можетъ быть, что и одной забористой рюмки водки, безъ навыка къ спирту, было достаточно, чтобъ голова его была какъ-бы въ чаду. Казалось, сидя въ чужой бричкѣ, съ незнакомымъ ему человѣкомъ, онъ совершенно апатически относился къ своему положенію, и какъ доѣхалъ онъ до этого поворота, онъ и самъ не зналъ, такъ-какъ не зналъ, сколько времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ они выѣхали.

Но когда увидѣлъ онъ знакомыя ему окрестности, верхушки холма, оттѣненнаго рѣденькимъ, дубовымъ лѣскомъ, бѣлую, какъ-бы стальную полосу рѣчки, кой-гдѣ заросшей лозникомъ и камышами, вѣтряную мельницу съ ветлой по сосѣдству, которая издали, точно сгорбленная нищая, стояла и низко на вѣтру ей кланялась, словомъ, когда увидалъ онъ окрестности той самой усадьбы, гдѣ такъ мирно и безмятежно провелъ онъ часть своего лѣта, бесѣдуя съ зажиточнымъ помѣщикомъ сороковыхъ годовъ, какъ-бы съ своимъ старымъ пріятелемъ, сердце его дрогнуло, въ головѣ прояснѣло, онъ понялъ, что это плохая шутка... и сталъ всматриваться въ того, кто везетъ его, кто своимъ колѣномъ трется около его колѣна, сидитъ, посматривая впередъ изъ-подъ козырька и покуриваетъ сигарку (конечно, далеко не гаванскаго достоинства).

Живя въ Питерѣ, Петя о становыхъ не имѣлъ никакого понятія, слышалъ только, что эти люди вѣчно на посылкахъ и выбираются или изъ отставныхъ полицейскихъ, или мел-

кихъ, отпѣтыхъ чиновниковъ, прокутившихъ все, кромѣ смиренія и задора. Но Петѣ почему-то показалось, что становой этотъ не изъ таковскихъ, что нѣтъ въ немъ ни смиренія, ни задора, а есть нѣчто машинное, привыкшее не разсуждать, а только дѣйствовать по предписанію за такимъ-то №.

— Заѣдемте къ Аркадьеву, проговорилъ Петя... онъ меня знаетъ... и можетъ васъ удостовѣрить, что я не радикалъ и не ерундистъ. Знакомы вы съ Матвѣемъ Ѳедоровичемъ Аркадьевымъ?

— Разъ былъ по дѣлу... Только зачѣмъ-же это намъ заѣзжать къ нему?

— Да, можетъ-быть, вы взяли меня по ошибкѣ... онъ и разъяснилъ бы вамъ.

— Какъ по ошибкѣ? шевеля морщинками около глазъ, отозвался становой.

— Да такъ...

— Да вѣдь вы Петръ Клинъ?

— Я...

— Ну такъ какая-же тутъ можетъ быть ошибка? бросая окурокъ и плюнувъ вслѣдъ за нимъ на дорогу, спокойно проговорилъ становой.

— Заѣдемте.

— Нельзя,—на машину не поспѣемъ.

— Ну, на другой поѣдемъ, если это все равно.

«Не дѣло ты говоришь, любезный!» выразили своимъ взглядомъ на Петю оффиціальные глаза его спутника.

— Трогай, трогай! не горячась прикрикнулъ онъ на ямщика.

Петя переложилъ свою сумку и, какъ-бы собираясь спать, свернулся на сторону и закрылъ глаза.

«Что будетъ, Боже мой, если я вдругъ въ каменный мѣшокъ — въ тюрьму, въ одиночное заключеніе? Развѣ это не бываетъ:—повезутъ допрашивать и засадятъ».

И Петя опять вскочилъ, опять выпрямился и сталъ, блѣдный, озираться по сторонамъ. Поглядѣлъ на сѣрое небо и

затѣмъ опять на коричневое, воинственное лицо станового, на его здоровый носъ, усы и круглый, слегка раздвоенный, аристократическій подбородокъ.

— Знаете что?

— Что такое?

— Вѣдь я съума сойду, если меня посадятъ.

— А что вы такое сдѣлали, чтобъ васъ сажать? Можетъ-быть и засадятъ, не знаю.

— Вамъ все равно.

— Еще-бы! развѣ я отвѣчаю за другихъ? А впрочемъ, страшенъ громъ, да милостивъ Богъ. Бываетъ, что и конокрадъ, и казнокрадъ находятъ за себя заступниковъ, и тѣхъ выпускаютъ, яко-бы на поруки.

— Не смѣйте меня приравнивать ни къ конокрадамъ, ни къ казнокрадамъ.

— Не приравниваю, сухо и какъ-бы съ досадой отозвался становой.—Васъ, вѣроятно, везутъ по какому-нибудь дѣлу, которое вы можете разъяснить, какъ свидѣтель, если и не были сами участникомъ...

— Ужь не отецъ-ли жаловался! подумалъ Петя.

— Вы понимаете мое положеніе? промолчавъ съ четверть часа, сдержанно воскликнулъ Петя.

— Я не деревяшка, чтобъ не понимать. Но будь вы на моемъ мѣстѣ, и вы-бы взяли меня, если-бы начальство приказало меня разыскать и препроводить на мѣстожительство. Ужь не думаете-ли вы, что мнѣ весело слоняться день и ночь по всему уѣзду?.. Еще хорошо лѣтомъ, а зимой, не угодно-ли въ морозы, въ мятель, по сугробамъ... Мѣсто не завидное.

— Зачѣмъ-же вы его взяли?...

— Взялъ, потому-что два года его добивался. Надо-же хлѣбъ ѣсть... Надо-же кому-нибудь и въ становыхъ служить... У меня-же семья на рукахъ.

И большіе, нѣсколько выпуклые глаза его сдѣлались щелками, и хотя сквозь эти щелки глядѣли все тѣ-же холодные,

оффиціальные глаза,—несомнѣнно, что онъ съузилъ ихъ подъ наплывомъ какой-то горькой и тяжелой думы.

«Можетъ-быть, онъ и добрый человѣкъ», подумалъ Петя.

— Вотъ вы меня взяли, а тамъ старикъ генералъ Орѣшинъ лежитъ больной, безъ ногъ и почти-что безъ прислуги, дѣвочка остается безъ уроковъ и безъ надзора. И еще Богъ знаетъ, какъ это на нихъ отзовется! Мнѣ-же нуженъ былъ досугъ и покой, чтобы готовиться къ экзаменамъ.

Голосъ Пети дрожалъ, но грустные глаза его были сухи.

— А что я сдѣлалъ дурного? Ничего не сдѣлалъ, но, можетъ быть, доносъ... Почему-бы вамъ и не сказать мнѣ, если вы добрый человѣкъ?

— Былъ и доносъ... такъ я слышалъ, но на поповскій доносъ не обратили вниманія...

«Ба!» подумалъ Петя.

— Но пришла бумага изъ Петербурга къ губернатору, и съ тѣхъ поръ стали васъ разыскивать... ну и догадались, что это тотъ самый гимназистъ, который поселился въ семьѣ Орѣшина... Вотъ и все-съ... Больше я ничего не знаю.

Къ тремъ часамъ небо прояснилось, облака расползлись и показалось солнце. Разомъ все измѣнилось, повѣяло тепломъ, и по сжатымъ полямъ легли золотыя полосы.

Петя живо вообразилъ себѣ, какъ-бы въ эти минуты выбѣжалъ онъ въ садъ, и Саша, и зелень, и просыхающая скамья, и все свободное, привольное въ такомъ заманчивомъ блескѣ предстало умственнымъ очамъ его, что сердце сжалось... Петя молчалъ... да и что-бы онъ сталъ говорить!

Но вотъ изъ-за широкаго бугра показались зеленая кровля и бѣлыя трубы полустанціи на желѣзной дорогѣ.

Бричка, стукнувъ своими колесами, переѣхала рельсы, завернула направо и, мимо щегольского маленькаго садика, съ бесѣдкой, по скрипучему, новому щебню, подкатила къ ступенькамъ станціоннаго домика.

Петя вышелъ. Онъ узналъ и эту станцію, и этотъ садикъ. Здѣсь они вышли (онъ, Орѣшинъ и Саша), когда ѣхали въ

Тальники, здѣсь дожидалась ихъ тройка, запряженная въ тарантасъ и отвезшая ихъ къ Аркадьеву.

Становой отдалъ какое-то приказаніе ямщику. Затѣмъ Петя очутился въ комнатѣ смотрителя рядомъ съ телеграфной; затѣмъ появился какой-то солдатъ въ кепи... должно-быть, жандармъ. Петя видѣлъ, какъ становой передалъ ему какую-то бумагу... что-то записалъ въ книгу и далъ ему росписаться. Солдатъ ушелъ. Петю пригласили сѣсть на лавочку. Становой закурилъ сигару. Смотритель искоса поглядѣлъ на Петю и сталъ разсказывать о какомъ-то ревизорѣ, котораго ждали, ждали, да такъ и не дождались. Спросили Петю, не хочетъ-ли онъ закусить и выпить. Петя отказался. Никакой кусокъ не пошелъ-бы ему въ горло.

Наконецъ, вдали послышался свистъ локомотива, и второй звонокъ рѣзко прозвучалъ на всю станцію. Становой потрепалъ Петю по плечу и сказалъ ему:

— Если вы, г. Клинъ, вздумаете бѣжать, навлечете на себя пущее подозрѣніе, и тогда никакія оправданія не помогутъ вамъ.

Петя промолчалъ. Послышался стукъ чугунныхъ колесъ, гулъ вылетающаго пара, шаги кондукторовъ, скрипъ водокачальни, дамскій голосъ, мужской разговоръ, мелькнули незнакомыя лица... и не прошло двухъ минутъ, какъ уже Петя сидѣлъ тоже въ какомъ-то вагонѣ, и какъ-разъ противъ того самаго солдата, или жандармскаго унтеръ-офицера, которому была вручена бумага. Петя понялъ, что онъ ему предоставленъ... и что это... его несомнѣнный аргусъ. Петя чувствовалъ, что въ груди его спиралось что-то похожее на сдерживаемый вопль. Ему хотѣлось кричать; но онъ сидѣлъ какъ убитый, въ пальто, въ фуражкѣ, съ сумкой на колѣняхъ, и исподлобья поглядывалъ на своего спутника.

— Тутъ просторно, можно будетъ и выспаться, сказалъ унтеръ, осмотрѣлся, свернулъ солдатскую шинель и уложилъ ее.—Тепло! Надоѣли ужь дождики-то...

— Вы куда ѣдете? спросилъ Петя.

— А я до Серпухова провожаю васъ... отвѣчалъ онъ весело...

— А потомъ...

— А потомъ я не знаю.

Вагоны тронулись, столбики и стѣны станціи поплыли назадъ... Петя выглянулъ въ раскрытое окно и оцѣпенѣлъ... на самомъ краю деревянныхъ подмостковъ, подбоченившись стоялъ Спичевскій—въ клѣтчатомъ лѣтнемъ бѣльѣ, въ разстегнутомъ жилетѣ и въ сюртукѣ, приложа ко рту набалдашникъ тросточки и выпятивъ верхнюю губу, точно посвистывалъ. Румяное, сытое лицо его лоснилось...

ГЛАВА XLVII.

Солнце только-что закатилось; земля темна до самаго горизонта, но еще сохраняетъ лиловые отливы. Небо отъ розовыхъ тоновъ постепенно переходитъ въ темно-синюю глубину, въ которой загораются и шевелятся звѣздочки. Вечеръ тихій и свѣжій.

Неподвижными силуэтами стоятъ въ воздухѣ подсолнечники и торчатъ высокіе прутья, опутанные горохомъ; головы и головки растеній нагнулись и какъ-бы прислушиваются къ разговору двухъ человѣкъ, которые вышли изъ хутора и въ огородѣ сѣли на скамеечку.

Хуторъ этотъ занимаетъ арендаторъ Орѣшина Тихонинъ, который, какъ мы знаемъ, предлагалъ его превосходительству, въ счетъ своей прошлогодней недоимки, пятисотенную росписку господина Спичевскаго. Хуторъ этотъ находится въ 4-хъ верстахъ отъ усадьбы, въ ложбинѣ—между вспаханныхъ полей. При хуторѣ гумно, огородъ и колодецъ.

Каждый годъ, лѣтомъ, пріѣзжаетъ сюда самъ торговецъ Тихонинъ и поселяется въ двухъ горницахъ, вмѣстѣ съ своимъ приказчикомъ. Въ одной горницѣ образа, кровать, широкія лавки и столъ; рядомъ съ образами литографированный портретъ Государя; на другихъ столикахъ—счеты.

сушеные грибы, вѣники и проч. Въ другой горницѣ—русская печь, старый ткацкій станокъ, ящикъ съ гвоздями, мѣдный тазъ и умывальный кувшинъ, бѣлый съ синими разводами.

Тихонинъ и гость его только-что напились чаю. При свѣтѣ лампадки, стряпуха, въ красномъ платкѣ на головѣ и съ бронзовыми въ ушахъ серьгами, убираетъ самоваръ... Чей-то дорожный сакъ-вояжъ лежитъ на скамьѣ, прижавшись къ стѣнкѣ... На окнахъ бутылки... Мухъ, само собой разумѣется, видимо не видимо...

Но перейдемъ въ огородъ и сами послушаемъ, о чемъ бесѣдуютъ Тихонинъ и гость его Спичевскій.

Итакъ, Петя не ошибся—Спичевскаго онъ могъ видѣть на станціи въ день своего ареста. Въ этотъ день племянникъ Орѣшина только-что пріѣхалъ и дожидался подводы, чтобъ подъ вечеръ отправиться на хуторъ къ своему знакомцу Тихонину.

Съ тѣхъ поръ прошло уже около недѣли.

Спичевскій въ это лѣто уже не въ первый разъ пріѣзжаетъ въ эту сторону, тайкомъ слѣдить за поведеніемъ своего дядюшки, который не только не пригласилъ его,—запретилъ являться на глаза къ себѣ... Онъ сильно побаивался, что дядюшка его продастъ свое родовое имѣніе и денежки передастъ Петрушкѣ Клину или дѣвочкѣ Сашкѣ—своей любимицѣ. Сильно побаивался, что Тихонинъ купитъ землю раньше, чѣмъ онъ ее унаслѣдуетъ...

Обо всемъ, что можетъ случиться, было уже имъ переговорено и на сотни ладовъ обсужено, вмѣстѣ съ бывшей экономкой — Авдотьей Петровной — въ петербургской квартирѣ его дядюшки.

Тихонинъ былъ не глупъ и, такъ-какъ Спичевскій отличался легкомысленной болтливостью,—проникъ въ его опасенія, понялъ цѣль его пріѣзда и самъ готовился рано или поздно его облапошить.

— Захочу... все скуплю, говоритъ онъ Спичевскому.

— Если хочешь все купить за полцѣны, подожди, когда

я вступлю въ права свои... Аль не слыхалъ... еле дышитъ— собирается умирать...

— Да еще подожди радоваться-то. Еще, пожалуй, и другіе наслѣдники выищутся.

— Никакихъ нѣтъ другихъ наслѣдниковъ, — я единственный.

Тихонинъ сидѣлъ, нагнувшись и спрятавъ между колѣнъ сложенныя короткопалыя кисти рукъ своихъ, и искоса свиными глазками поглядывалъ на молодого человѣка, который курилъ папироску и мечталъ.

— А какой мнѣ прокъ, что ты единственный?.. Ту же аренду заставишь платить... Чортъ меня дернулъ... только себѣ въ убытокъ... Вотъ и хлѣбъ въ скирдахъ стоитъ, а попробуй-ка ты обмолотить, да хоть до базара на возы поднять его, да перевезти... Капиталы тутъ надобны... а гдѣ деньги? Что проку, что урожай?—Никакого въ этомъ для нашего брата проку нѣтъ! Хлѣбъ подешевѣетъ, а за работу плати столько-же, сколько и въ голодный годъ платилъ... Вотъ что я тебѣ доложу... Выгоднѣе кабакъ открыть...

— Не стану я ни тебѣ на аренду землю сдавать, ни другимъ...

Тихонинъ приподнялъ красный бугристый носъ свой и навострилъ уши.

— Что-жь, ты самъ, што-ли, станешь ее обработывать?..

— Ну да, или самъ, или продамъ...

— Да кто-жь ее у тебя купитъ-то? У здѣшнихъ помѣщиковъ земли вдоволь, а у крестьянъ—гдѣ деньги?

— Ну, ты купишь.

— Ну, это еще бабушка на двое говоритъ... между колѣнъ потирая рука объ руку, возразилъ Тихонинъ.

Онъ уже давно смекалъ, что облапошить Спичевскаго ему будетъ не трудно, если, дѣйствительно, онъ единственный.

А краски неба уже потухли и заснули подсолнечники. Съ поля слышалось однообразное кряхтенье корестеля. Поднимался мѣсяцъ.

— Пора спать, сказалъ Тихонинъ, зѣвнулъ и грузно поднялся съ лавки.

— Дай, братъ, лошадку осѣдлать,—а?

— Ну вотъ еще — далеко-ли тутъ? И пѣшкуромъ дойдешь...

— Кой чортъ... пѣшкуромъ!.. Нельзя-же мнѣ... такъ поздно... Всѣ будутъ спать, все будетъ заперто, чего я буду тамъ блуждать... Еще собаки набросятся... Дай лошадку... Черезъ часъ вернусь... Надо... право-же надо...

«Что мнѣ его баловать, подумалъ про себя Тихонинъ.— Не обидится, коли и не дамъ. Али дать?.. Почемъ знать, можетъ-быть и померъ... старикъ-то».

— А Матрешка будетъ ждать тебя?

— Будетъ, обѣщалась у плотины за садомъ ждать.

— Ты смотри—достанется ей отъ Константиныча.

— Вотъ выдумалъ, достанется!.. Подарю ему три десятины земли—такъ и жену свою отдастъ.

— Да жену-то онъ тебѣ и безъ трехъ десятинъ отдастъ... Эхъ-ма, погляжу я на тебя—три десятины! А много у тебя десятинъ-то эвтихъ?

Спичевскій не отвѣчалъ. Онъ тоже поднялся и пошелъ мимо грядъ за Тихонинымъ.

— Такъ дашь лошаденку?

— Вели сѣдлать—что съ тобой подѣлаешь!.. Уморишь лошадь, я съ тебя и трехъ десятинъ не возьму... Донская лошаденка-то, не здѣшняя... Безъ потника не ѣзди: спину натрешь,—уже вслѣдъ за Спичевскимъ проговорилъ Тихонинъ и затѣмъ тихо отправился въ избу—закусить, выпить стакана два холоднаго квасу, помолиться и спать лечь...

ГЛАВА XLVIII.

Петербургъ уже по горло зарывался въ осеннія заботы и хлопоты... Возы то и дѣло загораживали улицы. По каналамъ тянулись барки съ дровами. Наскоро достраивались

новые дома. Въ квартирахъ развѣшивали драпри и вставляли зимнія рамы. Пароходики еще двигались по Невѣ и дымились. Остатки листвы еще трепетали въ Лѣтнемъ саду на деревьяхъ... Но это уже не было лѣто, даже и не пахло имъ.

Само собою разумѣется, что знакомцы наши давно уже были въ городѣ и заботились о приведеніи въ порядокъ квартиръ своихъ.

Чѣмъ-же, однако, были ознаменованы послѣдніе дни ихъ дачнаго житья-бытья?

Мина Михайловна все больше и больше въ глубинѣ души своей ненавидѣла Егора Антоновича, особенно съ тѣхъ поръ, какъ супругъ наотрѣзъ сказалъ ей, что не пуститъ на балъ, который, на прощанье съ Павловскомъ, давался дамами какого-то благотворительнаго общества, и была лотерея-томбола въ пользу бѣдныхъ... Балъ, на которомъ молоденькія, красивыя дамочки, въ самыхъ модныхъ бальныхъ платьяхъ, на эстрадахъ продавали билеты и удивительно какъ мило протягивали руки и улыбались, и даже кокетничали съ каждымъ, кто подавалъ имъ сторублевую денозитку, въ надеждѣ получить сдачу и вмѣсто сдачи—получалъ билеты, улыбки и затѣмъ самое искреннее поздравленье, если за сто рублей выигрывалась серебряная зубочистка, спичечница или бронзовый башмачекъ съ наперсткомъ, пожертвованный съ этажерки княгинею Верхоглядовой.

На этомъ балѣ былъ Зуевъ, но не танцовалъ, а игралъ въ карты, и даже, выигравъ около 200 рублей, сказалъ на другой день Минѣ Михайловнѣ, что игралъ на ея счастье. А Мина Михайловна была въ этотъ вечеръ несчастнѣйшая изъ несчастнѣйшихъ: несмотря на холодную ночь, она, вмѣстѣ съ Ксеніей, была у самаго вокзала и, сквозь озаренныя окна, смотрѣла на танцующихъ и на туалеты ихъ.

Къ счастію, она умѣла таить свои душевныя бури, и Егоръ Антоновичъ даже и не подозрѣвалъ, какая масса ненависти въ послѣднее время скопилась въ добромъ сердцѣ его супруги. Некогда ему было заниматься такими пустыми вопросами. Онъ получилъ новое назначенье по интендантской

части и уѣзжалъ не то въ Одессу, не то въ Кишиневъ, не то въ Николаевъ. Куда онъ ѣдетъ и зачѣмъ,—это знали только онъ да его начальство.

Въ концѣ этого года всю политику можно было опредѣлить одною фразой, а именно: Европа науськиваетъ Турцію на Россію, а Россію на Турцію. Война была не за горами... Но, въ ожиданіи событій, никакая усиленная дѣятельность не можетъ быть безъ дѣятелей... и однимъ изъ таковыхъ явился нашъ почтеннѣйшій Егоръ Антоновичъ Клинъ, къ немалому удивленію тѣхъ, кто близко зналъ его. Но Егоръ Антоновичъ нисколько не былъ удивленъ своимъ новымъ назначеньемъ: онъ чувствовалъ себя вполнѣ достойнымъ.

Готовясь къ отъѣзду, онъ сталъ не только гордъ и молчаливъ, но и таинственененъ. И Мина Михайловна была очень довольна, что мужъ ея меньше ворчитъ и нисколько не озабоченъ тѣми чувствами, которыя волнуютъ вѣчно молодую грудь ея. Но чѣмъ меньше былъ озабоченъ мужъ, тѣмъ больше была озабочена жена вопросомъ: оставитъ ли онъ ей на прожитіе хоть половину своего оклада или не оставитъ, и чѣмъ она будетъ жить? (Собственные капиталы ея какъ-то удивительно скоро таяли). Въ случаѣ-же скряжничества супруга, всѣ надежды ея покоились на покровительствѣ генерала Тютина, который, прилетѣвши въ Питеръ и остановившись въ Европейской гостинницѣ, не только расцѣловалъ ее, когда она пришла къ нему, но и былъ въ восторгѣ, что, несмотря на супружество, она была все такъ-же хороша и свѣжа, какъ будто никогда и не переставала быть его любовницей.

Николай Николаевичъ Ерошинъ только разъ одинъ и видѣлся съ Надей Басковой, а именно за день до своего переѣзда въ городъ, и почему-то не счелъ за нужное скрыть отъ жены своей, что Надя въ Павловскѣ, и затѣмъ, въ тотъ же день, несмотря на дурную погоду, вечеромъ отправился куда-то гулять.

Александра Александровна, конечно, не сказала ни слова, но въ 9 часовъ вечера, уложивши дѣтей спать, накинула себѣ на голову платокъ и одна отправилась блуждать по

парку, въ надеждѣ встрѣтить мужа съ Надей и собственными глазами убѣдиться въ его измѣнѣ.

Былъ туманъ, и было такъ темно, и паркъ былъ такъ безлюденъ и мраченъ, что бѣдная Александра Александровна вернулась домой сырая, напуганная, блѣдная и въ подмоченныхъ ботинкахъ.

Въ паркѣ она встрѣтила какую-то тѣнь и никакъ не могла разглядѣть, были-ли это ея мужъ, или солдатъ, или мазурикъ, и былъ-ли онъ одинъ или рядомъ съ нимъ была другая тѣнь... Она слышала только шаги, воркотню и какой-то шелестъ...

Вернувшись домой, она застала мужа, преспокойно бесѣдующаго съ Ознобинымъ и передъ лампой допивающаго стаканъ своего чая. Когда-же Николай Николаевичъ, не безъ удивленія, спросилъ ее, гдѣ она была, она, задыхаясь, отвѣчала: «ходила гулять», и прошла въ свою комнату. Николай Николаевичъ пожалъ плечами и, погладивъ свою бороду, сказалъ Ознобину:

— Эта женщина намѣрена меня преслѣдовать. Посовѣтуйте ей, какъ другъ, быть умнѣе и хладнокровнѣе.

Ознобинъ, который никакой драмы не подозрѣвалъ въ примѣрномъ семейномъ быту Александры Александровны, съ удивленіемъ поглядѣлъ на своего собесѣдника и, осклабясь, воскликнулъ:

— Какъ это такъ: преслѣдовать? По какому случаю?

— А по тому случаю, что она меня ревнуетъ.

— А это по какому случаю?

— А потому что я... влюбленъ...

— Вы?

— Не вѣрите?

— Не вѣрю.

— Ну, и не вѣрьте, и хорошо дѣлаете, что не вѣрите.

Съ тѣхъ поръ прошло не мало дней; всѣ павловскія треволненія были забыты, но слѣды ихъ остались. Мина Михайловна стала неосторожнѣе въ своихъ сношеніяхъ съ Зуевымъ. Ознобинъ мрачнѣе и молчаливѣе. Александра Але-

ксандровна схватила ревматическую лихорадку и лежала въ постели. Ерошинъ работалъ съ утра до поздней ночи. Надя стала посѣщать лекціи въ женскомъ отдѣленіи медико-хирургической академіи. Никто не зналъ и не слыхалъ, какъ она выдержала экзамены, но если она была принята, значитъ, отвѣты ея были удовлетворительны. Она тоже занималась съ утра до ночи.

Но займемся Надей и, такъ-сказать, постараемся проникнуть въ глубину души ея... Чуть-чуть было не сказали мы—дѣвственной души; но бѣдная Надя такъ много видѣла дурного, начиная съ сестры своей, и такъ много слыхала, что душѣ ея, въ области ея фантазій и помысловъ, трудно было оставаться, въ полномъ смыслѣ слова, дѣвственной.

Къ чести ея, раннее знаніе жизни, начавшееся съ поиска идеаловъ, не во вредъ послужило ей: она сдѣлалась осторожнѣе, знала, что на краю бездны у людей голова кружится, и всѣми силами своей воли старалась быть какъ можно далѣе отъ этой бездны.

Получивъ однажды по городской почтѣ записку отъ Ерошина, въ которой коротко и просто онъ объявлялъ ей, что чувствуетъ къ ней непреоборимое влеченье и что если она знаетъ какое-либо средство исцѣлить его, то пусть она предпишетъ ему это средство,—Надя вспыхнула, разсердилась, цѣлый часъ, изъ угла въ уголъ, ходила по комнатѣ, хватала себя за голову и отвѣчала (по адресу въ ту контору, гдѣ занимался Ерошинъ): «Лучшее средство—это намъ никогда не видаться и даже стараться не встрѣчаться на улицѣ.—Прощайте».—Затѣмъ буква Н. И маленькій конвертикъ съ 5 коп. маркой, ею самою опущенный въ почтовый ящикъ, пошелъ по адресу.

Отвѣтъ жесткій, но многозначительный. Ерошинъ понялъ, что это средство будетъ спасительно не только для него, но и для самой Нади.

«Слѣдовательно, подумалъ Ерошинъ,—и она больна тѣмъ же душевнымъ недугомъ, иначе-бы не трусила».

И едва-ли Ерошинъ ошибался. Не даромъ Надя похудѣла,

стала нервна, безпокойна и, съ утра до ночи, то переписывала, то долбила выслушанныя ею лекціи, способныя отрезвить всякое воспаленное воображеніе. Ей хотѣлось забыться, ей не хотѣлось думать ни о любви, ни о Ерошинѣ — объ этомъ женатомъ человѣкѣ, который вообразилъ себѣ, что она такъ глупа, что не понимаетъ, не въ силахъ понять, ни ея, ни его собственнаго положенія.

Въ глубинѣ-же души своей, когда сознаніе озаряло ей часть этой глубины, Надя не могла не сознавать, что этотъ Ерошинъ единственный человѣкъ, къ которому она сама чувствуетъ точно такое-же инстинктивное, ничѣмъ не объяснимое влеченіе.

Образъ его, въ минуты досуга, безпрестанно рисовался ея воображенію, и трудно объяснить, почему именно такъ привлекалъ ее человѣкъ лѣтъ подъ 40, который былъ женатъ и далеко не красавецъ. Но мужественныя, крупныя черты лица его были не совсѣмъ обыкновенны,—необыкновенны въ томъ смыслѣ слова, что въ нихъ было что-то и очень грубое, и очень доброе, — это во-первыхъ. Во вторыхъ, Ерошинъ умѣлъ заинтересовывать собой и подъ маской простодушія скрывать свои намѣренія,—это во-вторыхъ. А въ третьихъ, онъ не казался вѣтреникомъ: каждая страсть его обѣщала что-то такое необыкновенно прочное и постоянное, словомъ сказать, подкупала сердца не какихъ-нибудь пустыхъ и вѣтреныхъ женщинъ или дѣвочекъ, а именно женщинъ во всѣхъ отношеніяхъ порядочныхъ. Въ четвертыхъ, наконецъ, Ерошинъ былъ настойчивъ и никогда ни передъ чѣмъ не останавливался. Словомъ, влюбленный Петя не могъ съ нимъ соперничать уже и потому, что ему было всего только 18 лѣтъ, и для 18-ти-лѣтней дѣвушки онъ казался не мужемъ, а только мальчикомъ или юношей.

Надя-же была именно въ томъ возрастѣ, когда потребность любви начинаетъ предъявлять права свои.

ГЛАВА XLIX.

Надя думала въ перепискѣ съ Петей найти для себя новый источникъ невиннаго развлеченія; но Петя вдругъ пересталъ отвѣчать ей,—о немъ не было ни слуху, ни духу.

Однажды, въ воскресный день, рѣшилась она пожертвовать рублемъ и потерять два или три часа дорогого времени, чтобъ съѣздить къ Маврѣ, къ Смоленскому кладбищу, и узнать о Петѣ хоть что-нибудь...

Но когда она позвонила,—пріотворилась дверь, и затѣмъ вышла въ сѣни какая-то полная, круглолицая женщина и спросила ее, кого ей нужно.

— Здѣсь квартируетъ генералъ Орѣшинъ?

— Генералъ померъ... и никакого здѣсь Орѣшина нѣтъ... А вы отъ кого?

— Я сама отъ себя... проговорила озадаченная Надя.— А Мавра—старушка, гдѣ мнѣ найти ее?

— А не знаю я, гдѣ вамъ найти ее. Она давно уже убралась по добру по здорову... чай, милостыньку собираетъ... нищенствуетъ...

— А давно-ли померъ генералъ?

— Да такъ... около 2-го или 3-го сентября... А вамъ зачѣмъ его?

Надѣ показалось, что эта круглолицая, съ массивными грудями, женщина говоритъ съ ней неохотно, и даже смотритъ на нее подозрительно...

— Кто-же здѣсь живетъ теперь?

— Кто? Я живу... Молодой баринъ пріѣзжалъ на три дня... и опять въ деревню отправился.

— Какъ его фамилія, этого молодого барина?

— Спичевскій его фамилія, нараспѣвъ и тоже нехотя проговорила женщина.

— А гдѣ, я слышала, у Орѣшина была дѣвочка, Саша?

— А отъ кого вы это слышали?

— Гдѣ она?

— А я не знаю... Можетъ быть, тоже померла... не знаю.

— Прощайте.

— Счастливо оставаться...

Дверь затворилась, загремѣла желѣзная цѣпь, и Надя въ раздумьи спустилась съ лѣстницы.

«Гдѣ-же Петя? Отчего-же онъ не пишетъ? Что съ нимъ?»

Она тотчасъ-же отправилась къ Минѣ Михайловнѣ, но застала ее не одну, застала вдвоемъ съ генераломъ Тютинымъ.

Генералъ былъ не очень старъ—ему было всего только около 55 лѣтъ. Кто-же не знаетъ, что въ Петербургѣ есть кружокъ, гдѣ и шестидесятилѣтній возрастъ не считается стариковскимъ, гдѣ вамъ непремѣнно случится встрѣтить и семидесятилѣтняго старца, который молодится и знать не хочетъ, что прошла его молодость; также жуируетъ, также плѣняется красотой и любезничаетъ съ женщинами и даже,— о, восторгъ!—съ помощью немалыхъ денежныхъ жертвъ, еще можетъ одерживать побѣды, и въ вертоградахъ женскаго пола пользоваться виноградомъ, персиками и другими фруктами.

Тютинъ, Павелъ Павловичъ, въ сущности, былъ давно уже порядочный сморчокъ, но онъ такъ умѣлъ держать себя, такъ иногда поглядывалъ изъ-подлобья на молоденькихъ... такъ былъ льстивъ и любезенъ, что, не даромъ говорятъ, вся служебная карьера его основана была на благоволеніи къ нему прекраснаго пола. Онѣ вліяли на него, онъ вліялъ на нихъ, и кончилось тѣмъ, что онъ выучился вліять и вліялъ даже на тѣхъ, кому подчинялся.

Глазами знатока оглядѣлъ онъ сестру Мины Михайловны и сказалъ:

— Мы съ вами давно знакомы... вы были еще вотъ эдакая...

Тутъ генералъ на аршинъ отъ полу подержалъ ладонь свою.

— Вы и тогда обѣщали быть красавицей и, честь вамъ и слава, превзошли мои ожиданія.

— И замѣтьте, другъ мой, какіе у ней густые и длинные волосы, проговорила Мина Михайловна.

Надя покраснѣла. Ей было досадно до злости на сестру

свою, какъ она смѣетъ указывать этому сластолюбивому старцу на ея волосы.

— И это ея собственные волосы! добавила Мина Михайловна.

— Да, это удивительно! это такая роскошь... волосы... да еще собственные... Когда-то, наконецъ, пройдетъ эта мода—шиньоны... (а самъ онъ былъ тоже въ шиньонѣ, т. е. въ парикѣ).

— Сестра, сказала Надя,—я сейчасъ ѣздила узнавать о Петѣ и узнала, что генералъ Орѣшинъ умеръ у себя въ имѣньѣ, а бывшая его няня,—Мавра, ушла побираться... Гдѣ-же теперь Петя?

— А я почемъ знаю!.. отвѣчала Мина Михайловна.

— Какой-же это генералъ Орѣшинъ? спросилъ Тютинъ.

— Не знаю... я никогда его не видала, отвѣчала Надя.

— Не тотъ-ли, который служилъ еще при генералѣ Клейнмахевѣ? Хорошій былъ человѣкъ и былъ на виду; и затѣмъ пропалъ, совершенно пропалъ изъ виду...

— Не знаю...

У Нади ныло сердце, и она не долго оставалась у сестры своей. Въ этотъ день обѣдала она у одной изъ новыхъ своихъ товарокъ,—у дѣвицы Фіолетовой, которая тоже поступила на курсы и была такъ счастлива, что не только сама каждый день обѣдала у своихъ родителей, но даже и другихъ могла приглашать къ себѣ обѣдать.

Послѣ обѣда, вечеромъ, Фіолетова пошла проводить Надю, съ тѣмъ, чтобы зайти къ ней и провѣрить по ея тетрадкамъ послѣднія лекціи.

Смѣясь, прошли онѣ коридоръ, и Надя отворила дверь въ свою маленькую комнатку. Надя обмерла: у письменнаго стола ея сидѣлъ Николай Николаевичъ Ерошинъ.

Онъ всталъ, извинился, сказалъ, что если зашелъ не во-время, то готовъ тотчасъ удалиться, такъ-какъ не во-время гость хуже татарина.

— Зачѣмъ вы? спросила Надя, и похолодѣвшая, трепетная рука ея очутилась въ его рукѣ.

— Затѣмъ, чтобъ узнать, здоровы-ли вы, живы-ли, наконецъ!.. Соскучился я по васъ... захотѣлось поглядѣть...

— Ну садитесь...

Надя видѣла, какъ онъ вглядывался въ лицо ея, точно хотѣлъ прочесть, что въ эту минуту происходитъ въ ея душѣ.

Ерошинъ видѣлъ, какъ его неожиданное посѣщеніе испугало и взволновало Надю. Онъ видѣлъ ея блѣдность, чувствовалъ дрожь руки ея и повеселѣлъ.

Надя, пробормотавъ его фамилію, отрекомендовала его своей гостьѣ.

Такимъ образомъ Ерошинъ просидѣлъ и проговорилъ съ ними до 10 часовъ вечера.

— Кто этотъ интересный индивидуумъ? спросила Фіолетова Надю, когда та проводила незваннаго гостя.—Какой онъ оригинальный!

— Пришелъ мѣшать намъ, очень его нужно! съ досадой отозвалась ей Надя, сѣла на его мѣсто, у столика, и, приложа къ щекѣ руку, почувствовала, какъ горитъ лицо и какъ бродитъ, какъ во всѣ стороны мечется молодая кровь ея.

— Пожалуйста, не сердись... сказала подруга, — еще успѣемъ... Познакомь его съ сестрой моей, добавила она, принимаясь за книги.

— Съ Вѣрочкой? Это зачѣмъ?

— Она любитъ такія морды,—непремѣнно попроситъ его сѣсть и спишетъ портретъ... Онъ будетъ очень похожъ на Авраама или на какого-нибудь патріарха... Сколько ему лѣтъ?

— Не знаю... это меня нисколько не интересуетъ...

— А мнѣ такъ онъ очень нравится, такой, должно-быть, добрякъ, такой умница, и такой современный... Такъ мѣтко характеризуетъ наше время и... право... поговоривъ съ нимъ, стало какъ-то яснѣе, куда мы идемъ и чего мы въ правѣ ожидать отъ жизни... Я очень рада, что встрѣтила его у тебя...

— Влюбись въ него, сдѣлай милость...

— Приведи его къ намъ, такъ и быть влюблюсь, докажу тебѣ, что я не рыба...

— А можетъ быть и рыбы влюбляются? Почемъ ты знаешь?

И Надя такъ засмѣялась, что заразила смѣхомъ не только свою гостью, но и своего сосѣда... За стѣной кто-то захохоталъ.

— Кто тамъ? прошептала Фіолетова.

— Тс! Почемъ я знаю, прошептала Надя.

ГЛАВА L.

На какія-же средства жила Надя?

По пріѣздѣ въ Петербургъ, она вынула изъ банка билеты внутренняго займа, 6 билетовъ сторублеваго достоинства, когда-то завѣщанные ей ея суровой гувернанткою. Съ тѣхъ поръ, несомнѣнно, билеты эти возрасли въ цѣнѣ. Два изъ нихъ она продала, и у ней всѣхъ денегъ оказалось около 440 рублей.

Въ этихъ билетахъ и въ этихъ деньгахъ заключалось все ея состояніе.

Она дала себѣ слово жить какъ можно скромнѣе, не дѣлать себѣ никакихъ новыхъ костюмовъ, обѣдать за 40 копѣекъ въ какой-нибудь кухмистерской или у сестры своей.

Ей воображалось, что денегъ этихъ ей станетъ надолго. Но опытъ, злой и неизбѣжный опытъ, уже подсказывалъ ей, что дороговизна растетъ и что не кончитъ она курса медицинскихъ наукъ съ этими деньгами... Ей не хотѣлось заглядывать въ будущее, но, волей неволей, кто, вглядываясь въ жизнь, боится въ будущее заглядывать, тотъ навѣрно боится поэтической любви и всѣхъ ея прозаическихъ послѣдствій.

Мысль, что, подобно сестрѣ Минѣ, она, Надя, своимъ матеріальнымъ положеніемъ будетъ обязана своему любовнику или тому, кто возьметъ ее на содержаніе, была до тошноты противна ея самостоятельному характеру или той гордости, которая была свойственна честной душѣ ея.

Дуня, бывшая горничная Мины, не только нашла ее, но и высказала ей все, что было у ней на сердцѣ, или лучше

сказать, подъ сердцемъ, — въ такомъ была настроеніи, что даже каялась, ободренная ласковымъ пріемомъ Нади и готовностью помочь ей.

Но невеселое положеніе бѣдной Дуни и поведеніе Пети не могли не поразить Надю... Дуня-же, конечно, какъ и всякая-бы на ея мѣстѣ, вовсе не сознавалась въ томъ, что сама была главной виновницей или искусительницей молодого горячаго юноши,—это она утаила; и такимъ образомъ, какъ-бы само собой возникало подозрѣніе, что Петя добивался, а Дуня уступила по добротѣ души своей и *невинности*.

Надя нашла ей мѣсто въ семействѣ Фіолетовыхъ и обѣщала ей въ крайнемъ случаѣ матеріальную помощь.

Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ писемъ къ Петѣ, она намекнула ему на щекотливое положеніе Дуни и приписывала молчаніе Пети именно этому намеку. Она раскаивалась, зачѣмъ она писала ему съ такой откровенностью о такомъ предметѣ, о которомъ лучше говорить прямо, безъ всякой осторожности, чѣмъ намекать и, быть можетъ, своей недосказанностью тревожить самолюбивое воображеніе.

Я долженъ былъ упомянуть объ этомъ только потому, что тайна Дуни, ставшая тайной и Нади, заставила ее еще пугливѣе относиться къ возникающей страсти.

«Отдаться любви, думала она,—или дать ей увлечь себя, не значитъ-ли рисковать нажить и себѣ такую-же тайну, тайну, которую не всегда возможно скрыть отъ зоркихъ и завистливыхъ глазъ человѣческаго общества, такъ-какъ это сплетническое общество на всякую, сколько-нибудь смазливую, дѣвушку настолько-же обращаетъ вниманія, насколько всяческихъ поползновеній на красоту ея оно таитъ въ себѣ».

«Богъ съ нимъ, не хочу я и думать объ этомъ джентльменѣ на демократической подкладкѣ. Не до любви мнѣ!» безпрестанно про себя говорила Надя и безпрестанно о немъ думала.

Въ началѣ октября, Ерошинъ встрѣтилъ ее на улицѣ.

Онъ, очевидно, разсчиталъ, въ какомъ часу и какой дорогой пойдетъ Надя съ Выборгской стороны на Малую Морскую.

Ерошинъ подошелъ къ ней и тотчасъ-же проговорилъ проникающимъ въ душу, мягко-укоризненнымъ голосомъ:

— Надежда Михайловна!

— Здравствуйте... я-было не узнала васъ.

— Надежда Михайловна!

— Что прикажете?

— Ужь будто-бы вы меня и не узнали? Къ чему такое притворство...

— Нѣтъ... право... впрочемъ, положимъ, я притворилась. Зачѣмъ-же такъ невѣжливо, такъ нецеремонно уличать меня! Къ чему это?.. Зачѣмъ?..

— Кто не откровененъ, тотъ лжетъ. А я не хочу лгать. Вотъ, я люблю васъ, и вы меня любите...

— Я!

Надя дрогнула и пріостановилась. Что-то тяжелое и горькое подступило къ ея сердцу, «какъ смѣлъ онъ... какъ онъ смѣлъ такъ говорить, съ чего онъ взялъ, что она его любитъ!»

Къ счастью, были сумерки и, къ счастью, можно было спустить черную, коротенькую вуаль, которая была прикрѣплена къ ея назадъ закинутой, маленькой шляпкѣ.

Пріостановившись и почувствовавъ слезы на щекахъ своихъ, она быстро опустила эту вуаль на свое блѣдное личико и пошла скорыми шагами, точно хотѣлось ей убѣжать отъ этого обидчика.

— Надежда Михайловна, простите меня! Я не хотѣлъ оскорбить васъ... я думалъ, вы одна изъ тѣхъ немногихъ, которыхъ не оскорбляетъ правда, какъ-бы ни была горька она. Позвольте мнѣ проводить васъ и поговорить съ вами... отъ души поговорить.

Онъ хотѣлъ взять ее подъ руку, но она отшатнулась и сказала холодно:

— Я не изъ числа сентиментальныхъ барышень и не привыкла ходить подъ-руку... Признаюсь, мнѣ не хотѣлось-

бы и выслушивать то, что вы собираетесь говорить. Между нами бездна... Вы не захотите, чтобы я въ нее бросилась, какъ безумная, а я не захочу губить ваше семейное счастье, ради... ради какихъ-бы то ни было очаровательныхъ фантазій...

— Бездна, о которой говорите вы... милая моя, дорогая моя Надежда Михайловна, не что иное, какъ такая-же фантазія,—нѣчто въ родѣ умственной и нравственной галлюцинаціи, навѣваемое моралью самаго дешеваго качества. Между этой бездной и дѣйствительностью ничего нѣтъ общаго. Между мной и вами нѣтъ бездны, потому что ни я, ни вы никогда никому не продавали своей свободы, и если есть бездна, то бездна между мной и женой моей... но я великанъ по сравненію съ этой бездной, и для меня перешагнуть ее ничего не стоитъ. Ничего мнѣ не стоитъ сломить какой хотите маленькій мірокъ, если только онъ окажется тѣсенъ и не можетъ всего меня вмѣстить въ себѣ. Чѣмъ я виноватъ, если душа моя, мое сердце, моя мысль и шире, и глубже этого домашняго обихода, этого затхлаго и душнаго филистерства... этого мѣщанскаго счастья. Чортъ съ нимъ, съ этимъ счастьемъ! Я не отдамъ за него моихъ страданій, какъ-бы сильно вы ни заставили меня страдать.

— Я не страданія боюсь, я боюсь счастья... я не хочу его... слышите, я не хочу того, что́ вы называете счастьемъ.

— Я ничего отъ васъ не требую, Надежда Михайловна; будьте только свободны, будьте сами собой и не играйте никакихъ, вамъ не свойственныхъ ролей. Ну, хорошо: если вы любите меня и вамъ пріятно страдать—страдайте. Если-же, когда-нибудь, ваше сердце запроситъ всего, что ни на есть самаго лучшаго и блаженнаго на землѣ, не лукавьте сами съ собой, не обманывайте сами себя, идите туда, куда влечетъ васъ ваше сердце, и, что-бы ни было впереди, не бойтесь... Только этой правды я и хочу отъ васъ...

— Не то-же-ли самое вы говорили вашей женѣ, когда были влюблены въ нее? Вѣдь не увѣрите-же вы меня, Николай Николаевичъ, что вы женились не по любви, а по расчету,

или что обстоятельства заставили васъ... Нѣтъ, въ этомъ вы меня не увѣрите!

Ерошинъ покраснѣлъ. Кровь прилила къ лицу его. Онъ съ минуту не зналъ, что ему отвѣчать.

— Я не увѣряю васъ, что я женился по расчету. Встрѣтившись съ m-lle Алинь Алаевой, я полюбилъ въ ней олицетвореніе мечты моей... мой собственный идеалъ. Я думалъ, что... трудовая жизнь, борьба съ людьми и семейный очагъ вполнѣ удовлетворятъ меня... Но я ошибся, я не зналъ себя, не зналъ, какъ много мелкаго эгоизма, пустыхъ треволненій и добродѣтельнаго себялюбія заключаетъ въ себѣ эта семейная жизнь... Помните, я когда-то говорилъ вамъ, что на меня находятъ минуты, когда мнѣ хочется перебить все, что́ у меня есть, и зеркала, и мебель и даже этотъ инструментъ, на которомъ жена моя, припоминая старое, вяло и скучно разбираетъ по нотамъ какіе-то романсики. Неужели это не подсказало вамъ, до какой степени этотъ комфортъ, эта претензія на буржуазную обстановку жизни претятъ мнѣ... Да какой дворецъ промѣняю я на тотъ чердакъ или подвалъ, гдѣ будете вы... вы... единственная... вы—послѣдняя любовь моя!.. Не шутя,—продолжалъ онъ, измѣняя серьезный тонъ свой на болѣе шутливый,—вѣдь я не шутя, голубушка моя, по васъ съ ума схожу.

Надя уже не чувствовала слезъ на лицѣ своемъ. Она шла рядомъ съ нимъ, уныло-спокойная, и, подъ своимъ вуалемъ, какъ-бы скрытая отъ глазъ его. Она молчала, рѣшилась молчать, чтобы дать ему полную возможность высказаться.

— Не думайте, что я случайно на улицѣ встрѣтилъ васъ. Я искалъ случая, я расчелъ, гдѣ и какъ, и когда всего вѣрнѣе увидѣть васъ... Жажда видѣть васъ превзошла всѣ мои силы... Вѣдь это то-же, что и физическая жажда. Попробуйте вы не пить ничего два-три дня, и васъ потянетъ къ стакану воды съ непреодолимымъ влеченіемъ. А я... вѣдь я цѣлыхъ десять дней не видалъ васъ! Шутка-ли сказать: десять дней!

И въ томъ же родѣ много и долго говорилъ Ерошинъ.

Такъ прошли они вмѣстѣ Литейный мостъ, Гагаринскую набережную и Большую Милліонную.

Не скажу, чтобы Надѣ было непріятно выслушивать доводы и признанія человѣка, который ей такъ сильно нравился, но она рѣшилась бороться до послѣдней степени.

— Очень вамъ благодарна, пробормотала она, остановившись передъ воротами одного большого дома.—Все, что вы говорите, я понимаю, я вамъ глубоко сочувствую, можетъ быть, даже люблю васъ... но никогда не буду вашей любовницей.

— А если я разведусь съ женой, и гдѣ-нибудь въ Америкѣ или на концѣ свѣта женюсь на васъ.

— Отъ этого не будетъ легче ни вашей женѣ, ни вашимъ дѣтямъ. Свиданья, можетъ быть, пріятны не только въ комфортабельныхъ теплыхъ покояхъ, но и въ холодныхъ подвалахъ и на чердакахъ. Но каково въ этихъ подвалахъ родиться дѣтямъ или жить имъ на чердакахъ и въ нуждѣ, послѣ той обстановки, которую вы же сами дали имъ... Вы ради любви жертвуете всѣмъ, я тоже ради высшей любви къ знанію и людямъ жертвую своей личной любовью и ставлю ее ни во что рядомъ хотя-бы съ медициной, которой я хочу посвятить себя... Но прощайте, я зайду въ этотъ домъ, здѣсь я обѣдаю.

— Постойте, вы, я вижу, смотрите на любовь, какъ на помѣху всему, что есть лучшаго на свѣтѣ.

— Мнѣ она мѣшаетъ, мѣшаетъ и будетъ мѣшать.

— Постойте, Надежда Михайловна, если вы любите людей, неужели я не человѣкъ? Позвольте же мнѣ хоть разъ въ недѣлю, хоть по воскресеньямъ заходить къ вамъ... на полчаса. Чтобы жить и дышать, я долженъ хоть изрѣдка видѣть васъ... Надежда Михайловна!

— Приходите на полчаса въ воскресенье около часу. Но дайте мнѣ слово,—Надя взяла его за руку и остановилась,—дайте мнѣ слово ничѣмъ не оскорблять меня.

— Если моя любовь не есть для васъ оскорбленіе...

— Это несчастіе, а не оскорбленіе. Но прощайте!

Она пожала ему руку и вошла въ ворота.

Медленными шагами, надвинувъ на глаза шляпу и насупившись, пошелъ Ерошинъ. На одной его рѣсницѣ повисла слеза. Онъ былъ взволнованъ и умиленъ, и озадаченъ, и сердитъ на самого себя.

Онъ искренно былъ влюбленъ, и влюбленъ, какъ говорится, до чортиковъ, но какъ пожилой и опытный волокита, онъ былъ собой недоволенъ. Онъ понималъ, какой непростительный промахъ сдѣлалъ онъ,—довести ее почти-что до признанія, озадачить, дерзко сорвать покровъ съ ея тайны, заставить ее заплакать, и гдѣ-же? На улицѣ!

Развѣ могъ онъ на улицѣ, не давши ей опомниться, заключить ее въ свои объятія, поцѣлуями осушить ея слезы, разбить разомъ всякія ненужныя церемоніи, разомъ упростить ихъ взаимныя отношенія, или заставить ее день и ночь жаждать такихъ-же ласкъ, такихъ-же поцѣлуевъ?

Такъ безтактно могъ поступить только какой-нибудь неопытный, до нѣмоты влюбленный юноша, но не онъ, съ юности изучившій всѣ пути и подходы къ сердцу женщины и очень хорошо понимающій, что значитъ «*ловить моментъ*», иначе сказать, пользоваться счастливыми минутами, женскимъ испугомъ, тревогой сердца, безпомощнымъ упадкомъ силъ, нервнымъ возбужденіемъ или потерею самообладанія.

И кто знаетъ, какія минуты могли-бы ожидать его, если-бы это первое признаніе было не на улицѣ!

Въ жизни человѣческой ничто не повторяется, въ особенности такія мгновенія, которыя рѣдки, случайны и ниспосылаются фортуною какъ-бы затѣмъ, чтобъ мы никогда не забывали, какимъ иногда счастьемъ мы обязаны слѣпотѣ ея.

Все это передумалъ Ерошинъ и, почти больной съ отчаянья за свою оплошность, пришелъ домой, закурилъ сигару, сталъ спиной къ печкѣ и сказалъ женѣ, что не будетъ обѣдать, такъ-какъ желудокъ у него страшно разстроенъ и никакого аппетита нѣтъ.

ГЛАВА LI.

Кто-бы могъ думать, что Петя пострадалъ не отъ чего иного, какъ отъ самыхъ, такъ сказать, современныхъ и даже честныхъ идей того самаго судебнаго слѣдователя, который производилъ дознаніе по дѣлу о насильственной смерти Любовь Петровны и былъ не прочь при этомъ приволокнуться за Миной Михайловной Клинъ, мачихой Пети.

Все это было очень просто... Часто величайшія несправедливости дѣлаются очень просто и даже съ самыми благими намѣреніями.

Михей на допросахъ продолжалъ упорно говорить одно и то-же, что онъ ничего не помнитъ и что онъ человѣкъ добрый и «убивать... помилуйте... никакого нѣтъ въ этомъ проку... Убивать... это ужь послѣднее дѣло-съ»... Онъ даже хихикалъ, по обыкновенію, въ надеждѣ получить гривенникъ или двугривенный и тотчасъ-же выпить, когда его выпустятъ (онъ былъ убѣжденъ, что его скоро выпустятъ).

И слѣдователь, по фамиліи Лапкинъ, былъ тоже убѣжденъ, что этотъ хихикающій простакъ положительно не способенъ на такое преступленіе изъ-за какого-нибудь рубля, который и былъ имъ пропитъ въ питейномъ заведеніи; что отпертый сундукъ убитой, очевидно, хранилъ въ себѣ кое-какія сбереженія женщины аккуратной и экономной, словомъ—такой женщины, у которой, какъ оказалось, даже и любовника не было; и что денегъ въ сундукѣ не нашлось, потому что онѣ были похищены. Кто-же похитилъ ихъ? Кому онѣ были нужны? Не тому-ли, кто самовольно вышелъ изъ гимназіи и поспѣшилъ уѣхать изъ Питера, не захвативъ съ собой даже бумагъ своихъ? Не тому-ли, кто исчезъ, никого, даже отца своего, не предувѣдомивъ объ этомъ исчезновеніи? Не тому-ли, кому нужны были деньги и для того, чтобъ пить шампанское въ Демидронѣ (по словамъ Зуева), и для того, чтобъ заплатить за билетъ по желѣзной дорогѣ?..

Имѣя о Клинѣ-отцѣ самое гнусное понятіе, Лапкинъ думалъ, «что яблочко недалеко падаетъ отъ яблони», и что нечего щадить гордость чиновника, лѣзущаго въ генералы, и, ради негодяя сынка его, подозрѣвать бѣднаго отставного солдатика, можетъ быть, ничѣмъ, ни душой, ни тѣломъ не виноватаго... И онъ рѣшилъ: притянуть Петра Клина къ слѣдствію и допросить его... Но гдѣ искать его?.. Мина Михайловна сказала: въ Сербіи; но въ Сербіи такого не оказалось... И послали-бы, можетъ-быть, разыскивать его по всѣмъ губерніямъ, если-бы тотъ-же Зуевъ не сказалъ при встрѣчѣ, что Петя Клинъ находится гдѣ-то на урокахъ въ орловской губерніи.

Изъ словъ станового, того самаго станового, который заарестовалъ Петю, не трудно вывести заключеніе, что къ разысканію его не мало способствовалъ и доносъ сельскаго попа Самсона. На него сначала не обратили вниманія, такъ-какъ пресловутый отецъ Самсоній былъ большой охотникъ доносить, былъ по этой части спеціалистъ и уже давно надоѣлъ своими доносами; но затѣмъ, когда власти получили бумагу о немедленномъ розыскѣ и высылкѣ въ Петербургъ нѣкоего юноши Петра Клина, вспомнили о доносѣ, гдѣ говорилось о немъ, какъ о личности, въ высшей степени подозрительной, странствующей пѣшкомъ изъ деревни въ деревню и пробирающейся къ какому-то генералу Орѣшину въ деревню Тальники. Все это было принято въ соображеніе, и Петръ Клинъ былъ препровожденъ подъ надзоромъ и за отвѣтственностью полиціи.

И Зуевъ, который открылъ слѣдователю, гдѣ ему искать молодого Клина, сдѣлалъ это вовсе не по злости или ненависти къ нашему юношѣ,—онъ совсѣмъ почти не зналъ его и видѣлъ всего только два раза: на свадьбѣ, да на музыкѣ въ Павловскѣ. Зуевъ, хоть и думалъ про себя, что этотъ Петя волченкомъ смотритъ, рѣшительно не имѣлъ ни малѣйшей причины вредить ему, и повредилъ изъ желанія услужить своему пріятелю Лапкину.

Лапкинъ этотъ, хоть и былъ, подобно Зуеву, страстнымъ

охотникомъ до хорошенькихъ женщинъ, но былъ едва-ли не самый безкорыстный изъ числа своихъ сотоварищей, потому-ли, что носилъ въ головѣ кой-какіе гражданскіе идеалы или потому, что былъ самъ не бѣденъ и дорожилъ своей репутаціей. Его считали очень порядочнымъ человѣкомъ, въ особенности дамы, съ которыми онъ былъ любезенъ, какъ маркизъ восемнадцатаго столѣтія, и которымъ очень нравились шелковистая, надвое расчесанная борода его, блѣдный цвѣтъ лица и сочныя губы.

Ознобинъ, по переѣздѣ въ Петербургъ, остановился въ тѣхъ-же меблированныхъ комнатахъ (хоть и въ другомъ номерѣ) и попрежнему ежедневно ходилъ къ Александрѣ Александровнѣ Ерошиной учить азбукѣ сынка ея и, затѣмъ, по цѣлымъ часамъ сидѣть у ней въ углу, сложа руки, молчать и о чемъ-то думать. Александра Александровна, убѣжденная, что мужъ разлюбилъ ее и сталъ самъ на себя не похожъ, страдала и душой, и тѣломъ, плакала и чуть не вслухъ негодовала на эту интригантку, на эту сестрицу безпутной Мины—Надю Баскову! Ознобинъ былъ уже отчасти посвященъ въ тайну ея горя, искренно сожалѣлъ эту добродѣтельную женщину и тоже мысленно негодовалъ на пасмурнаго и постоянно чѣмъ-то недовольнаго Ерошина.

Однажды, въ началѣ октября, около 11 часовъ утра, Ознобинъ собирался къ Ерошинымъ и уже повязывалъ на шею старенькій галстухъ свой, какъ вдругъ растворилась дверь, вошелъ Петя и бросился обнимать его...

Оба были въ такомъ сильномъ волненіи, что ни о чемъ не говорили и только спрашивали другъ друга: «Ну, что?.. Здоровъ?.. Что новаго?»..

Волненіе это, конечно, продолжалось не болѣе какихъ-нибудь пяти минутъ. Петя потребовалъ себѣ чаю и усѣлся. Ознобинъ закурилъ папироску и тоже усѣлся.

— Ну, что Орѣшинъ?.. А Леканида? Э... все еще тамъ, у этого Аркадьева?..

— Ничего не знаю, отвѣчалъ Петя. — Я давно уже... мнѣ кажется, цѣлое столѣтіе прошло съ тѣхъ поръ, какъ я

былъ у Орѣшина... Я изъ предварительнаго заключенія... Былъ, видите-ли, обвиненъ въ убійствѣ...

— Какъ!

Петя, задыхаясь, разсказалъ ему свою исторію.

Доскажемъ только вкратцѣ то, чего еще не знаютъ наши читатели.

Съ Пети была снята фотографическая карточка и послана въ Москву, въ ту гостинницу, гдѣ останавливался Орѣшинъ. Изъ Москвы пришло удостовѣреніе, что Петя въ Москвѣ былъ во вторникъ, 6 іюля, а убійство было совершено въ пятницу, 9 іюля. Это одно уже могло вполнѣ оправдать его. Было и другое еще обстоятельство, вполнѣ убѣдившее слѣдователя въ невинности Пети. Лапкинъ самъ сознался, что онъ погрѣшилъ, и долго извинялся передъ Петей, увѣряя его, что такія ошибки случаются нерѣдко въ судебной практикѣ и проистекаютъ, конечно, изъ самаго ревностнаго желанія добиться истины и не обвинить невиннаго. Покопавши-же въ душѣ и головѣ Пети, Лапкинъ, кромѣ сознанія своей опрометчивости, пришелъ къ другому сознанію, а именно къ тому, что Петя великолѣпный малый и проникнутъ такими демократическими стремленіями, что дай Богъ всякому. Затѣмъ, Лапкинъ пригласилъ его когда-нибудь зайти къ нему и тотчасъ-же донесъ прокурору о немедленномъ распоряженіи выпустить его изъ заключенья.

ГЛАВА LII.

Петя былъ выпущенъ, но отъ этого не легче было на душѣ его. Выйдя на улицу, въ сѣрый день, долго бродилъ онъ по сѣрому городу, соображалъ, куда прежде всего ему зайти. На душѣ его лежалъ грузъ какого-то безпокойства и только на самомъ днѣ этого груза таился небольшой сверточекъ радости, что онъ оправданъ и на свободѣ.

Онъ не безъ трепета зашелъ къ Надѣ, но ему сказали, что ея дома нѣтъ и не будетъ раньше вечера.

«Не зайти-ли къ Ознобину? Что, если я и его не найду?» подумалъ Петя.

И загорѣлось въ немъ сильное желаніе повидаться съ Ознобинымъ, какъ другомъ покойной матери, желаніе, смѣшанное съ боязнью нигдѣ не найти его.

— Э... вотъ оно что! выслушавъ Петю, протянулъ Ознобинъ. — Что-же вы не дали мнѣ знать, когда сидѣли въ тюрьмѣ?

— Это зачѣмъ, Иванъ Несторычъ! Разъ я узналъ, за что меня схватили, я понялъ, что и самъ могу оправдаться безъ всякой посторонней помощи... да и не хотѣлъ внушать сожалѣнія. Удивляетъ меня одно только, какъ это Надя Баскова ничего не писала мнѣ о смерти Любовь Петровны.

— Неужели... э... не писала?

— Ни слова!..

— Странно... Э... Она одна только, какъ я слышалъ, и проводила ее до самаго кладбища... Какъ-же это она не писала къ вамъ?

— Ни слова...

— Ну, такъ это просто по вѣтрености...

— А развѣ она вѣтреная?.. Она не можетъ быть вѣтреной.

— Ну, э... можетъ быть, можетъ быть, и не вѣтреная... Я ничего не знаю... э... только вы мнѣ скажите, что это такое... Зачѣмъ Алаева у этого Аркадьева?.. Кто такой э... этотъ Аркадьевъ?

— О, любовь, любовь! вздохнулъ Петя. — Ничѣмъ-то нельзя тебя вырвать изъ сердца, коли она забралась туда... Спросите ее, зачѣмъ она поѣхала въ деревню къ старику...

— Къ старику?

— Котораго почти совсѣмъ не знаетъ... Поѣхала на одинъ день... и, какъ слышно, осталась... Можетъ быть, просто у ней на поѣздку до Питера не хватило казны... дожидается случая...

— Э... это, можетъ быть, какъ-бы обрадовался Ознобинъ, — что не хватило денегъ доѣхать... Нельзя-ли э... какъ-нибудь... Будь у меня деньги, я бы послалъ...

И у Ознобина мелькнула мысль подбить Александру Але-

ксандровну послать денегъ сестрѣ своей и при этомъ продиктовать ей письмо самое убѣдительное.

— Ну, а Надя... Надежда Михайловна Баскова? Вы съ ней не знакомы?

— Да... а... я съ ней познакомился.

— И бываете у ней?

— Нѣтъ еще... но... я у ней буду... Я собираюсь къ ней... Мнѣ еще нужно э... съ ней поговорить... Гм... да...

Петя поглядѣлъ на Ознобина, Ознобинъ поглядѣлъ въ уголъ.

— Я на васъ золъ, Петя.

— За что?

— Отчего вы не писали мнѣ, отчего не мнѣ поручили вы взять ваши бумаги изъ гимназіи... Неужели дружба моя мѣднаго гроша не стоитъ?

Петя оправдывался тѣмъ, что не зналъ его адреса.

— Я и теперь не знаю, говорилъ онъ,—подъ какимъ нумеромъ вашъ домъ—забылъ... А я вамъ все-таки кланялся...

— Ни одного поклона не получилъ... А э... если писали и кланялись, то э... опять-таки скажу... Надя вѣтреная дѣвушка и вы, пожалуйста, не увлекайтесь ею...

— Чего увлекаться! Я вотъ уже скоро три года, какъ до зарѣзу влюбленъ въ нее...

Ознобинъ поглядѣлъ на него.

— Э... и есть взаимность?

— Не знаю...

Ознобинъ вспылилъ.

— Не знаете... до сихъ поръ не знаете! Такъ она кокетка! Дрянь! Красивая дрянь—и больше ничего! Берегитесь ее — она будетъ водить васъ за носъ и будетъ васъ обманывать...

— Да вѣдь и вы не знали навѣрное, любитъ-ли васъ Леканида, когда сватались...

Ознобинъ вздрогнулъ—онъ не ожидалъ такого возраженія.

— Гм... гм... промычалъ онъ и повѣсилъ голову.—Во всякомъ случаѣ, я еще у ней буду и поговорю съ ней.

— Только не обо мнѣ, ради Бога, не обо мнѣ, Иванъ Несторовичъ...

— Не о васъ... разумѣется, э... не о васъ...

— О чемъ-же вы хотите съ ней поговорить?

— Хочу спросить ее, зачѣмъ она кокетничаетъ и завлекаетъ одного отца семейства, зачѣмъ она разстроиваетъ семейное счастье, э... это я хочу спросить у ней...

Петя, какъ ни былъ худъ и блѣденъ, казалось, поблѣднѣлъ еще болѣе.

— Какого отца семейства? спросилъ онъ, помолчавъ.

— Это э... этого я не въ правѣ еще сказать вамъ...

— Тайна, значитъ?

— И не моя... э... чужая тайна... вопіющая... э... тайна...

— Иванъ Несторовичъ!

— Что?

— Скажите мнѣ, на что вы намекаете?

— Ну, довольно объ этомъ. Это больше ничего, какъ то, что одинъ пожилой отецъ семейства влюбленъ въ нее... больше ничего... э... это не должно васъ особенно безпокоить... Всѣ кокетки, и Леканида.. э... да, и Леканида... Это, очевидно, законъ природы... а судьба заодно съ природой... Природа и судьба... это одно и то-же... Ну, Петя, гдѣ остановились? У мачихи, разумѣется?

— Нигдѣ...

— Какъ нигдѣ? А были вы у мачихи? Она одна—отецъ вашъ, если не ошибаюсь, или уѣзжаетъ, или выѣхалъ...

— Выѣхалъ! Куда?

— Слышалъ я, будто посылаютъ его за покупкой муки для арміи... А впрочемъ, э... не знаю...

— Узнайте... Ахъ, Иванъ Несторовичъ, какъ мнѣ тяжело! Хочется на отца взглянуть и боюсь—съ какимъ лицомъ онъ меня встрѣтитъ! Нѣтъ, прежде, чѣмъ я рѣшусь *домой* идти, я непремѣнно сегодня-же долженъ видѣться съ Надей.

ГЛАВА LIII.

И въ тотъ-же день Петя успѣлъ получить свое свидѣтельство, давно уже подписанное директоромъ. Онъ получилъ его подъ росписку отъ дѣлопроизводителя канцеляріи безъ всякихъ разспросовъ и безъ всякаго замедленія; затѣмъ, онъ закусилъ въ одномъ изъ ближайшихъ ресторановъ и, воображая, что, пока онъ сидѣлъ взаперти, Орѣшинъ успѣлъ уже выбраться изъ деревни и переѣхать въ Петербургъ, отправился къ нему на квартиру. Ему, во всякомъ случаѣ, хотѣлось повидать Мавру, которая такую добрую и безкорыстную роль играла въ его ранней юности, посреди грубой, жестокой и безотрадной семейной жизни его, послѣ смерти матери.

Нечего и разсказывать, что Петя, въ домикѣ близъ Смоленскаго кладбища, отъ той-же Авдотьи узналъ о смерти Орѣшина и о томъ, что Спичевскій прилеталъ въ Петербургъ на три дня, прогналъ Мавру и распоряжался, какъ хозяинъ, въ квартирѣ своего покойнаго дядюшки. О томъ-же, что сталось съ Сашей и куда дѣвалась Мавра ничего не узналъ нашъ огорошенный и опечаленный юноша. Онъ ушелъ съ такою тревогой на-сердцѣ, съ такими тяжелыми мыслями, что до самаго Николаевскаго моста слезы навертывались и текли по щекамъ его.

Въ тотъ-же день, около 9 часовъ вечера, онъ засталъ Надю и очутился въ ея теплыхъ, дружескихъ объятіяхъ. Радостный поцѣлуй ея, казалось, настолько растворилъ всю горечь, накипѣвшую у него на-сердцѣ, что блѣдное лицо его оживилось и глаза заблестѣли. Спокойно разсказалъ онъ все, что съ нимъ было, и остановился на смерти Орѣшина.

— Надо будетъ ѣхать за Сашей, сказалъ онъ.—Она погибла, если тамъ хозяйничаетъ Спичевскій. Но Боже мой! Гдѣ, гдѣ найду я Мавру, гдѣ? Она такъ стара, такъ безпомощна, что можетъ умереть или замерзнуть на улицѣ!..

— Обсудимъ, милый мой Петя, что дѣлать! Писалъ-ли

ты Аркадьеву?.. Напиши ему, чтобы онъ съѣздилъ... и узналъ...

— И,—перебилъ Петя, ударивши себя по лбу,—и чтобъ онъ хоть на время пріютилъ Сашу, эту милую дѣвочку. О, ты сама мудрость! Завтра-же я напишу къ нему, а затѣмъ поѣду.

Надя опустила голову, подумала и произнесла:—Поѣзжай!

Петя поглядѣлъ на нее.

Зеленый абажуръ лампы придавалъ особенно грустный оттѣнокъ лицу ея... Минутъ пять продолжалось молчаніе.

— Нѣтъ худа безъ добра, началъ онъ,—я уѣду и ничѣмъ не буду мѣшать тебѣ...

— Чѣмъ-же ты мнѣ можешь мѣшать... Петя... все еще потупившись, проговорила Надя.

— Тѣмъ, что я люблю тебя, а ты... ты, можетъ быть, любишь другого и... мое присутствіе будетъ мѣшать *ему*... прерывающимся, нетвердымъ голосомъ проговорилъ Петя...

— Кому *ему*? Что означаютъ слова твои?.. Ты... что-нибудь слышалъ?..

Петя всматривался въ похудѣвшее и поблѣднѣвшее личико Нади.

— Если ты что-нибудь слышалъ... хоть я и удивляюсь... все-таки, ты будешь мѣшать *ему*, а не мнѣ...

— Значитъ онъ тебя любитъ, этотъ пожилой, женатый человѣкъ? А ты? Ты... нѣтъ? Не правда-ли?!

Надя подняла голову... Она была взволнована...

Петя взялъ ее за руку—рука была холодна, какъ ледъ.

— Кто это могъ сказать тебѣ?

— Вѣдь это правда... Надя? Скажи мнѣ, не мучь меня...

Надя молчала.

— Ты молчишь. Значитъ... я не ошибся. Не правда-ли?

— Да... это правда... какъ-бы вздохнувъ, произнесла Надя.

— Я зналъ... что...

— Что?!

— Что ты не способна солгать, не станешь скрываться

передъ тѣмъ, который такъ тебя любитъ... Ахъ, Надя, какъ я люблю тебя!..

И онъ обнялъ ее. Надя не противилась, но и не отвѣчала ему, не шла навстрѣчу его объятіямъ. Она думала: «это въ послѣдній разъ... это не повторится...»

— Не люби меня, Петя!..

— Развѣ это отъ меня зависитъ?

Надя приложила къ бровямъ своимъ не ладонь, а сгибъ своего указательнаго пальца.

— Ахъ, да... это не отъ тебя зависитъ, это не зависитъ отъ человѣческой воли. Я тебя понимаю. Но все-таки, милый мой, дорогой мой, постарайся разлюбить меня, забыть меня!

— Зачѣмъ-же, Надя! Если...

— Но вѣдь я же не могу, не могу любить тебя... пойми ты это!

Рука ея упала и лицо сдѣлалось какъ-бы умоляющимъ.

— А какъ ты была рада, когда я вошелъ... Никто еще, никогда, никогда такъ не встрѣчалъ меня!..

— Я бы и теперь была рада, но зачѣмъ-же ты самъ отравилъ эту радость мою!.. Зачѣмъ ты самъ началъ говорить мнѣ объ этомъ?..

— Надя!

— Спрашивай, я лгать не буду... Но тише—здѣсь одна дощатая стѣна отдѣляетъ меня отъ сосѣдней комнаты...

— Ты его любишь, Надя? Этого женатаго?

— Да, я люблю его... не безъ усилія проговорили ея поблѣднѣвшія губы.

Петя смолкъ... Ему уже не о чемъ было больше разспрашивать. Ударъ молніи, упавшей къ ногамъ его, казалось, менѣе-бы потрясъ его... Онъ понялъ, что все кончено.

— И онъ... это знаетъ? проговорилъ онъ.

— Да, онъ это знаетъ.

— И ты...

Петя не договорилъ—онъ тихо зарыдалъ и склонилъ на край стола лицо свое, подложивъ обѣ руки, съ широко разъ-

ѣхавшимися локтями, такъ, что лампа освѣтила только затылокъ его, поросшій густыми темными волосами.

Надя долго сидѣла, опустивъ рѣсницы, рядомъ съ нимъ и молчала. Она не ожидала, чтобъ гордый юноша, съ недюжиннымъ характеромъ, былъ еще такъ юнъ, что не могъ вынести ея признанія!

Не будь у него нервы такъ разстроены, быть можетъ, и не было-бы ни этихъ слезъ, ни этого глухого и нѣмого отчаянья. Но было-ли бы это лучше? Кто не знаетъ, что отчаянье безъ слезъ нерѣдко приводитъ людей къ помѣшательству?

Надя поглядѣла на него и положила свою руку на вздрагивающее плечо его.

— Петя! будь такъ добръ... о, ради Бога! будь такъ добръ, выслушай меня... Ради Бога!..

— Мнѣ больше нечего выслушивать... приподнимая голову, промолвилъ Петя.—Прости меня за эти глупыя слезы... Это... и отъ того, можетъ быть, что я еще не окрѣпъ послѣ всего того, что вынесъ...

— Не думай, Петя, что тотъ, кто меня любитъ, счастливѣе тебя...

— Да... но я бы желалъ быть на его мѣстѣ. Ты влюблена въ него... ты...

— Договаривай! Ты думаешь, что я принадлежу ему? Что я когда-нибудь буду принадлежать ему? Никогда! Клянусь! Въ этомъ ты можешь быть увѣренъ...

— Ни въ чемъ я не увѣренъ, Надя. Прости мнѣ мое недовѣріе. Ничему, кромѣ своего сердца, я не вѣрю, а можетъ быть, будетъ время, что и ему я перестану вѣрить...

— Клянусь тебѣ, Петя... съ жаромъ произнесла Надя.

— Какое утѣшеніе! Ты будешь страдать, онъ будетъ страдать и я... Что мнѣ изъ того!..

— И тебѣ все равно?

— Не все равно. Но не изъ боязни-ли, что я буду ревновать или завидовать, ты говоришь мнѣ это? О!.. Какое страданіе!.. Повѣрь мнѣ, Надя, любовь не размышляетъ, любовь

не видитъ того, что будетъ завтра. Это... настоящее—въ самомъ полномъ смыслѣ этого слова, единственное настоящее, для котораго нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго... Хотя-бы ты клялась, хотя-бы ты искренно была увѣрена въ самой себѣ, я тебѣ не вѣрю. А тебѣ меня бояться нечего,—въ Петербургѣ я не останусь.

— Ахъ, Петя, Петя! Зачѣмъ такое горе я нанесла тебѣ! Ты самъ не свой... Петя... зачѣмъ ты уходишь?.. Милый мой... ты меня заподозрилъ... И я подумала... Узнаешь ты все, и не станешь тщетными надеждами волновать себя.

— Довольно, Надя... Я не тряпка и не раскисну... За меня не бойся.

— А ты за меня бойся, Петя, если ты меня любишь, бойся. Ты думаешь, мнѣ легче чѣмъ тебѣ?.. Но куда-же... куда ты?

— Надя, уѣхалъ отецъ мой?

— Уѣхалъ. Ксенія тебѣ обрадуется... Еще не поздно.

— Нѣтъ, я ночую у кого-нибудь изъ своихъ старыхъ пріятелей. Завтра отправлюсь домой и не надолго. Прощай!

Онъ протянулъ ей руку, пожалъ ее и, стараясь не глядѣть ей въ лицо, чтобъ не встрѣчать сострадательно грустныхъ и грустно-ласковыхъ глазъ ея, вышелъ.

ГЛАВА LIV.

Несмотря на выѣздъ изъ Питера нашего почтеннаго Егора Антоновича Клина, супруга его была не въ духѣ. Хитрый старикъ передъ отъѣздомъ, наединѣ, уличилъ ее въ невѣрности, и при этомъ, разумѣется, шипѣлъ, хрипѣлъ, откашливался и ругался. Несмотря на то, что пламенная страсть его къ Минѣ Михайловнѣ такъ же скоро потухла, какъ потухаетъ чадный уголь въ печкѣ, запертой герметически, онъ злился, т. е., не столько злился, сколько злорадствовалъ.

Измѣна супруги давала ему право о ней не заботиться

въ денежномъ отношеніи, и на вопросъ ея, «съ чѣмъ она останется»,—отвѣчать насмѣшками.

Иначе онъ велъ себя въ конфиденціальномъ разговорѣ съ генераломъ Тютинымъ (который все еще жилъ въ Европейской гостинницѣ).

— Только ради вашего превосходительства, говорилъ онъ съ волненіемъ,—я не дѣлаю скандала и позволяю женѣ моей оставаться въ моей квартирѣ...

— Ну, полноте, полноте, не огорчайтесь, почтеннѣйшій Егоръ Антоновичъ, возражалъ Тютинъ, трепля его по плечу,—чай знаете, «La donna e mobile»... Выпейте стаканъ воды... успокойтесь!.. Взгляните на это окомъ благоразумія и не требуйте невозможнаго... Кто-же такой этотъ Зуевъ?

— Не произносите при мнѣ этого имени... я слышать о немъ не могу...

И Егоръ Антоновичъ выпилъ стаканъ воды, какъ-бы стараясь успокоиться...

— Такъ вы о чемъ взволнованы, милѣйшій?.. Гм... это, конечно, не совсѣмъ пріятно, но... гм... гдѣ-же вы найдете?.. Что прикажете!.. Общая участь... Поѣзжайте на югъ и... это лучшее средство... Я потороплю въ министерствѣ... и, разумѣется, въ вашу пользу...

Словомъ, Егоръ Антоновичъ разыгралъ съ женой своей почти такую же комедію, какъ и съ дочкой. Дочкѣ не далъ приданаго,—женѣ оставилъ самое мизерное содержаніе... «Пусть, дескать, содержитъ кто хочетъ... Вотъ гдѣ мнѣ сидитъ эта Мина!» и Егоръ Антоновичъ указывалъ себѣ на шею пониже затылка, точно въ совершенствѣ зналъ, гдѣ и какъ сидитъ на немъ Мина Михайловна.

И, наконецъ, министерство поторопилось, выдало Клину подъемныя деньги, прогоны, и—старикъ уѣхалъ совершать подвиги, не простясь съ женой своей.

Это хоть кого озадачитъ. И Мина Михайловна была озадачена... Но вольно же ей было вѣрить, что мужъ, занятый дѣлами, совершенно пересталъ обращать на нее вниманіе что онъ не ревнивъ, что ему все равно... и не принимать

никакихъ предосторожностей! Перехваченная записка и мягкія старыя туфли, съ помощью которыхъ можно подкрасться къ любой двери тише, чѣмъ котъ подкрадывается къ крысѣ,— изобличили, какъ нельзя лучше, нѣкоторую вольность ея поведенія. Ея оправданія ни къ чему не повели... А возможно-ли, чтобъ женщина, которая не съумѣла оправдаться, была въ хорошемъ настроеніи духа?—Положительно невозможно. И Мина Михайловна, впервые отъ роду, почувствовала припадки меланхоліи.

Она была въ утреннемъ дезабилье и не успѣла еще убѣдиться черезъ посредство зеркала, что она еще не утратила красоты и можетъ нравиться (что, конечно, могло-бы доставить ей нѣкоторую дозу утѣшенья), какъ кто-то постучался въ будуаръ ея.

— Войдите.

Вошелъ Петя.

Это было такъ неожиданно, что Мина Михайловна испугалась.

— Это ты... ты... Петя?.. Тебя выпустили?.. Боже мой, Боже мой!..

Затѣмъ, до такой степени все перепуталось въ головѣ ея, что она стала спрашивать Петю:—не былъ-ли онъ раненъ, сражаясь съ турками.

Петя удивился... Онъ даже никакъ понять не могъ: рада или не рада ему Мина Михайловна... «Какъ будто рада и какъ-будто не рада»...

— А, да! ты писалъ, что былъ въ деревнѣ. Помню— Надя читала письмо твое... Помню... помню!.. Извини меня!.. Какъ это я не сообразила!.. Этотъ слѣдователь, должно быть, ужасный плутъ... Онъ не прямо говорилъ, а такъ только намекалъ, что по дѣлу о смерти нашей милой Любовь Петровны, онъ тебя вызоветъ; и такъ таинственно, что я ему не вѣрила... Я сержусь на него, а онъ улыбается... я сержусь, а онъ улыбается... Такой противный!..

— А вы мнѣ позволите пожить у васъ?

— Что за вопросъ! сколько хочешь...

— Ну, а что мой отецъ?

— Твой отецъ... Мина Михайловна махнула рукой.—Ты своего папашу знаешь лучше, чѣмъ я... Онъ никогда меня не любилъ... никогда, никогда!... Но Богъ съ нимъ!

— А Ксенія?

— Ксенія ушла въ гимназію.

— Хорошо учится?

— А Господь ее знаетъ! Кажется, хорошо.

Затѣмъ, Петя опять поселился въ своей комнатѣ.

Ксенія вернулась, когда на Исакіѣ зазвонили къ вечернѣ... въ сумерки.

Очень она сконфузилась, когда въ коридорѣ встрѣтила Петю, и, опустивъ глазки, съ книжкой подъ мышкой, прошла въ свою комнату.

Петѣ было невесело. Смерть Орѣшина и неизвѣстность, что̀ сталось съ его ученицей, обидное подозрѣніе въ уголовщинѣ и вчерашнее признаніе Нади тяжелымъ камнемъ лежали у него на сердцѣ. Ему казалось, что изъ заключенія попалъ онъ въ застѣнокъ, такъ мучительны были тѣ нравственныя пытки, которыя въ годы впечатлительной и страстной юности то-же, что прорѣзываніе зубовъ въ безпомощные дни младенчества. Кажется, давно-ли онъ покинулъ гнѣздо свое, и какая перемѣна!

Любовь Петровна вычеркнута изъ списка живыхъ, глупый Михей подъ уголовнымъ слѣдствіемъ, отецъ уѣхалъ, Надя въ кого-то влюблена, Мина Михайловна въ разладѣ съ благовѣрнымъ и жалуется, что средства ея истощаются... Ксенія, и та какъ-будто не та... нѣтъ прежняго ребячества и порывистости, нѣтъ сентиментальной наивности и фантазій.

— Здоровы-ли вы? спросилъ онъ Ксенію за обѣдомъ.

— Здорова, отвѣчала Ксенія.

— У ней болитъ грудь, замѣтила Мина Михайловна.— Но это вздоръ! У меня въ ея годы тоже болѣла грудь. Развитіе груди не у всѣхъ дѣвицъ проходитъ безболѣзненно...

Формируется... и удивительно, какъ это моя дочурка скоро растетъ! Ну кто скажетъ, что ей всего только тринадцать лѣтъ!

— Въ іюнѣ былъ день ея рожденія... (Не правда-ли, Ксенія?), а въ прошломъ маѣ было ей уже тринадцать лѣтъ, стало-быть, теперь съ іюня—пятнадцатый, безжалостно отрѣзалъ пасынокъ.

— Ну, значитъ, ты лучше знаешь ея годы, я, можетъ быть, и ошибаюсь, съ легкимъ оттѣнкомъ досады проговорила мачиха.

Вечеромъ Петя отправился навѣстить своего больного товарища Сеню Билина, и узналъ, что Сеня умеръ у своего брата, на дачѣ въ Мартышкинѣ... Не долго пробылъ онъ у несчастной Марьи Ѳедоровны Билиной. Разстроила она его своимъ горемъ и своими слезами.

«Вездѣ горе, вездѣ!» подумалъ Петя.

Вернувшись къ десяти часамъ домой, онъ постучался къ Ксеніи и спросилъ, нѣтъ-ли у ней почтовой бумаги, конверта и загородной марки.

Загородныхъ почтовыхъ марокъ не оказалось ни у ней, ни у ея матери.

Долго Петя выбиралъ листикъ попроще изъ того *папетри*, который предложила ему Ксенія, т. е. безъ цвѣточковъ, безъ вензелей и безъ кружево-видныхъ каёмочекъ, и, наконецъ, выбралъ, поблагодарилъ и ушелъ въ свою комнату.

«Многоуважаемый Матвѣй Ѳедоровичъ, писалъ онъ къ Аркадьеву,—Орѣшинъ умеръ. Неизвѣстно, на чьихъ рукахъ осталась Саша. Если можете, спасите ее отъ нѣкоего Спичевскаго, который унаслѣдовалъ старику. Онъ радъ будетъ случаю прогнать ее. Позвольте мнѣ пріѣхать къ вамъ, если только я не стѣсню васъ. Документъ мой я взялъ и понимаю, что безъ него я то-же, что лѣсной звѣрь,—долженъ бояться и борзыхъ, и гончихъ. Будьте здоровы и прощайте».

ГЛАВА LV.

На шестой день послѣ этого письма, Петя получилъ телеграмму отъ Аркадьева, въ которой тотъ извѣщалъ его, что ѣдетъ за Сашей и ждетъ его къ себѣ на зиму.

И Петя сталъ собираться, сталъ разсчитывать, доѣдетъ-ли онъ съ 22 рублями въ третьемъ классѣ до Аркадьева.

Рѣшивъ этотъ денежный вопросъ, онъ все еще носилъ въ душѣ своей другой, еще не рѣшенный имъ вопросъ, долженъ-ли онъ видѣться съ Надей, не будетъ-ли подло съ его стороны отвернуться отъ дѣвушки, только потому, что она любитъ другого. Но вмѣсто того, чтобы идти къ ней, пошелъ разыскивать сестру свою Анну и зашелъ въ домъ крестной своей матери Померанской.

Тамъ, въ облакахъ папироснаго дыма, въ халатѣ, передъ каминомъ, засталъ онъ долгоносаго Володю, который и сообщилъ ему о сестрѣ его, Духовой, все, что мы знаемъ, умолчавъ, разумѣется, о *своихъ побѣдахъ*, и добавилъ:

— Какъ жаль, что ты уѣзжаешь: Анна во что-бы то ни стало хочетъ просить тебя взять на себя уроки латинскаго языка въ ихъ пансіонѣ, гдѣ уже набралось около 20 учениковъ. А еще скажу тебѣ по секрету, у насъ въ семьѣ совершается драма: ты знаешь, что мать моя поѣхала за-границу въ сопровожденіи нашего управляющаго. Ты, вѣроятно, у насъ видѣлъ этого Иванова—онъ изъ студентовъ технологическаго института... Кончилъ курсъ и нашелъ себѣ у насъ мѣсто при домовой конторѣ. Человѣкъ безъ имени и безъ состоянія. Можешь себѣ вообразить, Варя въ него влюбилась и спитъ и видитъ выйти за него замужъ.

— Ну, такъ что-же? Кажется, это не противорѣчитъ твоимъ прежнимъ убѣжденіямъ.

— Но противорѣчитъ здравому смыслу, приподнимая носъ и взглядывая на Петю, вымолвилъ сухопарый юноша.— Лучше смерть, чѣмъ такое замужество.

— А любовную связь допускаешь ты? поглядѣвъ на него пристально, вымолвилъ Петя.

Володя повѣсилъ носъ и пошевелилъ бровями. Ему почудилось, что Петя кое-что знаетъ и о его побѣдахъ.

— Допускаю, сказалъ онъ,—по страсти. Но развѣ это страсть? Здѣсь она на него не обращала вниманія... Это просто иллюзія больной, нервной, малокровной дѣвчонки; простое капризничанье, больше ничего.

— Ну и не мѣшай ея иллюзіямъ. Все-же онѣ лучше смерти, даже лучше во сто разъ той дѣйствительности, которая выпала ей на долю.

— Я и не мѣшаю, вѣшайся хоть на осину, кто ей мѣшаетъ!

Петя взялъ у него, на всякій случай, адресъ Анны и холодно простился съ нимъ.

Затѣмъ, цѣлые три часа ходилъ онъ по Васильевскому острову и тщетно разыскивалъ Мавру.

За день до его отъѣзда, въ воскресный день, въ его комнату пріотворилась дверь, и на порогѣ появилась Ксенія.

— Петръ Егоровичъ... можно вамъ нескромный вопросъ задать: были вы у Нади?

— Почему-же это нескромный вопросъ? Я былъ у ней въ первый день пріѣзда, съ тѣхъ поръ не былъ.

— Не были!.. А она больна, говорятъ...

Петя поглядѣлъ на нее безсмысленными, тупыми глазами.

— Кто это вамъ сказалъ?

— Дуняша, Помните Дуню?.. Она это слышала отъ Фіолетовой Маши, тетиной подруги. Она теперь живетъ у нихъ.

— Пойдемте, встрепенулся Петя.

Впервые, съ тѣхъ поръ, какъ онъ вернулся въ Питеръ, вспомнилъ онъ, что существуетъ на свѣтѣ Дуня, та самая Дуня, которая первая заставила его осмѣлиться...

Но юность такъ-же неблагодарна, какъ дѣтство безжалостно.

Петя покраснѣлъ, отвернулся и взялъ со стола свой дорожный картузъ.

Часы пробили полдень, когда они вышли.

У воротъ того дома, гдѣ квартировала Надежда Михайловна, увидѣли они, что съ дворникомъ разговариваетъ какой-то высокій мужчина, плечистый, бородастый, глазастый и замѣтно чѣмъ-то озадаченный. Лицо его показалось Петѣ знакомымъ.

— Ба! воскликнулъ незнакомецъ.—Молодой Клинъ! если не ошибаюсь... Здравствуйте! Помните—на Царскосельской желѣзной дорогѣ Ознобинъ меня знакомилъ съ вами: Ерошинъ моя фамилія...

— Да... да... кажется...

— Вы не къ Надеждѣ-ли Михайловнѣ?

— Да, да—къ ней.

— Ея уже нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?! воскликнулъ Петя.

— Переѣхала! И никто не знаетъ куда. Былъ я у ея хозяйки—не говоритъ. Спрашивалъ дворника—не знаетъ. Не зайдете-ли вы къ хозяйкѣ, поразспросить, можетъ быть, она и скажетъ вамъ...

— Хорошо, постараюсь, отвѣтилъ Петя и вдругъ какъ-бы опомнился. Сердце его дрогнуло и заныло.

«Такъ вотъ кто... этотъ женатый, котораго она любитъ—Ерошинъ!»...

— Зачѣмъ-же узнавать; можетъ быть, она и не хочетъ, чтобъ знали, куда она переѣхала. Какое мы имѣемъ право, на зло ей, разыскивать или добиваться до ея мѣстопребыванія?

— Ого—какой вы! съ благодушной улыбкой, покрививши губы, произнесъ Ерошинъ и уставилъ на него сѣрые, съ мягкимъ блескомъ, глаза свои.

— И зачѣмъ она вамъ нужна?

— Вы тоже не имѣете права меня объ этомъ спрашивать.

— Ксенія! пойдемте домой.

ГЛАВА LVI.

Наканунѣ своего выѣзда, часу въ двѣнадцатомъ ночи, Петя сидѣлъ въ чайной. На столѣ, съ простывшимъ самоваромъ, горѣла свѣчка. Горничная ушла спать, все было тихо, и въ этой тишинѣ Петя разговаривалъ съ Ксеніей.

— Вамъ никого здѣсь не жаль?

— Что за польза жалѣть... Никто не ропщетъ... стало-быть... Впрочемъ, жаль мнѣ матери одного изъ моихъ бывшихъ товарищей... Жаль Мавры... гдѣ-то она теперь!?... и жаль Нади.

— А меня?

— Вы еще учитесь, и если получите хорошіе баллы, то и слава Богу.

— А для чего мнѣ баллы! Тотъ, кто на мнѣ женится, развѣ спроситъ меня о баллахъ?

— Не спроситъ, но, можетъ быть, возьметъ въ расчетъ степень вашего образованія.

— Не возьметъ.

— А вамъ развѣ не все равно—будетъ-ли вашъ мужъ человѣкъ образованный или невѣжда?

— Такъ-какъ я выйду замужъ за перваго, кто за меня посватается, то все-равно.

— А что васъ заставитъ выходить за человѣка не любя и... очертя голову?

— Что заставитъ?.. Да такъ... скука и безвыходное положеніе... Много глупостей можно надѣлать съ отчаянья!..

— Да отчего вамъ приходить въ отчаянье?

— Да оттого, что мужчины гадки, а женщины... тоже гадки...

— Откуда у васъ, въ такіе годы, такія мысли?

Но Ксенія закрыла лицо руками и молчала.

Петя глядѣлъ на нее, и въ эту минуту эта стройная, граціозная фигурка, съ растрепавшимися волосами и бѣлень-

кими ручками, ему тѣмъ болѣе нравилась, чѣмъ больше сходства находилъ онъ въ ней съ той Надей, которую когда-то встрѣтилъ въ Павловскѣ. Онъ взялъ ее за руку и спросилъ:

— Что-же вы мнѣ не отвѣчаете?

— Не говорите со мной, вѣдь и я гадкая...

— Отчего? Что съ вами?

— Уѣзжаете; да еще разспрашиваете!.. Какое вамъ дѣло— дурная я или хорошая...

— Я ужь сказалъ вамъ, почему я уѣзжаю...

— Вы не все сказали мнѣ...

Петя подумалъ.

— Что-же еще добавить вамъ? Ну, извольте, скажу вамъ попросту, въ двухъ словахъ—я люблю и не любимъ...

— А куда-же мнѣ уѣхать—я тоже люблю и не любима.

— Говорятъ, въ ваши годы... потребность любить принимаютъ за самую любовь...

— А! вотъ вы что говорите! А можетъ быть, и вы... тоже...

— А можетъ быть... я съ вами не спорю.

Ксенія подняла головку и улыбнулась.

— А когда вы вернетесь?

— Вернусь со щитомъ или на щитѣ, то-есть—побѣдивши всѣ препятствія и достигнувъ цѣли... или совсѣмъ не вернусь—пропаду.

— Для меня вы не пропадете...

— Ну, это мы еще увидимъ! Вы-то и пропадете для меня, особливо если выйдете замужъ за перваго встрѣчнаго поперечнаго...

— А вы мнѣ не прикажите—я и не выйду...

— Ну, хорошо,—приказываю: дождитесь 18 лѣтъ и затѣмъ—спроситесь моего совѣта.

— Хорошо... по рукамъ...

Ксенія встряхнула разбросанными по спинѣ и плечамъ волосами и подала ему руку... И вдругъ, глаза ея, съ выраженіемъ чуткаго страха, взглянули на дверь.

— Который часъ теперь?

— Да ужь спать пора... Вотъ, мы какъ съ вами заговорились!

— Зачѣмъ-же такъ поздно? какъ-бы про себя сказала Ксенія.

— Что?

— Этотъ гость...

— Какой гость?

— Слышите... сейчасъ кто-то прошелъ въ комнату... Въ залѣ потушена лампа... Кто-же ему отворилъ дверь въ передней... Мама?..

— Кому ему?

— Ну, Зуеву... ну... я ничего не знаю—слышите шорохъ платья .. скрипъ сапога...

«Бѣдная дѣвочка, подумалъ Петя,—зачѣмъ ты такъ любопытна?»

— Вотъ, вздохнула Ксенія,—можетъ быть, и я буду такая-же?

— Нѣтъ, вы будете хорошая, честная!

— А кто вамъ это сказалъ?

И Ксенія заговорила такъ, какъ будто сердце у ней билось сильнѣе обыкновеннаго.

— За мной ужь и теперь волочатся, льстятъ мнѣ, привозятъ подарки... Я уже съ дѣтства испорчена...

— Не говорите про себя такой вздоръ, какъ вамъ не грѣхъ! Милая вы дѣвушка!

— И не я одна—мы всѣ испорчены... мы только притворяемся такими наивными, такими тихими... Мы все видимъ, все слышимъ и все знаемъ... И сколько ночей не спала я оттого, что... Увезите меня въ деревню...

— А! какая вы скорая!.. Почти-что не говорили со мной все это время и вдругъ—«увезите». Куда я васъ увезу въ чужой домъ, въ чужую деревню?! Да и что-бы сказала ваша maman?

— Она-бы сказала, что мнѣ всего только десять лѣтъ, и что вы взяли меня съ собой прокатиться... какъ сестру...

— Да вы и такъ сводная мнѣ сестра...

— Кто-же насъ свелъ?

— Судьба.

— А можно-ли жениться или выйти замужъ за своего брата?

— Кажется, можно, а впрочемъ, не знаю.

Петя въ эту минуту очень хорошо понималъ, что Ксенія его очень любитъ. Ему это было пріятно, но этотъ послѣдній вопросъ ея, слишкомъ явно обнаружившій ея тайныя помышленія, ему не понравился. Онъ привсталъ и проговорилъ:

— Не будемъ думать о будущемъ, что будетъ, то будетъ.

И, при волнующемся свѣтѣ до самой бумаги догоравшей свѣчи, они обнялись и поцѣловались.

На другой день, часовъ въ семь, съ сакъ-вояжемъ, купленнымъ Миной Михайловной, гдѣ, между прочимъ, лежали дюжина новыхъ платковъ, полотенца и закладка, вышитая бисеромъ, сунутая ему на память Ксеніей, Петя, въ пальто и въ новомъ пледѣ, вышелъ на улицу, чтобы поспѣть къ восьми часамъ на Николаевскую станцію. Когда сходилъ онъ съ лѣстницы, на верхней ступени ея стояла Ксенія, а внизу Дуня, которая, услыхавъ объ его отъѣздѣ, прибѣжала проститься съ нимъ.

Петя, нисколько не сконфузившись, далъ ей руку и даже весело сказалъ ей: «что-же ты не приходила раньше—вотъ еще выдумала—прощаться!»

Дуня улыбнулась натянутой улыбкой, пожелала ему добраго пути, слегка поблѣднѣла; но того, что хотѣла сказать ему—не сказала, даже не намекнула.

Когда Петя сѣлъ на извозчика, Дуня полувесело, полупечально крикнула: «Уѣзжайте съ Богомъ!» потомъ постояла, закусила блѣдныя губы и побѣжала домой, закутывая въ шерстяной платокъ свою голову.

Такъ жизнь разбросала всѣхъ дѣйствующихъ лицъ моего романа, быть можетъ уже давно надоѣвшаго моимъ читателямъ.

Къ чему приведутъ ихъ крутыя горки? И къ какому складу мыслей и чувствъ сами придутъ они, и на какія мысли наведутъ тѣхъ, кто заинтересуется судьбой ихъ?

Вотъ вопросы, рѣшеніе которыхъ, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, я долженъ отложить до другого времени.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

Alma
Bookbinding Co. Inc.